

20

АРТИКЛЫ

АРТИКЛЫ

20

Израильский литературный
журнал

АРТІКЛЪ



№ 20

Тель-Авив

2022

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Светлана Кузнецова. На улице Лаперуза.....	4
Нина Воронель. Тайна Ольги Чеховой.....	28
Юлия Винер. Роман без продолжения	41
Софья Рон-Мория. «Котики» и «Пёсики».....	53
Александра Ходорковская. Бабушкин язык.....	72
Шула Примак. Имя.....	80
Рада Полищук. Чужие праздники	88
Карина Муляр (Масюта). Анкета психолога.....	99
Любовь Тучина. Про Ильичей.....	102
Давид Маркиш. Странные люди	127
Виталий Сероклинов. Рецепты	147
Сергей Баев. Заноза.....	157
Евсей Цейтлин. Пыль	165
Александр Карабчиевский. Благодарственный рассказик.....	169
Яков Шехтер. Черный ластик	175
Михаил Юдсон. Остатки.....	184
ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ	
Раве Саги. Миха.....	188

ПОЭЗИЯ

Татьяна Вольтская. Изменяю тебе с сентябрем.....	192
Дина Березовская. Челочка.....	196
Юрий Михайлик. Абрикосы падают в траву.....	202
Владимир Гандельсман. Сквозь редкий снег.....	208
В. Брайнин-Пассек. Последний поэт.....	212
Ингвар Донсков. Один.....	218

Андрей Торопов. Стихи умрут	223
Евгений Сельц. Совсем не давние стихи.....	227
Пётр Межурицкий. Пояснительная записка	232
Семён Крайтман. Упругий знак воды.....	239
Дина Меерсон. Слова удивились	244

НОН-ФИКШН

Нелли Воскобойник. О множественности миров.....	249
Наум Вайман. Молчи.....	263
Давид Шехтер. Записки пресс-секретаря Сохнута.....	277
Игорь Якушко, Яков Шехтер. Диалог редакторов.....	284
Анатолий Кошкер. Через психотип – к миру в доме.....	299

СТИХИ И СТРУНЫ

Провидческий взгляд.....	302
--------------------------	-----

БОНУС ТРЕК

Михаил Фельдман. От «А» до «Я».....	304
--	-----

На титульной странице: Натан Щаранский и Давид Шехтер;
рабочий момент.

(см. страницу 277)

ПРОЗА

Светлана Кузнецова

Зима на улице Лаперуза

(Отрывок из романа)

На Воскобойку пришла зима. Глодов открыл окно и крошит булку на карниз. Голуби слетелись со всех концов города. Полчища их снуют, вспархивают. Вокруг одно сплошное воркование.

Он высунулся в окно — надышаться зимой. И вдруг чуть сердце не остановилось — в середине улицы, белой от снега, под двухсотлетним вязом стояла одинокая фигура девушки. Мата Хари!

Снял очки, провел ладонью по лицу, отгоняя наваждение. Вновь надел, глянул — нет никого. Просто стекла очков намокли от снегопада.

Так уже было. В университетском дворике он однажды увидел ее в компании мужчин, ему не знакомых. С ветки сорвался пушистый ком снега, упал кому-то за шиворот. Все это было встречено дружным смехом. Мата Хари смеялась, чуть откинув голову, — и в этот момент ее надменный приподнятый подбородок и шея были трогательно беззащитны. Ее можно было внезапно поцеловать — прямо в обнаженный бархатный островок кожи под воротником пальто, она бы не успела воспротивиться этому хищному нападению. Он ревниво за нее опасался — не ему одному могла прийти в голову подобная мысль.

У него сжалось сердце, и он поспешил со стопкой библиотечных книг в свободную маленькую аудиторию третьего этажа, где в парике с бараньими буклями строго и ясноглазо следил со стены Иммануил Кант.

Уже наступили сумерки, он не включал свет, чтоб его не заметили и не прогнали. Буквы сливались, на страницах был сплошной туман, он не мог сосредоточиться на чтении — то и дело думал о ее голой, не прикрытой шарфом шее, и порозовевших от мороза скулах.

Пыльная темная филенчатая дверь в Кантовскую аудиторию в зимних сумерках была похожа на плитку шоколада — давным-давно просроченного, в белом налете и трещинках. В голову полезли мысли о деревянных ленд-лизских ящиках, доставляемых Тихоокеанским маршрутом, об упаковках дрянного шоколада для солдат, и о самих этих солдатах, хранящих под сердцем фотокарточки любимых, а в сердце горечь: несладкий шоколад, война, смерть.

С Матой Хари он познакомился на первом курсе философака. По случаю поступления была грандиозная пьянка. В шестом часу вечера все пошли в бар «Труба» и попытались бесплатно проникнуть на джазовый концерт, давя на чувства администратора, трясая студенческими билетами и повторяя: «Мы русские философы!» Но администратор остался бесчувственен. И они, новоиспеченные студенты, отправились к Музею Городских Вод, где знакомый Виттенштейна угостил их травкой. Веселье стало разрастаться, как лавина, — и теперь уже почти невозможно восстановить цепочку причинно-следственных связей и точные маршруты. Они были в разных местах города, ели уличную еду, пили дешевое вино. В десятом часу вечера пошел дождь. А в начале первого ночи Глодов обнаружил себя в университетском общежитии, где в жизни до этого не бывал, сидящим на чужой кровати, в одной комнате с незнакомой девушкой, чего совершенно не планировал.

Горела настольная лампа. Она была в персиковом фланелевом халате с капюшоном и, сидя за столом, читала книгу. А он вломился к ней, заплутав в коридорах.

— Ты кто? — спросила она.

— Шпион, — глупо рассмеялся он.

Не отрываясь от книги, она холодно заметила:

— Угу, а я Мата Хари...

Смех так и разбирал его. Он беззастенчиво плюхнулся на кровать, которая подвернулась сама, дав ему по коленке металлическим изножьем. Был бы трезв, он никогда, ни за что на свете, за всю славу мира, не сделал бы этого. Но в ту ночь он трезв не был. Очень хотелось отдохнуть — от смеха, который все не отпускал, от дождя, который все шел за окном. Это ничуть не удивило ее. Или она не подала виду.

— А имя у шпиона есть? — поинтересовалась Мата Хари, не отрываясь от книги.

Он уже заходился от конвульсий — безобразный смех, словно цепкого демона, никак было не изгнать, да и ситуация казалась дичайше глупой.

— Г... Глодов... Антон... — сквозь смех икнул он.

— Поздравляю. Ты только что все провалил. Шпионы не выдают своих имен.

Он уже умирал со смеху. Опрокинулся навзничь на кровати, раскинул руки и вдруг перестал смеяться. Глазами, мокрыми от слез, смотрел в потолок, не понимая, как можно дойти до такой степени изнеможения.

Как это часто бывало с ним, приступ безудержного смеха сменился беспричинной грустью. Он сел на кровати, нащупал в нагрудном кармане куртки очки, надел их и наконец увидел девушку, а не ее туманно-персиковый силуэт. Завитки мокрых после душа черных волос и фланелевый капюшон на макушке, поразивший его воображением тем, что был по-куклуксклановски остр. Мата Хари была, как и он, в очках. Очки в черной роговой оправе; такие носят беспрсветные отличницы...

Это была кошачьей породы девушка — с узкой талией, длинным позвоночником, точеными лодыжками, и сходство с кошкой стало разительным, когда она потянулась. Он внезапно почувствовал стыд и был благодарен ей за легкую иронию, с которой она встретила его полуночную клоунату. Далеко не первокурсница, она, видимо, привыкла к некоторому безумию новичков...

А впрочем, Бог с ним, с его пьяным раскаянием. Он обманулся на ее счет. Она была вовсе не добра, но это он понял позже. А в ту ночь погрузневший от беспричинного смеха Глодов с бесстрашием неосведомленности признался — зачем, черт знает:

— Мне сейчас так странно... Кажется, что можно скомкать мир, как простыню. Просто потянуть за край и снести с лица земли все: города, горы, океаны... Останется бездна.

Мата Хари вдруг оторвалась от чтения и внимательно к нему присмотрелась. Горела настольная лампа. Дождь барабанил по стеклу. От ее пристального взгляда ему стало не по себе.

— Прости... — пробормотал он. Встал и вышел.

Блуждая в потемках коридора, то и дело куда-то сворачивавшего, похожего на бесконечный лабиринт, в

котором кто-то курил у подоконников, и в сливных бачках шумела вода, он наткнулся на «своих». «Свои» повели его в одну из комнат третьего этажа, где осталось полбутылки вина. Но оказалось, вино уже допито. Все воодушевление этого долгого дня спало, люди сникли, клевали носами. Заклевал носом и Глодов — уснул в углу, прижавшись щекой к холодному стояку центрального отопления. Домой он попал лишь наутро.

Неделю спустя он увидел ее в университетском коридоре. Удивительно высокая и удивительно стройная Мата Хари, вся в черном, с высокомерно поднятым подбородком, прошла стремительно, как ветер, в сторону главной лестницы. Ледяной прищур за стеклами в роговой оправе, тяжелая темная коса вдоль длинной спины. Она была словно рождена для надменности. Добрая половина студентов мужского пола, скучавших у подоконников, как по команде повернули головы, провожая ее взглядом, — словно их принудило это сделать некое колдовство.

Он, слегка ошарашенный, занял место за партой у высокого окна. В луче света роились пылинки. Отсюда, из прохладной, залитой сентябрьским солнцем аудитории, персиковый халат Маты Хари казался сном. Но Глодов уже не мог выкинуть его из головы. И пока умудренный сединами профессор начинал курс истории зарубежной философии, Глодов думал о ней. Девушка-хищница на вершине пищевой цепи, в черных одеждах, как в неприступной броне. Лучшая на всем свете. Что за глупую ошибку он совершил в первую же свою студенческую ночь. Что за благословенную ошибку... Ему мерещился в этом повод для гордости — ведь он единственный из всех, в виду своего редкостного умения вляпываться в истории, теперь знал, что после душа она надевает персиковый халат, да еще с небывалым капюшоном, острым, как колпак, рождающим резкий холодок опасности в душе — в таких плантаторы американского Юга, должно быть, вешали черных братьев. В персиковых колпаках, не в белых — себе он верил в тот миг больше, чем историческим фактам.

А накануне бабушка, растягивая влажную простыню на кухне, говорила ему:

— Некоторые люди так и притягивают невезение. А тебе... — вытирая руки о фартук, выразилась она предельно конкретно, — повезет, только если святой Акакий сядет в лужу.

Бабушка, разумеется, имела в виду вступительные испытания. И, разумеется, в святых она, бывшая активистка комсомольской ячейки, не верила. Упомянула так, всуе.

Но, похоже, невероятное случилось — святой таки сел в лужу. Глодов стал студентом философа и уже успел увидеть его Священный Грааль — персиковый фланелевый халат Маты Хари.

Она запомнила, как он вломился в ее комнату ночью, заплутав в коридорах университетского общежития, и приветствовала его:

— А, шпион Глодов!

Глодов умирал со стыда, вымученно улыбался и выдавливал из себя:

— И тебе привет, Мата Хари....

Ее действительно все так и звали — Матой Хари. Черт знает, кто и когда придумал эту странную игру с трагическим и обольстительным именем экзотической фризской куртизанки, исполнительницы восточных танцев, занимавшейся в Европе шпионажем в пользу Германии в годы Первой мировой и расстрелянной за это в 1917-м. Скорее всего, то была ее собственная игра в нетривиальность. Маловероятно, чтобы такая позволила кому-нибудь постороннему заигрывать с ее именем. Позже, когда он спросил, почему все зовут ее Матой Хари, она посмотрела на него с улыбкой сочувствия, как на школьника, не знающего прописных истин, и сказала:

— Я Матильда Харитоновна, ты не знал?

Черт, он не знал...

Об этой трансформации имени он думал потом весь остаток дня и всю ночь. Таинство не перекидывалось на Матю Харитонову. К Матильде он не чувствовал ничего. Его трогала лишь Мата Хари, ее кошачья грация и черные одежды.

Она была феноменом философа — интеллектуалка, звезда от макушки до лодыжек, с публикациями в журналах — в тех, что ценились в очень узких кругах, ведь у философии, как известно, поклонников примерно столько же, сколько у какого-нибудь вымирающего религиозного культа из джунглей Амазонии. Время от времени она ходила на культурные ивенты, обрастая полезными связями.

Но была и другая жизнь — знакомства с какими-то банкирами, инвесторами, городскими депутатами, тайными советниками и прочими чертями. С людьми, что за ночь могли прокутить целое состояние. Ей-богу, какая-то «темная лига», стая бесов, и чистые великие философские идеи побоку... Кокаин, политика, деньги, все зло мира. Ей нужны были и такие связи. Зачем? Ох, непостижимая Мата Хари...

Ее недолюбливали женщины. Она была эталоном высокомерия. И этот «эталон» оттягивал на себя слишком много мужского внимания. В ее присутствии молодые мужчины вдруг непроизвольно начинали говорить о чем-нибудь заумном. А она незаинтересованно проходила мимо, как прекрасная мгла над морем.

В круг ее общения входили немногие — и совершенно точно, в этот круг не входил ни один студент младше третьего курса.

Глодов знал, что у него нет никаких оснований... Но ведь они могли бы — пусть даже и в какой-то параллельной реальности — ходить с ней по городу вдвоем. Два странных очкарика: она — прекрасно странная, а он — нелепо странный. Этакие Бонни и Клайд с миопией.

Он один понимал, откуда у нее этот фирменный ледяной прищур. Она не носит очков, надевает их лишь для чтения — оттого и щурится, вглядываясь. Ему ли не понимать.

Он торчал под окном ее комнаты в общежитии, и только месяц спустя узнал, что в этой комнате она практически не бывает — предусмотрительно держа ее за собой, обитает в съемной квартире совсем в другой части города.

Дело не в красоте. Красота — разная. Есть резкая, обжигающая нервы красота уродства — на картинах Босха. Есть тихая красота осенней листвы. Красота есть даже в смерти. Разве пьянящий запах скошенной травы — это не запах травы мертвой? Красота человека — как запах леса, как вкус пищи, она имеет мало отношения к внешней форме. Без этого внутреннего «вкуса и аромата» все теряет смысл: лес становится декорацией, яблоко ничем не отличается от папье-маше, человек без сияния — труп.

Ты ежедневно ходишь в толпе мертвецов, под морозящим дождем, мимо серых домов и вдруг видишь в ком-то сияние жизни. Кто-то отличный от серости. Кто-то явившийся из дождя или из жерла подземки. И ты чувствуешь грибной запах ливня и его резкую прелесть. От

сияния Маты Хари нельзя было заслониться. Все в Глодове — от макушки до дырявого носка на левой ноге — желало ее. А она проходила мимо. Да изредка с язвительной улыбкой по-прежнему в шутку называла его «шпионом».

Он помнил, как вышел из аудитории и встал у окна. Октябрьский день был дождлив, муторен, как тошнота. На тебе висит реферат, ты прогулял «онтологию и теорию познания» в среду, а в четверг — «древнегреческий», и сегодня тоже планируешь что-нибудь прогулять, наживая проблемы с деканатом. Жизнь ужасна. И какого черта он вообще пошел на филосфак?

Мата Хари подошла бесшумно и встала рядом — он оробел. Запах ее духов горьковатый и терпкий, ее длинная тонкая фигура, узкие черные джинсы, мешковатая сумка на грубом ремне через плечо...

Он улыбнулся. Вышло жалко. Она смотрела за окно с ледяным прищуром, будто там, за завесой дождя, был невидимый враг, которого она брала на невидимый прицел. Вдруг спросила:

— Что ты там говорил про бездну, помнишь?

Он смутился, зачем-то потянулся к оконной ручке, повернул ее и открыл окно. В лицо брызнул дождь, подоконник покрылся испариной. В голову полезли глупейшие мысли — не высунуть ли язык, не попробовать ли дождь на вкус?

— Я тогда немного был не в себе... — пробормотал он.

Она усмехнулась.

Дождь был будто блестящие серебристые нити, ну вот правда — словно какая-нибудь Мойра роняла седые волосы. Это был судьбоносный момент. Сейчас или никогда. Никчемный Глодов. Соберись, паразит. Ты просрал на спор Виттенштейну свои новые ботинки, а теперь собираешься просрать и жизнь? Хватит. И он неуместно бодро выпалил:

— Пойдем в Музей Городских Вод?

— Что, прямо сейчас? — она удивленно повела бровью.
— Разве у тебя нет лекции?

— Нет, в моей жизни сейчас по плану... — он хотел сказать «ты», но не смог и кисло закончил: — шары для прочистки канализационных каналов...

Канализационные шары не заслужили такого кислого уныния. Но и упоминать их всуе при девушке не стоило. Эх, дурак. Все, жизнь спущена в унитаз.

Тут раздалась резкая трель ее телефона. Она достала телефон из сумки, отошла в сторону. Четыре минуты — Глодов считал про себя. Ровно столько она говорила. А потом, раздраженная, с какой-то решительной злой веселостью, бросила:

— Пойдем!

Глодов отчаянно завидовал тому, с кем она проговорила целых четыре минуты. Целых четыре... Господи, как же глубока была его тоска.

Быть в лучах сияния Маты Хари — опьяняюще. Они провели вместе почти целый день. Поездка в метро; дождь, первые карты водопроводов, обломки ржавых труб — древние музейные экспонаты; долгая прогулка сквозь хмурый город под одним зонтом. Дуги арок, водосточные раструбы, блестящие от дождя улицы и желтые фонари.

Они говорили о стойках и Сенеке, о Достоевском, марихуане и пончиках. Вскользь она рассказала про городок своего детства, в котором жила ровно до шестнадцати лет, а после — съемные квартиры, филосфак и все остальное.

Глодов воодушевлялся, прослеживая параллели в их судьбах. Он ведь тоже в шестнадцать лет проявил невиданную стойкость, переехав в пустующую отцовскую квартиру — невзирая на уговоры и даже угрозы бабушки назло внуку умереть.

— Мой отец был скрипачом в филармонии. А твой? — это она.

— Профессором, — это он.

— Твой отец жив?

— Да.

— Мой умер.

Глодов разочаровано хмурился. Не то чтобы он желал смерти собственному отцу, нет, он расстраивался по иному поводу — параллели не были полными, на лицо куда больше различий в их судьбах, чем сходства.

— Так значит, профессорский сынок? — подкалывала она.

— Нет, — качал он головой. Воспитывал его не отец. Но Глодов не готов был рассказывать ей все до дна про свою жизнь, ночные поллюции и невытравившееся подростковое отчаяние.

— Ну, а на филосфак ты зачем поступил? Впрочем, можешь не говорить, я и так вижу, ты фрик.

— Что же меня выдало?

— Ну, знаешь... порой в альма-матер пробираются фрики, чтобы искать себя. Ты из них? — она изучающе, с прищуром, взглянула на него и утвердилась во мнении. — Точно, ты из них, Глодов.

— Да, — отшутился он. — Я еще в десять лет твердо решил никогда не выходить из дома, жить на пенсию бабушки, а когда она умрет — на пособие по безработице.

В тот день на ней был черный берет, обтягивающие джинсы и удлиненная куртка из кожи, немного чекистская, с широким тугим ремнем на талии. Под кожаными перчатками — паучьи пальцы с острыми ноготками.

— Ну вот, опять... — сняв перчатку, она расстроилась, разглядывая обломавшийся коготок.

— Ты такая... — внезапно с глупым восторгом выпалил он.

— Какая? — приподняла она бровь.

— Как запах леса и грибов...

— Хочешь, открою тебе секрет? — она склонилась к его уху, и по телу колко пробежало электричество.

— Хочу...

Прищурившись, шепнула:

— Я инкарнация Лу Саломе.

Он улыбнулся. То ли это ее дерзкое самомнение, то ли это ее блестящая самоирония... Ей подходила любая из ипостасей Неординарности — и обольстительная Мата Хари, и интеллектуалка-девственница Лу Саломе, отказавшая самому Фридриху Ницше, безнадежно ранившая его на веки вечные.

Ошеломительная от скул до лодыжек, с блестящими, темными, как сливы, глазами — такой она была в тот день. Лу Саломе, Мата Хари, Матя Харитоновна... какая, к черту, разница, главное это была она. После, думая о ней, Глодов ярче всего помнил эти ее блестящие сливовые глаза. Образ того дня и ее образ слились, стали неотделимы в его памяти от блеска ливня и фонарей.

Еще кое-что произошло в тот вечер. Очень важное. У входа в подземку. Прежде чем нырнуть в жерло метро, она слегка ударила его перчатками по плечу, словно плеткой. По безбрежной, как море, луже пробежала рябь, Мата Хари произнесла:

- Глодов, ты странный. Ты мне нравишься. Я тебя всему научу.

- Чему такому?.. Кровь прилила к вискам.

А она поправила очки указательным пальцем, обтянутым черной кожей перчатки, и посмотрела пристально и значительно. Он почувствовал себя так же глупо, как в ту ночь, когда он был обкурен, смешон и уже пьян от любви к ней.

— Да, всему научу... — пообещала она и скрылась в подземке.

Лукавую улыбку, с которой она это сказала, невозможно забыть.

Она научила, это правда. Научила, как сплести вокруг себя кокон: борода, прокуренный свитер, а за этим непроницаемым коконом — сожаление, которое нужно спрятать и никому не показывать. Ты должен быть из камня, холодного и бездушного. Научила одиночеству и решимости идти в бездну бесповоротно и до конца — до твоего собственного, разумеется, потому что у бездны конца нет. Но все это постепенно, не сразу.

А тогда он, семнадцатилетний мальчишка, едва успел осознать, что допущен в ее круг, но еще не успел прочувствовать всю горечь этого события. Это было еще всего лишь предзнаменование, не данность.

В этом они с ней были похожи — так или иначе, с разных сторон и по неодинаковым причинам их влекла бездна. Что за завесой дождя, за облаками, за пределами стратосферы, за поясом Койпера, за туманностью Андромеды? Бесконечные вопросы, в которых нет смысла и которым когда-то ты придавал величайший смысл.

Кто я, зачем я, куда иду? Ответ один, ты рано или поздно вляпываешься в него, как в дерьмо на тропинке, — смысла просто нет. Лишь разум придает этой безграничной пустоте смысл. Порой ты спрашиваешь себя — не пиксели ли это все, не матрица ли, как вообще такое возможно? Весь мир — лишь твоя интерпретация. Все сводится к зыбкой и странной языковой игре внутри тебя, к мышлению, к метафорам. Бесконечное полотно текста, хаос образов, слепые пятна сюжета, настоящие удары по твоей настоящей роже. Все — текст.

Твой внутренний голос, твое сомнительное «я», скрытое за гадостью страстей и химией организма, — вот главный виновник происходящего. Быть может, стоит просто проснуться, открыть глаза, чтобы все это исчезло?

Внутренний голос говорит. Он такая коварная сволочь, никак не может заткнуться. Он вечно подначивает тебя что-

то искать — красоту в безобразном, душу в ком-то, кто полон одного говна, смысл в страдании, в гное, в тифозной горячке — внутренний голос никак не может поверить, что все зря, и страдание это просто страдание, без высоких последствий.

Забавно, что всей полноты отчаянья не высказать даже на русском языке, хотя он создан для хаоса, иррациональности и боли. Этот язык безбрежен — он убог и всемогущ, блестящ, порой безумен, порой красив, как идеальная формула, он и прост, и полон метафор, это язык-имбецил, язык-гений, этот язык — все, и он определяет тебя. Твои замки из песка, то, во что веришь, твоя любовь и ненависть — вообще все существует лишь потому, что он у тебя есть.

В мире кризис, в мире страшно, в мире дожди и метели. С осени новая волна эпидемии. Думали — на сей раз все обойдется, будет как простуда, а народ мрет, точно в восемнадцатом году от испанки. Из морга при Войновской больнице выносят черные мешки с заднего хода и грузят в труповозку — под утром, во тьме, чтоб скрыть от посторонних глаз. Музеи, театры, весь общепит вот-вот снова закроют на карантин.

Безденежье и страх порождают страсти. На днях у Подземного пассажа человек двадцать вышли на протестный митинг — приехали автозаки, всех забрали. Где все эти люди теперь? Больше никто их не видел. Исчезают люди — сгинул один, другой... словно чума выкашивает народонаселение.

Он лежит, вглядывается в потолок, курит — два часа ночи, три... Желтый месяц смотрит сквозь мглу.

Глодов давно ко всему равнодушен. К чему волноваться? Горы станут песком. Звезды погаснут. Лестницы, по которым поднимался, перила, за которые держался, планеты, которые знал, турбины, теплосети, спутники на орбите, маяки в океанах, атомы твоего тела — все одряхлеет, разрушится, рассыплется. Мир таков, каков есть, - энтропия, согласно Второму закону термодинамики, царит в нем.

А ведь когда-то мир был молод и огромен настолько, что корабли Магеллана не могли его обогнуть и за тысячу дней. Но все прошло, даже его любовь к Мате — как по щелчку пальцев. И так быстро, что не успел оглянуться, не успел даже пару романов написать.

Время для Глодова течет по романному времени — в один роман умещаются годы, целые прожитые жизни. Он стареет там, в этом романном хронотопе, покрывается пылью веков, как египетская пирамида. А потом выныривает — надо же, часы на стене остановились, показывают без четверти девять — то ли утра, то ли вечера, черт их разберет... тебе уже тридцать шесть, а ведь и стоящего-то ничего не написал...

Он зарос бородой, как дворник XIX века. Он, со всеми своими мослами и душой под прокуренным свитером — а на груди, прямо в районе сердца, даже и прожженном — научился стойко, как Сенека, переносить отчаяние и наконец почувствовал, что ему не страшно. Жить не страшно. Умирать не страшно. Да ничего, собственно, не страшно.

Он лежит, слушает... тихо-тихо в доме. Тик-так...Ти-ка... ти-на... Часы настенные, бабушкины, остановились, а по привычке слышится их ход. Вечно человек все домысливает, достаивает картинку... А на что, собственно, надеялся? Прошел день и перемен в лучшем не принес. Разве что в нем самом какая-то странная серьезная перемена.

Болезнь началась с глубокой тоски и першения в горле, а к утру проявилась острой воспаленной ностальгией. Он впал в забытие, и приснилась ему Мата Хари. Ее бледная, декадентская красота. Лодыжки, туго стянутые шнуровкой лакированных ботинок, черное платье в оборках, с низкой талией — а ля шансонетка довоенного Парижа, губы в темно-вишневой помаде и горьковатые духи. Во сне от нее так и веяло кафешантаном, закулисьем, чарующим волнением мнимой доступности. Как всегда, она и в этот раз ускользнула от него.

В Индии, в округе Ахмадабад, есть странный ресторанчик, он стоит прямо на древнем суфийском кладбище. Столики, за которыми едят живые, перемежаются с надгробными плитам, под которыми лежат мертвецы, — все маленькое, тесное, как принято у индусов, и все в кучу: и еда, и мертвецы, и ничуть это никого не смущает.

Россия — как огромная Индия. Здесь смерть — привычка, обыденность. К смерти русские относятся легче, чем к жизни. Умрут сотни или миллионы — какая разница. Зимнее солнце не греет, на дорожках в парке грязный снег,

кто-то бородатый выдергивает выросшую в землю урну — четверть часа, час выдергивает, тащит ее, как репку. Наконец выдернул и утащил. Где-нибудь распилит и сдаст на металлолом. Кому какое дело? Урна или металлолом, жизнь или смерть — всё из одних атомов.

Сколько после этой зимы найдут мертвецов, запертых в собственных квартирах? А может, и не найдут — ни весной, ни через год, никогда. Вряд ли все это окончится грядущей весной, вряд ли оно вообще закончится. Улицы без смога. Небо, в котором наконец-то видны звезды. Города, полные мертвецов.

Глодов лежал, болел. Очки сунул в тапочек у кровати. Кости ломало от жара. Потолок расплывался лихорадочными пятнами, порой казалось — на нем распускаются прозрачные цветы и ползают воздушные змейки. По вечерам, когда было совсем плохо, приходила Таня, приносила апельсины, заваривала чай и ставила укол с жаропонижающим.

Есть ли еще там, за пределами квартиры, мир? Живы ли люди, ездят ли трамваи, работает ли подземка?

Таня грустно улыбалась.

— Надо врача вызвать, — сказала она во вторник, когда лоб Глодова стал на ощупь как грелка.

— Может, не надо врача? Мне как-то один сказал, что все болезни от лямблий, и противопаразитное прописал от простуды...

Таня скорбно вздохнула, разглядывая вздутую синюю венку на своей руке. Но не вняла и врача все-таки вызвала. Пришел тот самый, которого Глодов боялся, прописал противопаразитное и пообещал, что через неделю все пройдет.

— А как же вирус, как же эпидемия, доктор?

— Выдумки. Заговор Билла Гейтса, — решительно объявил доктор. — Поправляйтесь, больной!

Эта болезнь сгущает кровь, но она что-то такое делает еще и с душой — тоска длится много-много суток, невыносимая, беспричинная.

Еще недавно он любил простую еду, дешевое вино, табак и кофе; любил города, такие непохожие друг на друга, их рынки, площади и шумные улочки; музеи, обшарпанные забегаловки, дешевые гостиницы и уличную еду; балконы, завешенные влажными простынями, что

натягивались под ветром, словно паруса; любил городское небо, опутанное проводами; любил тех, кто торговал книгами и всякими безделушками на улицах, тех, кто жил одним днем, как птицы; любил все то, в чем был хаос настоящей живой жизни. В холода вместо термобелья носил свитер под рубашкой, как бедняк. Писал легко и быстро за гонорары всякую журнальную пургу, а теперь слова ворочаются в мозгу, как огромные глыбы.

Он вял уже много дней, в голове туман, и потому он идет в аптеку — он сам себе назначил антибиотики. Их продадут без рецепта в маленьком аптечном ларьке у Подземного пассажира, главное, чтоб на лице была маска из спанбонда — примета нового времени. Но лекарства так дороги, что выгодней умереть.

Была одна мысль. Она то и дело возникала, не давала покоя. Почему при всей уютности этого мира — тысячи кафешек, километры дорог и линий метро — почему, черт возьми, в нем так безотраднo?

Существование соткано из ритуалов — кофе по утрам, хлебные крошки на порезанной клеенке кухонного стола, заснеженная дорожка до жилконторы, мусорные баки у подъезда, тусклый свет лампочки на лестничной клетке, резиновая лента у касс в «Пятерочке», пуховики, машины, ветки, зима, снег, снег, снег... Снегопады и ливни на Воскобойке. Полный ветра, дождей, сугробов и солнца мир. День за днем заученные действия, мимика и жесты.

Вот скромные труженики-таджики долбят тротуарную плитку. Сегодня, завтра, год назад — вечно долбят, невзирая на эпидемии и карантинy. Вот шины шуршат по мокрому асфальту. Девушка в разгар декабря едет на велосипеде, в яркой разлетающейся юбке до щиколоток. На эту юбку, наверное, ушел целый километр алого шелка... Но должна же она понимать — в любую минуту подол запутается в велосипедной цепи, случайное падение, случайно вынырнет машина, визг тормозов, кровь и мозг на сыром асфальте... Или она неслучайно идет на этот сознательный риск? Эта девушка — такое чудное видение, что колотится сердце. Он провожает ее восхищенным взглядом... И тут же снова накатывает тоска.

У продуктового магазина нищий в инвалидной коляске, скрюченный, с усохшими конечностями, на груди картонка с корявой надписью маркером. Милостыню просит. Он сидит тут каждый день, помногу часов. У него коляска с электроприводом, и он ездит к магазину, словно в офис на

работу. Глодов про себя зовет его «Стивенем Хокингом», ему кажется, что у мертвого первооткрывателя излучения черных дыр, и у этого нищего одна и та же болезнь.

И еще этот картон всюду: море стаканчиков с кофе; картонный глянец коробок с бытовой техникой; картон, мокнувший под дождем; картон свежий и красочный; картон в мусорных баках и урнах; картон на сырой скамейке в парке — кто-то подстелил, боясь подмочить зад, а вместе с ним и репутацию; картон с бургерами внутри; стены домов, серые, как картон... Маленький тесный душный адок. Неужели из палеолита, сквозь бескрайние равнины сарматов и скифов, мы шли к этому?

Откуда столько картона, Господи Боже мой, и куда все эти люди идут, если кругом карантин? Может, карантин ненастоящий, для отвода глаз? Может, все ненастоящее?

Почему такой удушающий гнет, словно вот-вот упадет висящий в воздухе топор и состоится казнь? Кто в этом виноват? Может, это все бездушные сервисы электронного правительства? Не могут же люди быть так немилосердны сами к себе? А может, это искусственный интеллект во всем виноват? Может, он главный бандит? Интересно, мы вообще утратили контроль за происходящим? Это все еще мы творим историю, или уже давно не мы?

На улицах бесконечные сумерки. Только к полудню забрезжит зимний свет. Но жизнь не ждет солнечного света, кипит всю с семи утра. Ползет трамвай, дворник совковой лопатой сгребает в кучи вдоль тротуаров выпавший за ночь снег. А к вечеру снова все метеосводки обещают метель.

Глодов шел к подземке, отпустив голову, спрятав лицо под капюшоном куртки. Все повторяется — он снова все пустил на самотек. Ночами лежит в пустой квартире, смотрит в потолок, дымит сигаретой, кашляет, а по утрам выходит в промозглые потемки и плетется мимо домов, темных и сырых, словно намокли от слез.

На Воскобойке полно стариков бомжеватого вида, над мусорными баками летают городские чайки. Чуть оттепель — вся эта живность буднично выползает на улицы. Старики с пакетами и в масках на подбородках идут в магазин, кошки вылезают из подвалов, нищие простят милостыню, и над всем этим кружат птицы. Город становится похож на один большой муравейник. Тут все по-простецкому, как в большой старой захламленной квартире. Вот из кафешки на углу выставили под снегопад обшарпанные стулья. Вот

мужики тащат из подворотни покрытое темно-рыжей морилкой пианино — понесли вдоль набережной Водоканала. Кто-то куда-то переезжает... Город, промокший до последнего кирпичика под дождями и снегопадами, родной и понятный. Но теперь и в городских улицах проступило что-то нервическое, незнакомое...

Ему кажется, где-то в этих потемках ходит и она... Город как будто снова наполнился ее сиянием. Глодов шлялся по переулкам, не мог усидеть на месте, искал в сырых подворотнях что-то большое и невыразимое. Ему мерещилось, что он слышит гул Вселенной, шум солнечного ветра, черт его знает что... Иной раз хотелось распахнуть окно, встать на подоконник, оттолкнуться и взлететь. Слякотная городская серость, ветер, тучи, снег с дождем — все неземной красоты.

Но тут дело такое — кризис на дворе, и с ноября город захлестнула волна самоубийств. Твоя саморасправа будет записана в статистику кризисной безысходности, а не в прекрасные смерти от любви.

У аптечного ларька он вдруг разворачивается и идет обратно. Передумал купить антибиотики.

— Сегодня я выпью бухла, — говорит он себе, — а завтра посмотрим.

И, нацепив на нос маску, входит в винный магазинчик.

Все повторяется. В этом же магазинчике он купил дешевое кислое пойло накануне своей первой сессии. Стоял такой же промозглый день. Он взял бухла, взял пачку сигарет, зашел к Виттенштейну за лекарством от душевной муки — за травкой, и пошел в пустую отцовскую квартиру страдать. Это был день, когда он увидел, как Мата Хари садится в черный «майбах» того пижона.

С «майбахом» была такая история. В один из ноябрьских дней на углу университетского флигеля остановился черный «майбах». Из него вышел тридцатилетний пижон, с черной, как смоль, шкиперской бородкой, в ботинках с апломбом и узкими носами. Весь его вид выражал абсолютную уверенность в себе. Особенно перламутрово-серый жилет под расстегнутым, белым, как алебастр, пальто. Жилет был чем-то вообще за гранью... в таком на сцену жизни мог бы выступить либо полный скоморох, либо хозяин жизни рангом не ниже египетского фараона. Мата Хари, в черной шелковой юбке до лодыжек и своей кожаной чекистской куртке, красивая и точеная, как каравелла,

сквозь осенние лужи величаво подплыла к «майбаху» и утонула в густой тьме его салона, за тонированным стеклом. Пижон закрыл за ней дверь. «майбах», как величественный «боинг», тронулся и укатил в дождь. Так, за пять минут, в промозглый ноябрьский день жизнь Глодова разлетелась вдребезги.

Он шел на улицу Лаперуза, чтобы съесть пирожок, и вспоминал, как Мата Хари смотрела на пижона... И, хотя издали не очень-то было и видно, смотрела она или нет, но Глодов прямо селезенкой чувствовал, что смотрела. Смотрела своими влажно-темными сливовыми глазами. И даже не заметила, как Глодов махнул ей рукой.

Он ел пирожок среди несвежих людей в серых ветровках. Люди сосредоточенно работали желваками, поедая чебуреки. Этот маленький полуподвальный общепит, захлапленный стоячими столиками и человеческим сбродом, вдруг стал местом его вечной тоски. «Я Ницше, утративший надежду» — будь под рукой ножичек, выцарапал бы это, самоуверенное и трагическое, на обшарпанной столешнице.

В окошке под самым потолком были видны лишь ноги прохожих и мокрые отблески фар проезжавших машин. Неужели пижон на «майбахе» в перламутрово-сером жилете мог заморозить саму Мату Хари? Борзый. Заносчивый. Противный. Похоже, да, мог — селезенка Глодова уже обливалась кровью.

В тот день он до конца прочувствовал, что мир его рухнул. Гордость его была раздавлена, как мякотка абрикосины. Внутренне он стоял на коленях в грязи перед огромным антрацитово-черным «майбахом», в бездонной глубине которого растворилась восхитительная Мата Хари.

Это было хоть и больно, но закономерно. Она — Лу Саломе, а ты — недоницше, так, жалкий подффридрих.

Он доел пирожок, кое-как поднялся с колен и поплелся домой под нескончаемым морозящим дождем, промочил до нитки свои полудохлые кеды и дырявые носки.

Это был день, когда он почувствовал себя одиноким, как змея. И в пирожковой в тот вечер не было ни одного знакомого лица. Только Таня за стойкой, разливая кофе в граненые стаканы из титанового галлона, все бросала на него встревоженные взгляды. Но говорить с ней совсем не хотелось. Не в тот день.

Эта полуподвальная забегаловка — осколок советского общепита. Зеленая дверь у водосточной трубы. Кованый козырек в виде арки. Над козырьком невзрачная вывеска: «Четыре щуки». Когда-то, во времена оны, в пирожковой на Лаперуза было битком набито в обеденные часы. Но пролетарский класс старой закалки становится исчезающим явлением в городской среде, а вместе с ним уходят и его привычки перекусывать в дешевом общепите. Заведение по-прежнему любимо его немногочисленными завсегдатаями, сказать по правде, оно давно стало частью городской мифологии, как и двухсотлетний вяз на той же улице Лаперуза, с которым связано множество легенд.

В районе Воскобойки пирожковая — чуть не ровесница самого советского режима, и старый засыхающий вяз, который муниципальная служба не пилит, опасаясь петиций местных жителей, ведь тут, в старом районе старого города, в городские легенды верят даже самые образованные жители.

Что ни дом по Лаперуза — то миф.

Глодов живет в самом конце улицы, в буром краснокирпичном доме, от которого рукой подать до Музея Городских Вод — свернуть к Водоканалу и пару переулков пройти. На чердаке дома, по поверью, обитает семья еврейских привидений, в зимние ночи много от них шума — беспокойные и веселые они, эти еврейские призраки. Никто, разумеется, никогда их не видел, то просто ветер шумит по ночам в декабре, залетая в слуховые оконца. Но сказочные истории не иссякают уже почти полтора века.

В самом начале улицы, в здании бывшей мануфактуры купцов Соловьевых, в подвале живет черт. Выползает оттуда с тележкой, полной картона, и очень смахивает на бомжа. Прошлым февралем стояли звенящие морозы, и в Соловьевском подвале окоченели аж пятеро чертей. Но уже весной им на смену пришли новые — в природе не бывает пустующих ниш, когда уходит один черт, его место занимает другой.

А в доме рядом с Соловьевским до революции была аптека, и во дворике известный аптекарь Зиммельман оборудовал подземную химическую лабораторию, где и сварил, по слухам, зелье бессмертия — с тех пор бродит в городских потемках странной, не живой и не мертвой субстанцией в сером пальто и котелке. А над его лабораторией по-прежнему на пять метров возвышается широкая кирпичная труба вентиляции. Потому и говорят

про этот дом: «Дом с Трубой». На месте старой аптеки сейчас бар, который тоже называют «Трубой».

Дом номер пять облицован грубым неотесанным бурым камнем. Красивый дом — с окнами в виде арок, с межэтажными карнизами по фасаду, — но мрачноватый. В угловой квартире пятого этажа повесился один поручик. Он, говорят, как Герман в «Пиковой даме», был азартный игрок и связался с нечистой силой, она его и довела до петли.

А вот «Докторский дом» — с белым рустом по углам, по нечетной стороне, — известен он тем, что жил в нем доктор, и этому доктору явился призрак маленькой девочки. Была метель, доктор шел, подняв воротник, вдруг видит — под двухсотлетним вязом стоит маленькая, в обносках, лет пяти, обращается к доктору: помогите, моя мама больна. Он поднялся за своим саквояжем и пошел с девочкой сквозь вьюгу. Через квартал был домик, где лежала больная. Доктор ее осмотрел, лекарство дал. Если б не дочка ваша, говорит, совсем бы вам плохо было. Какая дочка? — глядит больная удивленными печальными глазами. Оказалось, умерла ее дочка еще год назад, от чихотки.

Легендарный вяз растет в уютной середке улицы, у серого четырехэтажного дома. Дом этот на Воскобойке каждой собаке известен. Здесь, в цокольном этаже, старая советская пирожковая.

Вот уже не одно десятилетие заведение начинает работу ровно в семь. И это неизменно, как снегопады в январе и дожди в августе. Контингент является с самого утра: голодные студенты, что, как птицы, наспех клюют пирожки в промасленной бумажке и убегают; старики, что ходят сюда помногу лет — в серых ветровках, кепках и поношенных шарфах; городские хипстеры, уже не молодые и не бедные, они могут позволить себе и дорогой ресторан, а их все равно влечет магия места. Всех влечет двор, где провел детство, киоск, куда бегал за мороженым, пирожковая в «своем» районе — островок вечности, где ничто не меняется.

В летние месяцы почти не бывает студентов, зато заглядывают туристы, слышавшие о легендарных «Четырех щуках», где все осталось, как при Союзе, где даже кофе варят в эмалированном ведре по особой, «еще той» рецептуре.

Обычно «Четыре щуки» были местом радости для Антона Глодова. Его с детства водила сюда бабушка, здесь

Кирилл Петрович играл в шахматы с Семеном Терентьевичем, пока последний не умер от сердечного приступа, и с Таней детьми у зеленой двери пирожковой они пускали по огромной луже — в тот год засорилась ливневка на Лаперуза — кораблики из промасленных бумажных квадратиков, которыми полна была уличная урна. Сюда он, став студентом, привел значимых для себя знакомых с курса, их было немного... если быть совсем уж честными, то всего один — робкий паренек Витя с легким косоглазием. Этот общепит он как-то показал Мате Харе. Сюда же он привел и Виттенштейна, отрекомендовав ему заведение как остро-ностальгическое, обнажающее серость жизни в духе «Мифа о Сизифе» Альбера Камю, но, правда, и свет тоже — но свет тусклый, ведь люди, что сюда ходят, радуются лишь крохам, как птицы. Пирожок в маслянистой бумажке. На блюдечке — половинка бутерброда с полоской горбуши сероватого оттенка. Пластиковый стаканчик дешевого кислого вина. Конфеты поштучно на закуску. Все как в старом добром театральном буфете. Только театр на задворках мира. Актеры печальны и бедны. Публика неприятельна. Но Виттенштейн поднял его на смех:

— Серьезно, парень? Этим ты хотел меня удивить? Да я хожу сюда с тех пор, как... черт и не припомню, с какого года.

Сошлись на том, что с пеленок.

Виттенштейн — мировой мужик. Ему было за сорок, когда Глодов с ним познакомился. Полный неудачник. Архитектор и пьяница. Проектирует за копейки, практически за еду, какие-то загородные дачные домики. А когда пускается в запой, пропивает все до носков и, с трудом вылезая из пучины, обзванивает знакомых, знакомых знакомых, ведет вынужденные активности в соцсетях — в поисках заказов. Он в вечном поиске заказов и смысла жизни. Поэтому и ходил в те времена, во времена юности Глодова, вольным слушателем на лекции философака. Он тучный, гривастый, как тибетский мастиф. Седина тронула его виски, на лице морщинки от улыбок и от тоски, иногда синяки и вечный прыщ на крупном, сизоватом, как инжир, носу.

В те времена сама хозяйка «Четырех щук» — необъятных размеров тетя-Настя — стояла за буфетной стойкой, и не было такого места на всем белом свете, где она смотрелась бы органичнее. Богиня общепита, подающая беляши и сосиски в тесте.

Со студентами, прибегающими поклевать, она была требовательна:

— Шарф где? Опять шея голая? Говорила же, без шарфа в мороз у меня не показывайся!

Со стариками ласково-строга, как с детьми:

— Кирилл Петрович, в собес - это на восьмом трамвае, и не спорьте, а то заблудитесь.

Студенты бренны — приходят и уходят, сменяют друг друга, их любовь к «Четырем щукам» длится ровно столько, сколько длятся их бедные годы и сессии, пока в карманах ветер звенит заваливавшейся монеткой. А старики вечны, как Геркулесовы столпы, если они куда и уйдут отсюда, то в мир иной. В дождь, в жару, в метель — они здесь всегда, это их место силы. Увидеть «своих» и перекинуться парой словечек за жизнь — много ли им надо?

Утренние посетители уходят, на смену им приходят полуденные, потом вечерние. Вместе с пирожками им подаются горячие новости — о том, что станция метро у Подземного пассажа закрывается на ремонт, что трамвайные рельсы на Речной будут демонтировать. Над планетой бушуют кризисы, где-то идут войны, кругом страсти земные, дожди, снегопады, ползут машины, по окна заляпанные грязью, — без конца, день за днем. Меняются новости, не меняются лица. Здесь, в пирожковой на Лаперуза, время словно остановилось.

Теть-Настя красила волосы в цвет красной сливы и стриглась бобриком — по-мужски. На голове у нее была белая накрахмаленная наколка, похожая на кукольный кокошник. А под фартуком — один из ее знаменитых бордовых свитеров (в шкафу у теть-Настии их было ровно пять, совершенно одинаковых — крупной вязки, густого винного цвета) и юбка на все случаи жизни — винтажная, времен застоя, серая, шерстяная, поношенная, но добротная. Так хозяйка общепита раз и навсегда решила извечную женскую проблему выбора наряда.

Природа сбила ее плотно и мощно, с круглым носом и бульдожьим подбородком — обделила красотой, зато одарила стойкостью. И взгляд на жизнь у нее, разумеется, был стоический: что толку сопротивляться, если телега судьбы все равно едет по ухабам и тащит тебя, привязанного к ней, за собой? Можно грызть землю, упираться, биться боками о камни, волоком тащась за судьбой, а можно просто идти. Ты все равно прибудешь

туда же. Выбор за тобой — придешь ты целехонький или весь ободранный и замученный.

Забот у теть-Насты был воз и маленькая тележка. Но она всё переносила со спокойствием Марка Аврелия: и скакнувшую арендную плату, и кризисы, и неисправности вентиляции, и петиции вечно чем-нибудь недовольных жильцов дома, под цоколем которого пирожковая нашла приют, и прочие хождения по мукам.

Из бед всегда удавалось выпутываться. Теть-Настя решала дела, Таня стояла за буфетной стойкой. Да Амелия Карловна, сердобольная и суеверная, помогала методами народного колдовства, хоть ее никто и не просил об услугах. В своей незаменимости Амелия Карловна была убеждена твердо. Разве не она все эти годы с отводила беды от пирожковой?

Да, и правда, она...

Амелия Карловна — бабушка Антона. Он помнит ее такой: старушка в легком платочке из голубенького газа и бежевом болоньевом плаще. Аккуратненькая, восьмидесятилетняя, с потертой сумкой из кожзама, похожей на огромный дамский кошелек с металлической застежкой-«поцелуйчик».

Пирожковая для бабушки была вторым домом. Она ходила сюда с семидесятых годов прошлого века, Настасью-хозяйку знала еще девчушкой. Сколько все они себя помнили, они помнили и друг друга — один двор, один дом, квартиры на одной лестничной клетке, и один на всех общепит.

На завтрак Амелия Карловна брала пирожок с повидлом и стакан кофе с молоком. Таня предлагала ей «записать на счет» — до пенсии. Но бабушка — человек старой закалки, честный до мистики. Она всегда на мели, но ее привычка платить по счетам неискоренима, и она лезла в свою необъятную сумку за кошельком.

Роясь в сумке, Амелия Карловна выуживала на буфетную стойку очешник, документ в потрескавшейся обложке с гербом империи Советов, книжицу стихов Ахматовой, белый пластиковый пакет, с которым ходила в магазин, коробочку с ампулами... И спохватывалась:

— Ой, пока не забыла... Купила в аптеке противовоспалительное в ампулах. Мне без рецепта продали. Вот посмотри... Сделаешь мне укол вечером, дружочек Танечка? Спина болит.

Таня полгода проучилась в медицинском, но не вытянула — бросила. И торчала за стойкой в пирожковой матери. Все, что у нее осталось, — разочарование да нехитрый навык ставить уколы.

— Сходите уже к врачу, Амелия Карловна... — отнекивалась Таня.

— Да зачем мне врачи? Я сама знаю, что мне помогает. Будь дружочком...

— После смены к вам забегу, — сдавалась Таня. Она всегда сдавалась.

— Ой, спасибо! Ты забегай вечером, я тебе заодно и погадаю.

Амелия Карловна наконец находила тканевый кошелечек на молнии и расплачивалась. Семенящей походкой направлялась за стоячий столик в углу (она всегда старалась его занять, это было «ее» место), деликатно клала на край стола пирожок в бумажке, ставила граненый стакан с кофе. Поправляла голубой платочек на волосах и приступала к завтраку — мелко, по-мышинному, надкусывала пирожок с повидлом и аристократично жевала, как Изабель Юппер в роли мадам Бовари. Завтрак у Амелии Карловны, из-за ее аристократичных манер, растягивался минут на сорок. Но спешить ей было некуда.

И вот сцена со средневековой гравюры — бабушка колдует. Плотно задернув занавески на кухне, берет эмалированную кастрюльку, ставит на газовую плиту и бросает в нее десяток тонких, горчичного цвета церковных свечей. Воск плавится. Бабушка, надев передник, словно готовится лепить пельмени из воска, шепчет молитву Богородице и льет расплавленный воск в блюдечко с холодной водой. По замысловатым восковым комкам-уродцам, похожим на экспонаты Кунсткамеры, прорицает будущее... Будущее видится неясным и непростым — грядут мелкие и большие беды, возможно очередное падение цен на нефть, кризис фондового рынка, эпидемии неизвестных науке болезней и даже мировая война... Амелия Карловна надевает платочек из голубенького газа и спешит дать совет соседке Настасье на будущее:

— К экстрасенсу сходи.

Поход к экстрасенсу непременно должен был отвратить очередную беду от пирожковой.

Однажды свечки ей попадались парафиновые. Парафин загорелся, бабушка решила потушить его водой, и фонтан

расплавленного парафина брызнул во все стороны. Копоть, загоревшиеся тряпки, вой кота, в ужасе мечущегося по квартире... Ожоги на руках бабушка залечила быстрее, чем отскребла парафин со стен и потолка. Но от колдовства это ее не отвратило.

— А почему, все-таки, «Четыре щуки»? При чем здесь щуки вообще? — спросила она его как-то.

Это было в самом конце октября. Они, промокшие под ливнем, грели ладони у батареи, потом ели пирожки в промасленных бумажках, столик был у окна, за мокрым стеклом проплывали пятна зонтов.

Глодов и сам долгое время не понимал, почему. Пока не спросил у теть-Насти. Та просветила его. И в тот момент он улыбался, глядя на Мату Хари. Он знал разгадку тайны.

Они допили кофе, вышли в осеннюю слякоть, и он показал ей...

Все дело было в кованом козырьке над зеленой дверью. В его узор вплелись четыре изогнутые дугой щуки с острыми, как у стерлядки, носами. Их никто не замечал, кованый узор козырька над входом в пирожковую на Лаперуза стал так привычен глазу, что щуки слились с городским ландшафтом.

— Ну, надо же... — Мата Хари замороженно улыбалась, разглядывая кованый узор.

Ах, Матя, Матя... такая глубокая тоска.

Тайна Ольги Чеховой

Отрывок из романа¹

Ольга Чехова, звезда немецкого кино первой половины двадцатого века, любимая актриса Адольфа Гитлера, предположительно была тайным агентом советской разведки.

В этом отрывке: жена рейхсмаршала Германа Геринга Эмма Геринг, бывшая кинозвезда, пригласила своих подружек на девичник в отеле «Адлон». Присутствовали главные кинозвезды Германии — Сара Леандер, Марика Рёкк, Ольга Чехова, Лиззи Вертмюллер и Хейди Бриль.

Было, возможно, еще несколько других, но их имена Оленька упустила в списке, составленном ею после вечеринки. Зато в своих донесениях об этой вечеринке, - а их было несколько, - она рассказала много интересного.

Дело в том, что Эмма для общего развлечения задумала конкурс на лучший рассказ о каком-нибудь реальном событии. Первым призом должен был служить большой флакон контрабандных французских духов «Шанель номер 5», а записки с номером избранного рассказа следовало бросать в атласный розовый ридикюль, который должен был стать вторым призом. На рассмотрение кинозвезд были предоставлены пять рассказов. Два из них привела в своих донесениях Оленька.

¹ Исторические события, описанные в этом романе, не всегда происходили в действительности. Автор считает возможным умышленное искажение событийной канвы в пользу яркости характеров персонажей. (От редакции)

Донесение номер 1

(Монолог Евы Браун, за который она получила первый приз, но не потому, что она подружка Адольфа Гитлера, а потому что заслужила).

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер много раз уговаривал Адольфа посетить один из мистических сеансов, но Адольф всегда отказывался под каким-нибудь предлогом, потому что боялся попасть в плен мистики. Но на этот раз ему стало уже неудобно отказываться, — наступал новый, 1943-й год, и Гиммлер обещал необыкновенную церемонию. Адольф предложил мне посетить эту церемонию вместо него, и я не решилась ему отказать.

Я хорошо помню все детали. Гиммлер прислал за мной свой «мерседес» с водителем, унтергруппенфюрером Отто Ланге, который одновременно оказался экскурсоводом. Мы проехали весь Курфюрстендамм и оказались в тихой улочке на окраине Грюневальда. Дом, у которого мы припарковались, напомнил мне большой имбирный пряник — его первый этаж был выкрашен в коричневый цвет, а два верхних — в кремовый. С восточной стороны дом завершался восьмиугольной коричневой башенкой, наводящей на мысль о шоколадном цветочке на торте.

Мы вошли в кованые железные ворота, украшенные различными знаками зодиака. Мой спутник сообщил, что церемонию будет вести друг рейхсфюрера, великий маг Фюрстер, имя которого известно лучшим людям Европы. Ланге ввел меня в просторную, скупо мебелированную комнату с белыми стенами над дубовыми панелями и с наглухо задернутыми зелеными шторами на окнах, и усадил в кресло рядом с Гиммлером.

Прежде чем сесть на стул во втором ряду, он шепнул мне:

— Герр Фюрстер вот-вот появится. Ему нужно какое-то время спокойной медитации до того, как он сможет проникнуть в мир духов.

Через пару минут в комнату вошел пожилой господин в солидном коричневом костюме с резной тростью из слоновой кости в руке. По еле слышному вздоху, пронесшемуся по комнате, я поняла, что это и есть Фюрстер. Он сел в кресло возле круглого стола и вдруг обратился ко мне:

— Дорогая фрейлейн Ева Браун, я счастлив видеть вас здесь среди нас. Прошу вас, сядьте рядом со мной.

Я растерянно поднялась и села рядом с ним. А он продолжил:

— Когда дух посетит меня, я потеряю дар речи, и за меня будет говорить мой друг Отто.

Он кивнул за мое плечо, и в ответ мой водитель перешел в первый ряд и сел по другую сторону от Фюрстера, который сказал:

— Прошу вас всех расслабиться, закрыть глаза и глубоко вздохнуть. Только если мы все будем спокойны и расслаблены, дух сможет чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы войти сюда. Когда я вхожу в транс, мое тело становится очень уязвимым, и я прошу вас воздержаться от резких движений и выкриков, они могут повредить мне. Прошу вас, дорогой Отто, пожалуйста, погасите свет.

Отто погасил свет. В полной темноте он объявил:

— Герр Фюрстер потерял дар речи и будет теперь говорить только через меня.

Я заметила, что дыхание Фюрстера становится все медленней и тише, словно он действительно растворялся в пространстве. Отто как-то неуверенно вздохнул и сказал:

— Я в незнакомом городе, в котором никогда не был. Я не знаю, как сюда попал...

— Кто ты?

— На мне какая-то униформа, я стою у входа в красивый дворец, у меня в руках оружие, я охраняю этот дворец.

— От кого ты его охраняешь?

— Черные вороны собираются на пир. Два черных ворона слетаются сюда, чтобы договориться о том, как уничтожить светлое царство.

— Когда они слетятся сюда?

— Скоро! Совсем скоро!

— Завтра?

— Нет! Не завтра. Через десять дней!

— Что же это за дворец?

— Он белый! Белый! Белый дом!

— Где он, этот белый дом?

— Я вижу много воды, просторы воды! Дом этот далеко, за большой водой!

— Это океан? Или море? Или озеро?

— Не знаю, это очень большая вода! Черные вороны слетаются за большой водой!

После этих слов свет зажегся, и я увидела, что герр Фюрстер откинулся в кресле и сидит с закрытыми глазами,

и будто не дышит. Мне даже показалось, что он потерял сознание. В ту же секунду рядом с ним оказался сам Гиммлер, который стал щупать его пульс. Наконец, тот открыл глаза и прошептал:

— Пойди поскорей к своему другу Вальтеру и поройся в сегодняшних и вчерашних телеграммах.

Гиммлер вскочил и бросился к двери, потом уже в дверях обернулся и крикнул мне:

— Ева, немедленно расскажите Адольфу!

Я еще не пришла в себя от увиденного. В голове у меня все качалось, и я не знала, смеяться мне или верить тому, что произошло. Ведь это было так похоже на пошлый спектакль. Я все же поспешила и попросила герра Ланге отвезти меня обратно. Он сказал, что не может покинуть герра Фюрстера в таком состоянии, и приказал одному из охранников отвезти меня туда, куда я попрошу.

Я решила сразу ехать к Адольфу и рассказать ему о предупреждении Фюрстера. Я подумала, что он в крайнем случае рассмеется, но вряд ли на меня рассердится. Но он отнесся к этой истории очень серьезно и тут же позвонил Гиммлеру, который как раз нашел у Шелленберга зашифрованную телеграмму от нашего агента из Испании. В телеграмме было написано по-испански: «14-го января Рузвельт и Черчилль тайно встречаются в Белом Доме».

Наш агентурный отдел сразу был задействован по высшему разряду — всех лучших людей стянули в Вашингтон, Белый Дом был буквально окружен и весь просматривался насквозь, но никаких приготовлений к приему Черчилля не заметили. И никто не видел, когда Рузвельта вывезли из Белого Дома. И только истерическая телеграмма из Марокко открыла страшную тайну: секретная встреча двух лидеров западного мира, на которой было сформулировано требование безоговорочной капитуляции Германии, состоялась в Касабланке. Касабланка по-испански Каза Бланка, то есть Белый дом. Так сообщил испанский агент разведывательного управления СС: встреча состоится в Касабланке, которую перевели на немецкий язык как Белый Дом. И ему поверили — это было логично и убедительно. Но переводчику эту ошибку не простили.

Донесение номер 2

(Это рассказ анонимной актрисы, пожелавшей остаться неизвестной. Получила второй приз)

— Прошлой осенью мне пришлось искать работу, у меня не было ни одного контракта, даже на самую маленькую роль. Знакомый помог мне устроиться горничной в отель «Адлон»: все-таки какая-никакая зарплата и бесплатный обед. Как-то я делала уборку на четвертом этаже и постучалась в номер, который часто пустовал. Но я всегда стучусь, на всякий случай.

Мужской голос ответил мне: «Войдите». Я вошла и увидела молодого, довольно красивого человека, лицо которого показалось мне знакомым. Он был одет в дорогую домашнюю куртку, но я заметила в приоткрытом шкафу черный мундир СС. Я быстро завершила уборку и вышла.

После обеда меня послали в бар - помогать мыть бокалы и стаканы. Народу в баре было немного. Мне запомнилась очень красивая и красиво одетая молодая женщина. Она сидела одна за угловым столиком и держала почти нетронутый бокал с вином. В ней было нечто необыкновенное. Даже трудно сказать, что — то ли в красоте, то ли в выражении лица, не знаю.

Мой рабочий день закончился, но я не успела уйти, когда красивая дама резко поднялась и вышла из бара, оставив на столе недопитый бокал. Она прошла по коридору к лифту. Я поспешила за ней и, подхватив по дороге свою рабочую тележку, вошла в лифт вместе с ней.

Мы вышли на четвертом этаже, и я медленно двинулась по коридору вслед за ней. Не обращая на меня внимания, она подошла к тому номеру, где я видела красивого обладателя черного мундира. Она вошла к нему, не постучав, — дверь была приоткрыта. Я почему-то так и думала, что он ждал ее.

Когда я спускалась в лифте, я вспомнила, кто этот человек. Это был Вальтер Шелленберг, какой-то высокий начальник в разведке СС.

Я потом еще несколько раз видела эту женщину в отеле, но уже за ней не следила. Ведь я знала, к кому она приходила. Но меня мучило любопытство. Мне хотелось узнать, кто она такая. Я чувствовала, что эта история романтическая, а не просто короткие встречи в отеле. Она

была женщиной из самого высшего общества, я в этом уверена.

Собственно, почему была? Они ведь и теперь там встречаются, у них это серьезно.

А недавно один симпатичный парень, - не актер, заметьте, - пригласил меня в кино. Я сначала засмеялась: меня? В кино? Да меня от кино тошнит! Но он намекнул, что ищет в кино уединения в темноте, и я согласилась.

Перед фильмом показывали документалку, похороны гауляйтера Гейдриха, и вдруг я увидела ее — она была жена, - нет, вдова Гейдриха! Я так и знала, что она птица высокого полета!

Этот рассказ получил второй приз. Но меня тоже стало мучить любопытство: я вспомнила свою поездку в Вольфшанце с Шелленбергом. Дорога была очень длинная, и я страшно устала. Шелленберг тоже устал и предложил мне выпить по рюмочке — у него в портфеле была фляжка с виски. Мы выпили по глоточку и разговорились. Я осмелилась спросить его, какие у него были отношения с его начальником Рейнхардом Гейдрихом. Он со смехом сказал, что Гейдрих ревновал его к своей жене. Он сказал: «Она любила беседовать со мной о театре, о поэзии, о людях искусства, а это все Рейнхарда не интересовало».

Кажется, она продолжает беседы с Шелленбергом об искусстве и после смерти Рейнхарда. Недаром муж ее ревновал. Возникает вопрос — кто больше всех выиграл от смерти Гейдриха?

Петра

Рейнхард Гейдрих был таким чудовищем, что, на мой взгляд, от его смерти выиграло все человечество.

Приключения Оленьки, 1943 г.

В 1943-м году на студии УФА снималось меньше фильмов, чем раньше. Зато презентации фильмов стали более праздничными, чтобы порадовать людей, удрученных затянувшейся войной. Презентация фильма «Опасная весна» состоялась в кинозале на Потсдамер-плац. Народу было немного, поскольку впускали только по пригласительным билетам. Зато после просмотра присутствующим был предложен довольно изысканный

фуршет. Официантки, - а не официанты, которых призвали в армию, - разносили красиво составленные бутерброды и бокалы с рейнским вином.

Оленька стояла в нерешительности; она всегда чувствовала некоторое смятение после непосредственного контакта со зрителями. Вдруг перед ней возник статный молодой человек в генеральском мундире. Он подошел с двумя бокалами вина — по бокалу в каждой руке.

— Позвольте, как и в прошлом, выпить с королевой вечера, — сказал он.

Оленька вспомнила, что уже встречала его несколько лет назад на какой-то презентации, только не могла вспомнить, на какой. Тогда он еще не был генералом, но запомнился ей своей мужской привлекательностью и интеллигентным разговором. Она даже вспомнила его имя: Мартин Шульц, — и с удовольствием приняла предложенный бокал. А через час приятного разговора приняла и предложение Мартина закончить вечер у него в генеральской квартире в Далеме. У нее не было сомнения, что приглашение молодого генерала содержало в себе предложение интимной близости; но в последнее время она осознала приближение конца своей женской жизни. Она привыкла к тому, что много лет была центром сексуального притяжения, но видела, как ее постепенно вытесняют молодые и настойчивые. А намеки и приглашения сверстников уже не привлекали; ей было жалко зря потраченного времени.

Она не ошиблась. Они провели прекрасный вечер и еще более прекрасную ночь. Наутро, проснувшись, она обнаружила, что генерал умчался на важное совещание и попросил ее - уходя, захлопнуть дверь. Она не спеша встала с постели, приняла душ, оделась и стала искать зеркало, чтобы приколоть шляпку.

Служебная квартира генерала состояла из двух комнат. Она вышла во вторую, похожую на кабинет, и остановилась в испуге: убегая в спешке, Мартин не заметил, что опрокинул портфель, из которого веером рассыпались по столу фотографии.

При взгляде на эти фотографии у нее кровь застыла в жилах — на снимках были горы трупов, в основном голых женщин, иногда с детьми. Одни лежали грудой, другие были свалены в глубокие ямы. И на всех была кровь и следы пулевых ран.

По Берлину ходили смутные слухи о массовых расстрелах, но в них никто не верил, хоть все знали, что евреев куда-то вывозили. Но ведь не расстреливали же, вот так, голых, чтобы сбросить в яму! А выходит - это правда?!

— Что ты тут делаешь? — раздался голос за спиной.

У Оленьки хватило рассудительности не обернуться резко, а обернуться так, чтобы сесть на стол и прикрыть собой страшные фотографии. Пред ней стояла горничная, толстая и сердитая тетка в белом фартуке и в кружевной наkolке, вооруженная тележкой со всем, необходимым для уборки.

— Ты кто такая? И как сюда попала? — спросила тетка угрожающе и, оставив тележку, двинулась к кабинету. Отступить было некуда — Оленька сидела на столе, с которого не могла встать.

"Сейчас она меня узнает!" — испугалась Оленька. — "Такие тетки любят кино!"

Но тетка не успела ее узнать — за окном надрывно завывала сирена воздушной тревоги. Оленька невольно глянула на часы — ровно одиннадцать, американцы никогда не опаздывают. Они работают строго по расписанию: в одиннадцать утра американцы, в девять вечера англичане.

Когда она отвела глаза от часов, толстой тетки перед ней уже не было. Позабыв про тележку, горничная рысью умчалась из комнаты в бомбоубежище.

Оленька в бомбоубежище не побежала. Она положилась на судьбу и, соскочив со стола, аккуратно сложила фотографии, выбрала из них три самые страшные, а остальные сунула обратно в портфель. Похищенные три она сунула в трусы, так как ни в сумочку, ни в карман они не помещались. И вышла из квартиры Мартина, аккуратно захлопнув за собой дверь. Прошла по пустому коридору, спустилась по пустой лестнице и оказалась на пустой улице — все разбежались по бомбоубежищам.

Нетвердо зная, как добраться до своей машины, она завернула за угол, увидела трамвайную остановку и решила дождаться трамвая. И только тут почувствовала, как жгут и жалят ее спрятанные в трусах фотографии. А что, если горничная пошлет за ней погоню и ее обыщут? Нужно было от этих фотографий срочно избавляться, но как? Не выбрасывать же их в мусорный ящик. Их следовало показать миру.

Тут к остановке на полной скорости подошел пустой трамвай и даже не попытался затормозить. Но Оленька отчаянно замахала руками, и он со скрежетом остановился. Оленька взобралась в вагон.

Тем временем сирена смолкла, и стали слышны взрывы. Бомбы падали где-то поблизости, но трамвай продолжал двигаться. Оленька добралась до водителя и спросила: «Потсдамер-плац»? Тот кивнул и погнал трамвай дальше.

Через десять минут они подкатили к Потсдамер-плац; водитель остановил трамвай и высадил Оленьку. Она было направилась к своей машине, но вдруг остановилась, как вкопанная, — прямо перед ее машиной стоял полицейский! Первая мысль была паническая: горничная ее узнала и сообщила в полицию! Вторая мысль была более рассудительная: даже если горничная ее опознала, кто мог знать, где была припаркована ее машина? И взяв себя в руки, она храбро подошла к машине. Увидев, как она отпирает дверцу своим ключом, полицейский козырнул и сказал:

— Наконец вы явились, уважаемая дама! Мы уже начали беспокоиться, ведь все остальные машины, припаркованные с вечера, уже давно разобрали.

Оленька постаралась поскорее уехать подальше от полицейского. Но отъехав достаточно далеко, остановила машину и задумалась: как безопасно и быстро избавиться от фотографий? И придумала! Она подъехала максимально близко к конторе Курта и отыскала ближайший телефон-автомат. Набрав номер Курта, она глубоко вздохнула и, с трудом сдерживая рыдание, произнесла:

— Курт, скажи честно, ты меня все еще любишь?

Она услышала, как Курт поперхнулся, но, слава Богу, быстро сообразил и сказал:

— Конечно, дорогая! Конечно, люблю!

— Тогда докажи это — выйди ко мне; я сижу в машине у твоих дверей!

— Но почему ты не хочешь зайти ко мне?

— Я не хочу целовать тебя на глазах твоей секретарши!

— Хорошо, дорогая! Я уже выхожу!

Она откинулась на спинку сиденья и, в ожидании Курта, извлекла из трусов взрывоопасные фотографии.

Он сел на пассажирское сиденье рядом с ней и спросил взволнованно: что случилось? Он привык за годы совместной работы, что Оленька даром волну не гонит. Она

выложила перед ним фотографии, медленно, одну за другой. Грубо говоря, у него глаза на лоб полезли.

— Откуда это у вас?

— А вот этого я вам сказать не могу!

— Но это же!.. Это же настоящее открытие, если не подделка!

И он перевернул каждую фотографию. На обратной стороне каждой была надпись и дата: «Бабий Яр» — два раза, и один раз «Дробницкий Яр».

— Почему подделка? Уверяю вас, эти фотографии подлинные! Их там была целая пачка!

— Вам цены нет, Ольга Константиновна!

Ольга Константиновна не жаждала похвал, она жаждала поскорей уехать от этих компрометирующих ее фотографий. Что она и сделала, как только Курт ее отпустил. Через десять минут после их встречи Оленька уже вела машину в сторону Глинеке. Сквозь туман, застилающий ее мозг, она все же обратила внимание, что бомбежка закончилась. Она заметила по дороге пару дымящихся развалин, вокруг которых суетились спасатели с тачками и лопатами. «Скорей бы добраться до дома! И позавтракать», — ведь она сегодня не завтракала!

Она представила свою кухню: на плите кипит чайник, и мама накрывает на стол.

Наспех припарковав машину, она взбежала на крыльцо и распахнула дверь. В доме было странно тихо — никто не дышал, на кухне не кипел чайник, и стол был не накрыт.

— Мама! — крикнула Оленька. — Я дома!

Не получив ответа, она помчалась в комнату матери. Ворвалась без стука и увидела, что мама лежит на спине, одетая и не укрытая одеялом. Оленьку охватил такой ужас, что она не подбежала к кровати, а подошла к ней медленно, на цыпочках, и осторожно тронула мать за плечо. Плечо было холодное и твердое, неживое. Оно и было не живое, так же, как широко открытые мертвые глаза.

Ноги Оленьки подкосились, и она безвольно опустилась на пол перед кроватью, не в силах даже заплакать.

Оленька, 1944 год

Но это не мешало ей продолжать жить и сниматься в кино. Ведь это было единственное, что она умела.

Следующий фильм, к счастью, снимали не в Берлине, а в австрийских горах. Посреди съемок случился перерыв: то ли пленки не хватило, то ли звукооператора призвали в армию, - но съемки остановили на две недели. Оленька решила не возвращаться в измученный бомбежками Берлин, где ее никто не ждал, а провести неожиданный отпуск в каком-нибудь австрийском курортном городке.

В туристском агентстве ей рекомендовали комфортабельную комнату в недавно модернизованном старинном замке в горах над озером Фушель. Она не предложила никому из труппы присоединиться к ней, она хотела побыть одна, чтобы обдумать свое будущее в свете предстоящих исторических перемен. А что перемены грядут, она не сомневалась.

В этом отеле-замке была очень оригинальная сервировка обедов; во всяком случае, на летнее время — небольшие индивидуальные столики накрывали не в обеденном зале, а на широкой каменной террасе, нависшей над озером. Над каждым столиком возвышались дерево и изящный нарядный зонтик, создающий иллюзию праздника. Немногочисленные гости отеля делились на устойчивые пары и скромную стайку одиночек, включающую и Оленьку.

Как ни странно, ни пары, ни одиночки не стремились к слиянию — каждая единица как приходила в ресторан, так и уходила.

Оленька, хоть и погруженная в себя, все же заметила среди одиночек симпатичного мужчину средних лет, который каждый раз при встрече смотрел на нее так, словно хотел поздороваться. Встречи во время обеда не очень ее занимали, потому что она невольно увлеклась хождением в горы. Горы начинались сразу за территорией отеля, и очень быстро превращались в предгорья снежных скал. Неуверенный, но неотступный подъем к этим предгорьям неожиданно очищал Оленькину голову от того смятения настроений и мыслей, в котором она жила последнее время.

С каждым днем ей становилось все ясней, что сегодняшней Германии скоро придет конец. А ведь на государственной поддержке кино покоилось все ее

благополучие! Впрочем, не стоило беспокоиться — кино стало такой неотъемлемой радостью в жизни общества, что кто-нибудь всегда будет его содержать. Гораздо важнее вставал вопрос: как тот, который будет содержать, отнесется к ней? Всё ли она сделала, чтобы его задобрить? И вообще: можно ли его задобрить?

Она так глубоко погрузилась в обсуждение своего будущего в свете исторического кризиса, что не заметила, как ее тень догнала чья-то чужая. И увидев вдруг эту крупную чужую тень, смело перекрывающую хрупкую ее, резко обернулась - и встретилась глазами с тем самым мужчиной средних лет из-за соседнего столика.

— Не пугайтесь, — сказал он поспешно. — Ведь вы Ольга Чехова? Вы мне не отвечайте, я все равно ничего не слышу. Я глухой на одно ухо и полуглухой на второе.

Она все-таки спросила, на каком фронте он ранен. Он не услышал, но понял.

— Не на фронте, а в логове фюрера Вольфсшанце. Вы ведь знаете, где Вольфсшанце, я вас там видел. Я даже помогал вам дойти до туалета, когда вы упали на прогулке с фюрером.

Оленька всмотрелась в хмурое лицо своего собеседника и вроде бы вспомнила его среди охранников фюрера, которые подняли ее, когда она упала.

— Меня зовут Юлиус Шваб. Я очень вас обожаю, еще с ранних лет, когда вы только начинали и сыграли баронессу в том фильме про заколдованный замок. Я служил в охране фюрера в Вольфсшанце. А теперь я оглох и меня отчислили; слава Богу, на тот свет не отправили за то, что я знаю. Не спрашивайте, что именно я знаю, я сам вам расскажу, чтобы это знание не умерло со мной вместе.

Он указал на стоявшую неподалеку скамейку.

- Давайте сядем, так будет удобней.

Оленька послушно села. У нее было ощущение, что этот человек ее загипнотизировал.

— Фюрер уже давно не выезжал из Вольфсшанце, очень боялся бомбежек. В тот день сначала все было как обычно, ничего особенного. Приехали очередные генералы, они несколько раз в неделю приезжали — не одни и те же, но всегда генералы. И собрались в комнате для конференций. Граф фон Штауффенберг поставил рядом с собой портфель, на который никто не обратил внимания. И как только начали обсуждение, из портфеля грохнуло и рвануло пламенем. Кто-то упал на пол и стал кататься по

ковру, стараясь сбить огонь, кто-то вскочил и стал сбивать огонь с одежды, кто-то упал на пол и уже не встал.

К началу совещания я стоял в дверях конференц-зала, но, когда рвануло, мне показалось, что мне снесло голову, и я вывалился наружу, скатился по ступенькам и потерял сознание. Оказалось, что мне не снесло голову, а просто лопнула барабанная перепонка в правом ухе, так что я сначала оглох. И только потом начал слышать левым ухом, но тоже неполноценно.

Я уполз в кусты. И когда стали убирать тех, кто остался в зале и видел, как на фюрере горела одежда, — меня еще не нашли в кустах. Я пришел в себя только к вечеру, выполз из кустов и еле-еле нашел дорогу в свой бункер. Почти все койки там были пустые, но я еще ничего не понял, а сразу лег в постель и заснул мертвым сном.

Утром за мной пришли и отнесли на носилках в полевой госпиталь, который устроили в одном из бункеров. Там было несколько коек, на койках лежали ребята из охраны, раненые. Никто ничего не знал и не понимал. Но постепенно поползли слухи, что было покушение на фюрера; некоторые даже говорили, что фюрер погиб. Но через несколько дней фюрер сам пришел к нам и сказал, что враги Германии пытались его убить, но у них ничего не вышло и никогда не выйдет. Он выглядел очень странно — сильно хромал, кожа на одной руке была обожжена и половина лица тоже.

Когда мне стало лучше, меня выписали из госпиталя и уволили с хорошим выходным пособием. И я приехал сюда, чтобы подлечить нервы, потому что я совсем перестал спать по ночам. Может быть, теперь, после того как я вам все это рассказал, я начну спать. Спасибо, что вы меня выслушали.

После этих слов он встал со скамейки и, хромя, ушел по тропинке в горы, а Оленька осталась сидеть, потрясенная услышанным.

На ужин Юлиус Шваб не пришел, и больше Оленька его не видела.

Роман без продолжения

Живем мы нынче долго, а хотим еще дольше. Для этого активно лечимся, наука прилежно для нас работает, и полечиться нам есть чем, и есть у кого. Так что жаловаться не приходится – есть и занятие, и неисчерпаемый, захватывающий предмет для беседы со сверстниками.

Правду сказать, предмет этот хоть и обширный, однако ж и он иногда приедается. Поэтому я расскажу на другую тему, тоже неисчерпаемую – про любовь. Расскажу, какой сюрприз поднесла старухе современная технология. А радость это или наоборот, судить не берусь.

Получаю я по электронной почте сообщение, что некий Патрик О'Брайен из Австралии желает меня "зафрендить", т.е. стать моим "другом" по Фейсбуку. Сообщения такие поступают каждому время от времени, и практика у меня давно выработана: если человек хоть сколько-нибудь знакомый – подтверждаю, пусть ему будет, некоторые ведь копят этих френдов, выискивают их из интернета, как блох, тысячами их набирают. Если совсем незнакомый – отвергаю, а если не уверена – заглядываю на его страничку, может, портрет увижу и вспомню.

Много лет назад встречала я одного Патрика, а был ли он О'Брайен – понятия не имею. Посмотрела фотографию – большой такой мужик сильно за сорок, физиономия хорошая, но нет, вроде незнакомый. Глянула, что он любит, какие книжки, какие фильмы, какую музыку, и приятно изумилась. Вкус у парня оказался отличный, самого высокого класса. И старомодный, как у меня, ему вроде и не по возрасту. Все имена, все названия прямо словно я выбирала. Просто родственная душа. Эх, душа, что ж ты родилась так поздно! Ладно, думаю, хоть и незнакомый, сделаю для него исключение, пускай приписывает меня в "друзья".

А он тут же шлет мне записочку: давайте поговорим.

– How did you get to me? – спрашиваю, по-английски, разумеется.

– Looked for an old friend, same name, didn't find her, found you.

– And?

– Three things in your profile attracted me: you speak Russian, я изучаю русский язык. Любите Вивальди, Пендерецкий 60-s music, я его люблю. And last but not least, your face: I liked it a lot.

Дальше мы общались по-русски, с многочисленными вкраплениями английского, которые я буду передавать лишь изредка. Русский он знал средне; как идиома, или не знает слова – так сразу по-английски.

– Перейдем на Скайп? – говорит. – Вот мои позывные. А ваши?

Подключились к Скайпу. И как он втянул меня в этот нелепый разговор?

Я его в Скайпе вижу, а он меня – нет. Мужик такой, в теле, но не сказать, чтоб толстый, и мускулы есть. А физиономия очень симпатичная, глаза с иронией, но не злые.

Он сразу просит включить изображение.

Я стесняюсь показываться в теперешнем своем виде. А чего, казалось бы, стесняться, перед молодым-то человеком? Это перед теми надо стесняться, кто меня в молодости знал. А им передо мной.

Говорю ему:

– У меня нет видеокамеры.

– Почему? У вас нельзя купить?

– Можно. Купить можно, да купилки нету.

– Что это "купилка"?

– Дензнаки.

– Что такое?

– Бабки, ну, бабло, ясно?

– А?

– Капуста.

– ??

– Башли, тугрики, лавэ, наконец...

– You lost me...

– Ничего, учитесь. Деньги это.

– Деньги? Рубли? У вас нет?

– Вот-вот, деньги. Рублей у меня точно нет, но мне их и не надо.

– С вами трудно говорить, Элиана. Не надо? Я не понимаю.

– Тогда пока.

– Нет, нет, почему пока! Не пока! Говорите со мной!

– Но о чем? И зачем?

Говорить нам действительно было не о чем и незачем, но анонимность завлекала. Он поспешно задал следующий вопрос:

– Почему не надо рубли, если у вас нет?

И мне показалось невежливым не ответить. А какая тут вежливость, что за ерунда! Я его не знаю, он меня не знает, сказала "пока" – ну и отключайся...

– А вы посмотрите, где я живу.

– Ах, да! Израиль! Вам надо не рубли, а сикли.

– Какие еще к черту сикли! Вы что, совсем ничего не знаете о моей стране?

– А вы о моей много знаете? И почему вы все время вроде как сердитесь? Вам это не идет. Это вас старит.

Ха, старит! Вопрос: почему я ему сразу не сказала, что меня уже ничто не старит? Давно бы он отвалил, и закончилась бы эта бесцельная болтовня. Нет, надо как-нибудь элегантно ему сказать.

Ну да, сказать...А я хочу, чтоб он отвалил? Да мне ведь все равно. Ни к чему он мне. И я ему не нужна, только он еще не знает. Сейчас узнает.

– Куда уж меня дальше старить!

– Понимаю. Вы хотите сказать, что и так старая.

– Вот именно.

– Да, в нашем возрасте, ближе к пятидесяти, начинаешь догадываться... Я вот тоже...

– Да ни о чем вы не догадываетесь.

– Ошибаетесь. Я вот смотрю на вашу фотографию и догадываюсь, что вы, вероятно, старше меня. Это так?

– Да, так.

– Вас это смущает?

– А вас?

– На фотографии вам лет сорок пять-шесть. Фотошоп вроде не использовался, но фотография вообще часто приукрашивает. Прибавим еще года три. Когда она была сделана? Для верности прибавим еще пару лет. В результате получается пятьдесят или около того. Угадал? Или состарил?

– Ни то, ни другое.

– Вы любите говорить загадками. В этом есть своя прелесть. Но продолжим. Даже если вам пятьдесят, или пятьдесят с небольшим, какое это может иметь значение. Мне сорок восьмой год, детей я больше не...

Детей! Это было смешно и даже трогательно. Он упорно не желал меня понимать. А сама виновата! Он промахнулся аж на двадцать с лишним лет – ну и скажи ему это простыми словами. Подействует мгновенно, не сомневайся! Но простые слова никак не выговаривались.

– Так вы что, женщину себе в Фейсбуке ищите? В виртуальной сети? Но ведь там и женщины виртуальные. И отношения виртуальные.

– И вы – виртуальная?

– В каком-то смысле.

– И я, по-вашему, виртуальный?

– Вполне возможно. Мы ведь с вами теперь "друзья" – куда уж виртуальней. Ну, ищите, ищите. Только смотрите, как бы не вляпаться.

– Вляпаться? Что это?

– Вляпаться – это вляпаться в грязь, в лужу, в собачье гов... кашки.

– Ах, русский язык. Слушаю и восхищаюсь. Как выразительно! Говорите, говорите еще! Мне так нравится вас слушать. У вас необыкновенно сексуальный низкий голос.

Это прозвучало так смешно, что я не выдержала и громко прыснула. Сексуальный голос! Что он, не слышит, что ли? Прокуренный!

– Почему же вы смеетесь?

– Вы влюбились в мой сексуальный низкий голос и в собачьи кашки!

– А что вы думаете? Готов влюбиться – если увижу вас.

– Для этого вам придется приехать сюда.

– Давно хочу побывать в вашей стране, но в данный момент никак не могу.

– Что так? Бабок нема?

– Бабок? Grandmothers? При чем тут...

Я старалась смеяться неслышно, чтоб не обиделся.

Сообразил:

– Ах, да... Нет, бабок предостаточно.

– О! Богатенький?

– Не бедный. А что? Это важно?

– Еще бы! Важнее всего!

– Всего?

– Главное достоинство мужчины – в его банковском счете.

– Ого! Даже так? Мне нравится ваше чувство юмора.

– О каком юморе речь?

- Ладно, ладно, понял.
- Ничего вы не поняли. Я говорю совершенно серьезно.
- Х-м...
- Это вас удивляет? Вы, разумеется, раньше ничего такого не знали. Или нарочно наивничка строите?
- Я что-то строю? Впрочем, не важно. Конечно, многие девушки ищут богатого мужчину. Только не часто говорят об этом мужчине при первом же знакомстве. Знаете, это как-то отпугивает.
- Данная девушка вас отпугнула? Отлично. Вот теперь – пока!
- Да что же это вы? Чуть что скажешь – пока. Ничего меня не отпугнуло! Просто я вам не верю. Не верю, что вы ищете в сети богатого мужчину.
- Напрасно не верите. Именно этого я и ищу.
- Предположим. Итак, вы выяснили, что я богат... можем разговаривать дальше?
- Разговаривать... нет. Извините, это была ошибка с моей стороны. Но вы сами виноваты... Прощайте!
- Стойте, стойте, не уходите... какая ошибка... В чем виноват? Я вас обидел?
- Нет, вы меня не обидели. Вы очень славный. Прощайте.
- Подождите! Тогда в чем дело?
- Но я отключилась. И похвалила себя за решимость. Конечно, было немного грустно. Мне понравилось его лицо, его добродушно-скептическая усмешка. Ну и что? Грустно сознавать, что такого рода знакомства в реальной жизни невозвратно остались позади. А ведь приятно старой женщине пообщаться с симпатичным молодым мужчиной, который проявляет к ней мужской интерес – не видя лица. Приятно, да. Но – непорядочно. И бессмысленно. Нечего на старости лет пускаться в виртуальные авантюры. И у него только время впустую отнимать, и себе причинять лишнюю боль. На всякий случай я выключила компьютер совсем, а то вздумает еще перезвонить, и могу не устоять перед искушением.
- Следующие десять дней я провела в гостях у младшей дочери, на берегу моря. Компьютер у них был всегда занят ее детьми, я к нему даже не подходила. И домой вернулась – тоже не сразу включила. Тут соседка приносит мне пакет, говорит, приходил посыльный из какой-то электронной фирмы, ничего, говорит, что я за тебя расписалась?

Странно, думаю, я ничего не заказывала. Однако имя, адрес, номер телефона – все мое. Распаковала. Внутри в коробке маленькая компьютерная видеокамера с микрофоном. Тут уж только дурной не догадается – мой австралийский френд! Ах ты, думаю, никак не отстанешь! Это с какой же стати он мне подарки дарит? Злость меня взяла (а почему злость? Признавайся, старая дура!), ну, я тебе сейчас врежу! Включила комп, только бы, думаю, он сейчас на Скайпе был.

Надо же, занято.

С кем это он, интересно? Небось, уже другую "подругу" себе нашел. Ну и на здоровье ему. Мне-то что? Мне плевать целиком и полностью, мне только пар выпустить надо, чтоб не смел...

– My dear woman! Как я рад! Наконец-то зеленая иконка! Где же вы пропадали столько времени?

«Моя дорогая». Ничего себе!

– Вы лучше скажите, кто вам позволил делать мне подарки? Кто просил?

– А разве на подарки нужно позволение? Да это и не вам подарок, а мне самому. Просто мне очень хочется вас видеть. А когда приеду, заберу обратно, если пожелаете.

– Заберете, не заберете, дело ваше. Все равно пользоваться не буду.

На его лице такое огорчение, что жалко смотреть.

– Вам так противен мой подарок? И, может быть, и я сам?

Да, следовало бы сказать – все мне противно, вся эта ситуация. Уж это подействует безотказно. Но я не говорю. Как скажешь такому симпатичному мужику, что он противен? Слишком уж откровенная ложь. Куда лучше просто сказать правду. Ну и скажи, скажи. Что, слабó?

Слабó.

– Нет, Патрик, вы мне совсем не противны, наоборот. Мне если кто и противен, так это я сама. А поэтому прошу вас, давайте пожмем, как говорится, друг другу руку и – мы ведь друзья? – расстанемся друзьями. И за подарок спасибо, хотя зря это, пользоваться все-таки не буду.

– Нет, руку вам пожимать я не хочу. Предпочитаю поцеловать. И не на прощание, а при встрече. И вообще, my dear, не хватит ли нам прощаться?

И в самом деле, глупо. Я все прощаюсь, прощаюсь, а не ухожу. И сейчас, видимо, не уйду.

– А что будем делать?

– Что делать? Да знакомиться друг с другом. Вы ведь ничего про меня не знаете.

– А вы про меня.

– Ну, про вас я уже кое-что знаю. Знаю, что вы красивая, умная и честная...

О господи, умная! Красивая! А уж честная, это точно...

–...знаю, что вы строптивая, капризная и не уверенная в себе. Знаю, что вы совсем не прочь со мной общаться, но что-то вам мешает. Скажите мне, что.

– И все это вы узнали из моего "профиля" в Фейсбуке? И мой адрес с телефоном, которых там нет?

– А для этого имеется телефонная книга в интернете. Но важнее другое. Что-то вам мешает разговаривать со мной так, как вы могли бы. Не правда ли?

– Ох, мешает, мешает! Вы даже не представляете себе, как мешает!

– Так скажите мне, что именно, может быть, мы решим проблему вместе.

– Чтобы решить мою проблему, вам надо быть волшебником. Или Господом Богом. Не спрашивайте больше, я вам не скажу. Во всяком случае, не сейчас.

– А когда?

Я решила дать себе небольшую отсрочку. В конце концов, можно же позволить себе иногда несколько приятных минут, пусть даже и виртуальных. Для развлечения, она ведь вся и сеть для этого существует. Кому от этого плохо? Я прекрасно сознаю, что делаю, к горечи мне не привыкать. А он, когда узнает правду, с ним тоже ничего страшного не случится. Я ведь его предупреждала насчет "вляпаться". Не понял, не догадался – сам виноват. Ну, досадно ему будет, разозлится, обругает старую дуру. А я и слушать не буду, скажу и сразу отключусь. Или, еще лучше, даже говорить ничего не буду, просто пообщаюсь еще немного для своего удовольствия, а в какой-то момент растворюсь навсегда в виртуальном пространстве.

– Со временем, – отвечаю.

– А, это приятно слышать. Значит, у нас есть время. Итак, про меня. Я разведен, двое детей, мальчик и девочка, летом живут со мной, зимой с матерью. Отношения с бывшей женой нормальные.

– Я вдова. Давно уже. Трое детей, дочери замужем, сын в армии.

Все правда, и вдова, и дочки, и сын, только я не говорю ему, что старшая дочь сама вот-вот сделается бабушкой, а сын Мики не какой-нибудь молоденький солдатик-первогодок, а кадровый военный, полковник.

– О, взрослые уже! Мои только школу кончают. Вы меня сильно обогнали – видно, очень рано начали?

– Так вышло. – Я поспешила уйти от опасной темы: – А что вы делаете? В смысле, где работаете?

На его страничке сказано "self-employed", то есть сам себе хозяин. А поскольку при деньгах, то скорее всего либо торговец, либо промышленник. Или адвокат. Или, может быть, рекламой занимается, тоже богатая отрасль. А может, просто какой-нибудь, например, квалифицированный сантехник, эти, говорят, здорово зарабатывают. Хотя, для сантехника очень уж вкусы изысканные. Впрочем, кто их знает, какие у них там в Австралии сантехники.

А он что-то замолчал.

– Или, может, вообще не работаете?

– Да почему же... работаю... Также и благотворительностью занимаюсь.

– Ну, благотворительность пусть останется на вашей совести...

– Отрицательно относитесь к благотворительности?

– Это еще слабо сказано.

– Вот как. Значит, не считаете, что сильные должны помогать слабым?

– В этой фразе целых четыре слова, которые неизвестно что значат. Сильные - это кто? У кого деньги? А слабые – у кого нету? Это еще неизвестно, кто кого сильнее окажется при последнем расчете. А должны – кому должны? Кто сказал, что надо? Помогать якобы... Вы что, действительно считаете, что помогаете?

– Вот не думал, что вас так волнуют социальные вопросы!

– И нисколько они меня не волнуют. Просто не выношу этой благостной фальши.

– Да почему же фальши?

– А вот и потому. Вот вы сумели заполучить много денег. Не знаю, как, неважно. Но сумели. А другой не сумел. Вы богатый, а другой нищий. Вы вообще христианин?

– Да, наверное. Крещеный, во всяком случае. А что?

– А то, что "блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное". Слышали про такое? Должны знать, если христианин. "Нищие духом" и есть просто нищие,

потому что, по Библии, им положено ничего не иметь. То есть, это богословы христианские так истолковали, что "духом" якобы как раз и значит - в материальном смысле. Так или иначе, у них зато будет царствие небесное. Ну, и кто вы такой, чтобы им «помогать»? Дать нищему подачку – это вы называете помощь? Ему что, от этого счастье привалит? Да еще, небось, и «спасибо» от них ждете. Или просто стыдно, что денег много? Грехи, что ли, замаливать надо?

– Ух-х... Я, честно говоря, не готовился к богословскому диспуту...

А я даже и не знаю, чего я так раздухарилась. Сама-то я нищая, и в библейском, и во всех других смыслах, так чего мне доброхоты эти так противны? И главное, зачем я на него так наехала? Благотворит – и пусть себе благотворит, раз не видит, какая это гадость. Совершенно тут не место серьезному разговору, тем более так агрессивно. Теперь надо как-то вернуться к прежнему настроению, легкому и необязательному. О чем бишь мы говорили-то? А, о его работе. А мне это важно?

Говорю:

– Да Бог с ней, с вашей благотворительностью. Кроме нее-то что вы делаете? Где работаете?

– Вообще-то я в основном работаю дома...

– Что-то, связанное с компьютером?

– Связанное накрепко, без компьютера никуда. Что сегодня сделаешь без компьютера?

Компьютерщики обычно любят свою работу. Мне всю жизнь нравились мужчины, которые любят свою работу, не важно, какую. А те, что не любят, жалуется, что она скучная и тяжелая, казались мне лишенными какого-то важного мужского качества.

– И вам интересно? Вы любите свою работу?

– Люблю ли? Сложный вопрос. Иногда люблю, чаще ненавижу. Но без нее просто жизни нет.

– Даже так! Что же это за работа такая, что вызывает столь сильные эмоции? Что именно вы делаете?

– Ну, как вам сказать...

– Да так прямо и скажите.

– Понимаете, моя работа... она...

– Что-то секретное, нельзя говорить?

Я видела, что его что-то сдерживает, он колебался, не отвечал. Открыл было рот, бормотнул что-то невнятное,

откашлялся. Опять помолчал. Наконец махнул рукой, улыбнулся:

– Да многие это и работой-то не считают, так, вроде хобби...А насчет секретности – как минимум двадцать тысяч человек берут в руки продукт моей работы, как только я ее заканчиваю. Я... не пугайтесь! – пишу.

Не пугаться? Я как-то его не поняла. А чего я могу испугаться?

– Чего не пугаться, Патрик? Пишете – и пишете себе на здоровье. Нынче этим чуть не каждый второй занимается. Знаете, был в России такой поэт, Маяковский? Вот он изображал человека в светлом будущем так: "...землю попашет, попишет стихи...". И ведь, главное, как в воду глядел. Так и стало! Представляете, какой обвал стихов? Не подумал только поэт, откуда на это столько читателей найдется.

– Не любите, значит, стихи? Но мне повезло, я стихов даже смолоду не сочинял. А еще больше мне повезло, что я оказался способен сочинять иногда приличные книги, которые стали хорошо продаваться. Читателей хватает.

– Бестселлеры, значит, печете?

– Ну, зачем же так обидно говорить. Мне и без того обидно. Представляете, сажусь писать серьезную книгу, мучаюсь, ищу слова, проклиная все на свете, высказываю самые задушевные свои мысли – а потом книжки мои читают домохозяйки в десятке стран, и никто, кроме двух-трех критиков, даже не подозревает, что это серьезная литература...

Господи, кого это сеть подкинула мне в "друзья"? Каких австралийских писателей я знаю? В памяти всплыло только одно имя, его романами увлекались все мои подруги, а одна даже переводила его на иврит. Пат Браун...

Патрик О'Брайен – Пат Браун...

Звучит похоже... ну и что, это ничего не значит. Да нет, конечно же не он. Не может быть он.

– А вы под своим именем публикуетесь?

– М-м... почти.

– Патрик... Пат Браун... Это ведь не вы? Пожалуйста, скажите, что не вы!

Он сокрушенно хлопнул себя по ляжкам и свесил голову.

– Так я и знал, что вы испугаетесь. Собирался не говорить, придумал себе другую профессию, но как-то тяжело говорить неправду, и именно вам, человеку, который не умеет врать.

Тяжело ему. А тут вон правду сказать еще тяжелее.

– Да с чего вы взяли, что я не умею?

– Просто знаю, почувствовал. Ну, скажите, разве вы мне в чем-нибудь соврали?

– Нет, но и всей правды не сказала.

– Ну, для "всей правды" мы еще слишком мало знакомы. Я ведь тоже "всей" не сказал. Это, я надеюсь, придет со временем.

– А почему вы думали, что я испугаюсь?

– Но вы же испугались?

– Нет, не испугалась, но как-то... Иметь дело со знаменитостью...

Честно говоря, мне ужасно польстило, что этот известный писатель интересуется именно мной.

– Ну да, ну да, я так и думал. А вы держите в уме, что знаменитость – это Пат Браун, а вы имеете дело с Патриком О'Брайеном. Совсем другая личность.

Скажет тоже. Это, что ли, такое их писательское кокетство? На такое и отвечать не стоит. Но все равно лестно – вон какую рыбину старуха подцепила! Однако дух противоречия не позволял, разумеется, в этом признаться.

– ...И вообще, если вы такой популярный и востребованный, и богатый к тому же, непонятно, чего вы ищете в сети. У вас же молоденьких нимфеток-поклонниц наверняка пруд пруди. Как раз таких, каких вам сейчас по возрасту положено хотеть.

– Пру-пру... да ну их, эти ваши идиомы! И нимфеток-поклонниц туда же. Вы мне лучше скажите, сама-то вы всегда поступаете, как положено по возрасту?

Ну надо же, прямо в точку! Неужели догадался? Нет, не может быть. Он бы тогда не таким тоном со мной говорил. Да просто, послал бы меня.

Решила не врать, уклонилась от ответа:

– А если не нимфетки, то мало разве интересных дам в ваших литературных кругах?

– Понятия не имею. Хватает, наверное.

– А, не тусуетесь, значит.

– Тусу... что такое?

– В смысле, не возвращаетесь в кругах.

– Не возвращаюсь. А надо?

– Может, там интересно? Я не знаю, никогда не бывала.

– И не жалеете. Ничего интересного там нет и быть не может, одна пустая болтовня и взаимная зависть. Все интересное – за письменным столом сочинителя.

– То есть сам сочинитель, то есть вы.

– Не обо мне сейчас речь.

Он чистую правду сказал, но я не обратила внимания.

– В России тоже есть такой писатель, совсем как вы. Тоже очень популярный, бестселлер за бестселлером, у молодежи одно время был прямо культовый, тоже нигде не вращается, в "литературной жизни" не участвует, по телевизору не показывается. И его тоже многие не признают за серьезного писателя, особенно последнее время, особенно собратья по перу.

– А вы признаете?

Тут я глянула на часы и ужаснулась. Я ведь даже не одета! А через десять минут за мной заедет знакомый на машине. Собираемся проехаться по домам для престарелых, поразведать, что и как. Я еще не решилась, но пора начинать готовиться, а то, глядишь, до того уже состарюсь, что и не возьмут никуда. Когда-то я планировала, что со временем пойду доживать у младшей дочери, муж у нее добрый, квартира большая, всего один ребенок, школьник уже, если вдруг заведут второго – буду нянчиться, пока сил хватит. А они не удержались, быстро наделали еще аж троих, для меня места уже и не осталось.

– Ой, Патрик, простите, мне надо бежать!

– Куда бежать, зачем? Погодите немного! Мы же не договорили!

– Не могу! Я уже опаздываю! – знал бы он, куда и зачем!

– Но вы позвоните мне завтра?

– Может, и позвоню. Или вы мне.

– Завтра?

– Может, и завтра, пока!

«Котики» и «Пёсики»

Дороги, которые мы выбираем

Она сидела с подругой за соседним столиком на террасе в кафе в Эмек Рефаим. До меня доносилась негромко журчавшая английская речь.

Собственно, терраса – это громко сказано, точнее – крошечный деревянный балкон при французской кондитерской, так и называвшейся: «Патиссерия». Канун праздника, и в Эмек Рефаим я выбралась за свежей рыбой. Ведь в йом-тов¹ можно готовить и раздувать огонь, если зажечь угольки от уже горящей свечи или газовой конфорки. В последние годы появилась такая традиция: многие семьи на дневную трапезу разжигают мангал. Наш сосед-шасник² готовит мясо, и с его двора поднимаются на наш балкон одуряющие запахи кебаба и жареных сосисок. А мы планировали рыбный обед. Фиш энд чипс. И после рыбной лавки я заглянула в расположенную по соседству кондитерскую – выбрать пирог для утреннего кидуша³. А маленькие свежие бриоши так соблазнительно выглядели, что я решила позволить себе посидеть пять минут. И за чашкой кофе разглядывала соседку, просто так. Выющиеся золотистые волосы, перехваченные шелковым шарфиком, очень искусно подкрашенные. Спокойный взгляд, лучики намечающихся морщинок в уголках серо-голубых глаз. Она явно не принадлежала к блондинкам, которые зачем-то красят корни волос в черный цвет; заметно было, что она просто старается сохранить прежний

¹Йом-тов (букв. «хороший день»): каждый из праздников, в которые запрещено все, что запрещено в Шабат, за исключением некоторых действий, связанных с приготовлением пищи. К этим праздникам относятся первый и седьмой дни Песаха, Шавуот, Рош га-шана (Новый год), первый день Сукот и Шмини-ацерет (а в диаспоре – и следующий за ним день: Симхат-Тора).

²Шасник (разг.) – сторонник партии ШАС (акроним словосочетания Шомрей-Тора сфарадим: сефарды – хранители Торы).

³Кидуш – еврейский ритуал освящения субботы и праздников, а также формула соответствующего благословения.

цвет своих волос. Легкое платье в мелкий цветочек, удобные резиновые шлепанцы – она явно жила где-то рядом и вышла выпить кофе недалеко от дома. Возле ее стула удобно устроилась рыжеватая кнаанская овчарка. Американки любят больших собак. Из дверей кондитерской вышла молодая мать с ребенком лет пяти и двумя большими бумажными пакетами, остановилась возле столика, спросила, можно ли ее мальчику погладить собаку. Хозяйка ответила, что да, конечно, Джерри очень дружелюбный. На иврите она говорила бегло, с легким акцентом, и я подумала, что мы, наверное, в Израиль приехали примерно в те же годы. И примерно в том же возрасте.

Земную жизнь пройдя до половины, начинаешь примерять на себя варианты и маршруты, не осуществившиеся, но – возможные. Что было бы, если бы. Вот если бы я, когда приехала в Израиль, пошла учиться в Бар-Иланский университет... Или вышла бы замуж за... или поехала бы жить в другой город... или... или... или... Или поменяла бы имя. Еще в России, в семнадцать лет, я примерила было на себя имя Сара. Но – как-то не пришлось. А вот среди моих ровесниц это имя было в те годы в моде. Не у израильтянок, у новеньких. И не только из России. В первый же мой год в стране я познакомилась с Сарой, совсем недавно приехавшей из Канады. Приехала она с братом, активистом движения КАХ¹. А встретились мы в Кирьят-Арбе.

Сара была кукольная. Из книжки. Хрупкая робкая девочка с большими голубыми глазами и золотистыми локонами. По крайней мере, такой она мне запомнилась. Блондинка или светлая шатенка – за точность не ручаюсь, ведь столько лет прошло. Больше, чем было тогда нам с Сарой. Но познакомились мы – по диагонали. Так, шапочно. И с того, моего первого года в Израиле, больше не встречались. Время от времени я вспоминала Сару и думала, что у нее, наверное, уже имеется муж, скажем, Джош, или Джей, или Барни, выпускник Ешива Университи, и они живут в Эфрате, а может, снимают квартиру в Эмек

¹ КАХ – движение, основы которого были заложены в США, созданное в Израиле раввином Меиром Каганэ в 1973 г. для укрепления еврейского характера государства и объявленное вне закона в 1988 г.

Рефаим. Ведь девушкам из Штатов и Канады куда проще выйти замуж, чем нам, вернувшимся к традиции русскоязычным. И вообще у них более комфортный и мягкий старт. Оказалось – не так. Совсем не так.

Весной девяносто третьего я родила своего первенца. А летом того же года Сара вышла замуж. Только не за Джея и не за Джоша. Сара вышла замуж за арестанта, осужденного на пожизненное заключение. Жених отбывал четвертый год срока. И был на четыре года моложе Сары.

Что толкнуло девушку на этот шаг? Неудачное сватовство? Несчастливая любовь? Уходившие годы – ведь в начале девяностых, да еще в ее кругу, незамужняя двадцативосьмилетняя девушка считалась уже практически безнадежной старой девой? Романтическое желание примерить на себя участь жены декабриста (Сара едва ли была знакома с историей последовавших за осужденными мужьями в Сибирь российских аристократок, но романтика тюрьмы и любви – она ведь и в Канаде романтика)?

Новоиспеченный муж Сары на декабриста не тянул. На Александра Ульянова тоже. И он не принадлежал к «еврейским подпольщикам», организованной группе, которая в семидесятые годы, не полагаясь на защиту армии, попыталась было отвечать арабам в Иудее и Самарии террором на террор. Члены организации отбыли небольшие тюремные сроки, кто реальные, а кто условные, и вернулись к обычной жизни.

Тут – другое. Сарин муж, если говорить точно, осужден был даже не на одно, а на семь пожизненных заключений. И жил он не в поселении, а в городе Ришон ле-Цион. Ранним утром в мае девяностого он взял автомат брата, солдата срочной службы, вышел на перекресток, где ожидали подрядчиков приехавшие на строительные работы арабы из Газы, уложил насмерть семерых и бежал с места преступления в машине одного из убитых. Повязали его в тот же день. Причин видимых никаких не было, до захлестнувшей страну после Норвежских соглашений волны террора оставалось три года. Муж Сары (тогда еще – будущий) сперва объяснил, что стрелял с горя, потому что от него ушла любимая девушка, потом – что, когда ему было тринадцать лет, его изнасиловал араб. Доказательств не представил, но жизнь у него и на самом деле была непростая: в армии не сложилось, он дезертировал, потом похитил оружие у солдата своего взвода, пытался покончить с собой. Его комиссовали. Суд, впрочем, признал

его психически вменяемым и вынес соответствующий приговор.

В тюрьме он вернулся к традиции, по литовскому ультраортодоксальному варианту (мать уроженка Польши, отец из Румынии, так что опция ШАС не рассматривалась), надел черную кипу, отпустил длинную черную бороду и женился на Саре.

Узником он был смиренным, так что на побывку домой его отпускали регулярно. Потому что он хоть и убил семерых, но ни один из этих семерых не был премьер-министром. Но вот мужем он оказался плохим. Очень. Страна ведь у нас маленькая, и слухи от знакомых, которые знакомые знакомых, до меня доходили.

Сара на развод не подавала. Может, не решалась. А может, думала, что дело это все равно безнадежное: поди убеди осужденного на пожизненное дать жене гет¹. Мертвый узел.

Четырнадцать лет прожила Сара в страшном браке. Когда муж обещает, что дальше все будет не так. А потом все возвращается на круги своя.

И во время очередной побывки – ему дали побыть дома несколько дней – Сарин муж решил все исправить, начать сначала, стать хорошим мужем и отцом – у них с Сарой было трое детей. И повез семью на отдых в Эйлат.

Домой Сара не вернулась. На обратном пути, на узком шоссе в степи Арава, их «фольксваген» неожиданно и без видимых причин выехал на встречную полосу. Спешно вызванным на место аварии пожарникам пришлось резать по металлу – двери заклинило. Сарин муж и двое старших детей были ранены, но выжили. Младшего, шестилетнего, из груды покоруженного металла вызволили, когда ребенок еще дышал, но спасти его не удалось. Сару извлекли уже мертвой.

На следствии выяснилось, что, во-первых, трое сидевших сзади детей не были пристегнуты. А во-вторых, что у мужа Сары уже долгие годы нет водительских прав. К его тюремному сроку добавили... шесть месяцев.

Прошло четырнадцать лет. Вдовец женился. Нет, не по истечении четырнадцати лет, а почти сразу. Потому что нехорошо человеку быть одному. Но вторая жена оказалась не столь терпелива, как Сара, и от нового мужа очень

¹Гет – разводное письмо.

быстро ушла. Как ей это удалось – вопрос интересный. Факт, что удалось. И влачить бы узнику свои дни одному. Помог случай, точнее, помог его, узника, несдержанный характер.

В тысяча девятьсот девяностом году тогдашний президент Эзер Вейцман сократил Сариному мужу срок. Точнее, заменил пожизненное заключение сроком сорокалетним. Сидеть в тюрьме так долго Сариному мужу не хотелось, и он подал уже следующему президенту, Кацаву, просьбу о помиловании. Тот отказал. Но, как известно, от сумы да от тюрьмы...

И случилось так, что в двенадцатом году в тюрьме «Маасьягу» царственный узник Моше Кацав повстречал узника простого. Потому что вельможных и даже царственных узников у нас в тюрьмах отдельно не содержат. А вот по религиозному признаку – разделяют. И Сариному мужу, который вернулся к традиции, довелось уже делить камеру и тюремный дворик с бывшим министром Шломо Бенизри. Ну, а тут он встретил бывшего президента, вспомнил, как отказал ему тот в помиловании, и набросился на него с кулаками и с криками. Тюремная администрация перевела вспыльчивого заключенного в другую тюрьму, где он познакомился с суженой. Прошло меньше года, и пара вступила в брак.

Во время тюремного отпуска жениха и невесты в узком кругу состоялась хупа¹. Овдовевший (по своей вине) муж голубоглазой канадской девочки с золотистыми волосами и отец ее троих детей женился на ведьме. Нет, не на той, из сказки про Ганса и Гретель, в местной версии – про Ами и Тами. Эта ведьма из сказки пострашнее. Она не пожирала чужих детей, она до полусмерти пыталась своих. Сарин муж женился на Матери-Истязательнице – женщине, отдавшей своих детей на растерзание главе изуверской секты садисту Элиору Хену. Младший, тогда еще совсем крохотный, до сих пор в состоянии комы: садисты Хена замучили его так, что в сознание он больше так и не пришел. Матери дали пять лет.

Если бы! Если бы я могла придумать для этой истории другой конец!..

В котором Сара была бы тяжело ранена в аварии, но выжила. Ушла, наконец, от мужа. На полученные от

¹Хупа (здесь) – церемония бракосочетания. Так называется и балдахин, под которым она проходит.

страховой компании деньги получила бы новую специальность, начала профессиональную карьеру, вступила бы во второй, счастливый, брак с Джошем, или Джемом, или Барни, выпускником Ешива Университи. И солнечным осенним утром выходила бы в шлепанцах выпить кофе с подругой на террасе французской кондитерской в Эмек Рефаим.

И она бы меня узнала. И спросила бы: «А помнишь?..»

Про комиссара Пупкина и черного ризеншнауцера *(плутовская новелла)*

Глава первая, про Мишенькину Маму

А началось все с того, что Мишенька, достигнув сорока двух с половиною лет, собрался, наконец, жениться.

И мало что собрался – Мишенькина Мама была не против. Ну, не то, чтобы совсем уж не против. Она со вздохом говорила, что – пусть. Конечно, ей бы не хотелось мезальянса. Конечно, она предпочла бы интеллигентную девушку из хорошей семьи, которая не говорит таким визгливым голосом, не красится так вульгарно и не втискивается в эти куцые платяшки на два размера меньше, чем надо бы, но где такую найдешь? Не Москва – Крайот.

Если совсем точно, то Мишенькина Мама все это не говорила, а писала. И не бабушкам каким-нибудь на лавочке у подъезда, а френдессам. Потому что Мишенькина Мама была не то, что вы подумали, а, напротив, состояла админом группы «Милые котики» в «Фейсбуке». Группа была анонимной, члены группы регистрировались каждый под именем своего домашнего питомца (из семейства кошачьих, само собой), на аватарку ставили его (кота) или ее (кошечки) фотографию, а посты и комменты в группе предписывалось начинать словом «мяу». Впрочем, дозволялись и вариации: «мур» или «мрр».

Так что Мишенькина Мама вполне могла себе позволить делиться с одноклассницами мыслями, чувствами и соображениями по поводу будущей невестки Светочки. Анонимно ведь. А поделиться хочется.

А если совсем уж точно, то интеллигентная девушка из хорошей семьи и с тихим голосом у Мишеньки уже была. Но, во-первых, она оказалась какая-то бесцветная. Не на что посмотреть. Ну и безрукая, пуговицу Мишеньке не умела пришить, не то что рубашку погладить или там обед приготовить. Мишенькина Мама бесцветную девушку называла – Наша Мымра. В отличие от нынешней кандидатки, Светочки, которая именовалась Наша Цыганка. Потому что волосы Светочка имела черные и не всегда уложенные, глаза карие, и любила яркие пестрые платья и крупную бижутерию.

Ну – не Москва. Крайот. Впрочем, и родом Светочка, в отличие от Мишенькиной Мама, была не из столицы. Точнее, не из Митина, где вырос Мишенька. А из города Крыжополя. Но проблема со свадьбой возникла не поэтому. Мишенькина Мама примирилась с Крыжополем, крупной бижутерией и прочими Светочкиными аксессуарами. Потому что, как она доверительно объясняла одногруппницам в «Милых котиках», она хоть еще и молодая, но уже хочется внучку. Сейчас молодые бабушки в моде. Если, конечно, эта Мишенькина Цыганка сможет родить. Не молодая уже, скоро тридцать семь.

И планировала (Мама) свадьбу с хупой и последующим роскошным ужином в ресторане «Баба Яга». Который был вовсе не какая-нибудь захудалая забегаловка, как вы наверняка подумали, а окруженный садом уютный фешенебельный ресторанчик с просторной деревянной террасой. Мягкий приглушенный свет фонарей на террасе, как предполагала Мишенькина Мама, будет замечательно оттенять новое платье, которое она заказала на сайте «Next», и к нему – привезенный из организованной экскурсии на Мертвое море кулон с искусственным бриллиантом.

Проблема возникла с хупой. Потому что черные, не всегда уложенные волосы и карие глаза Светочка унаследовала от папы. А мама у Светочки была – не еврейка. И Мишенькин приятель сказал: надо посоветоваться со знающими людьми. И дал Мишеньке номер телефона мужа Агафьи Пупкиной.

Глава вторая. Про комиссара Пупкина

Мишенька позвонил тем же вечером, робко представился: «От Борюсика», – и ему была назначена аудиенция через три дня, в пятницу, в четыре пятнадцать в магазинчике, что у бензоколонки недалеко от выезда на главное шоссе. С предупреждением, чтоб не опаздывал: знакомый Борюсика был человек занятой.

Муж Агафьи Пупкиной оказался Мишеньке не чета. И не только потому, что отличался от него стажем в стране и связями в верхах, самых-самых, как с придыханием разъяснил Мишеньке приятель. Пупкин вышел ростом и статью. В крохотном магазинчике он бы попросту не уместился. Под два метра ростом, косая сажень в плечах, кепка и громовой голос. Впрочем, магазинчик Пупкин назначил местом встречи только в качестве ориентира. Беседу с Мишенькой он провел снаружи, у мужского туалета, и щупленький, привычно сутулящийся Мишенька во все время разговора приподнимался на цыпочках, и все равно на Пупкина ему приходилось смотреть снизу вверх.

Вообще-то Пупкин был не Пупкин. Точнее, он не всегда был Пупкин. В послужном списке человек со связями имел жену (еврейку по папе и по маме) и много детей. Борюсик окончательной цифры не знал, но однозначно больше двух. Может, трех. А может, четырех. И общественник был. Ярый. Комиссар.

Общественности Комиссар был известен несгибаемостью и исключительной принципиальностью.

И вдруг... в один не очень прекрасный день – это еще до приезда Мишеньки и Мишенькиной Мамы в Крайот было – Комиссар ушел от жены и от детей. К другой.

Только вот репатриантки, будь они еврейки по маме, по папе, или с обеих сторон, взоров Комиссара не привлекали. Новую супругу он импортировал откуда-то из-под Воронежа. Соседи и соратники предположили, само собой, что сердце ярого общественника похитила на российских просторах юная миниатюрная блондинка. Оказалось – не так. С Комиссаром прибыла в Крайот из села Бабяково женщина-гренадер. Двухметрового роста, богатырского сложения, с мохнатыми, несколько неаккуратно наклеенными ресницами, опять же наклеенными ярко красными ногтями и наращенными белыми волосами.

Агафья Пупкина курила, как печная труба, носила брючные костюмы, и в местный маколет¹ выходила всегда накрашенная и непременно на шпильках. Чтоб никому не удалось застать в неприглядном виде жену Комиссара. Агафья была старше израильского супруга на пять лет.

Дальнейшие версии расходились. Кто говорил, что Пупкина – богатая бизнес-леди, а у Комиссара далеко идущие планы. В самом деле, женился же один известный политик на дочке олигарха. Другие утверждали, что ничего подобного, потому что Комиссар с Агафьей поселились в обшарпанном выдавшем виде многоквартирном доме. Не исключено, что обе версии верны. Ведь новые русские – они такие. Сегодня вилла на Канарах, а завтра р-раз – съемная комнатуха на паях с соседом-алкоголиком. Думал человек поймать за хвост жар-птицу – утром проснулся, а это Пупкина.

Но правому, точнее, правильному делу Комиссар не изменил. А по-прежнему пламенно клеймил предателей, наймитов Подводного Государства (Мишенька за время пятнадцатиминутной беседы уже выучил новое слово: «дипстейт»²), ассимилянтов, смешанные браки, ну, короче, вел борьбу против всего плохого за все хорошее.

Мишеньке Комиссар обещал порешать проблему. Но как – не объяснил. А вместо этого прочел лекцию о политической ситуации. Комиссар к тому времени поднялся из просто общественника до штатного активиста правящей партии. «Ты ведь с нами», - не спросил даже, а сказал, как припечатал, Комиссар, и Мишенька в ответ пролепетал: «Да, конечно». И пообещал нынче же вечером вступить в комиссарову группу в «Фейсбуке» и подключиться к борьбе.

Тут следует заметить, что вечера (и ночи) Мишенька делил между мамой и Светочкой. Благо, квартиру Светочка снимала недалеко. А тот вечер был – мамин. И сразу войти в «Фейсбук» у Мишеньки не получилось: место у компьютера прочно заняла мама. На коленях у нее удобно

¹*Маколет* – маленький магазин для жителей квартала, где продаются основные продукты повседневного спроса и некоторые хозяйственные товары.

²*Дипстейт* (англ. deepstate) – конспирологическая теория, согласно которой в США существует группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство.

устроилась кошка Дуся. А заходить в соцсети с мобильного телефона Мишенька ужас как не любил.

От Мишенькиных просьб мама отмахнулась: ей в тот вечер было не до того. Ее группу атаковали диверсанты. Дело в том, что у «Милых котиков» был злобный непримиримый враг: группа «Верные песики». В которой на аватарках фигурировали собаки, а посты и комменты предписывалось начинать со слова «гав». Но разрешались и вариации – «р-р-р» или «гау-гау». Некоторые пользователи предпочитали последний, американизированный вариант.

Иногда Котики и Песики встречались на ветках у общих френдов. Последняя такая встреча завершилась взаимными жалобами Цукербергу. Песики пожаловались на коммент «я тебе зенки повыцарапаю». Котики – на коммент «на дерево тебя загоню и пасть порву». Но забанили в итоге только юзера из «Песиков», потому что роботы «Фейсбука» не сумели правильно идентифицировать слово «зенки».

Обычно Мишенькина Мама умела разруливать ситуации и изящно выпускать коготочки на «Песиков», которые в ответ раздражались нестройным беспомощным лаем. Но в последнее время дела пошли хуже: в группе песиков появилась новая админ, черная ризеншнауцериха Миледи. И админ «Милых котиков» кошка Дуся пока что никак не могла выцарапать ей зенки.

Так что в Комиссарову группу Мишенька вступил только ночью. Принялся читать посты – и не разочаровался! Обнаружил программный пост в группе: «Нечего делить людей на евреев и неевреев. Кто за Биби – тот еврей».

Не подвел Борюсик. Комиссар указал выход; вот это называется – дать намек. И на той же неделе Мишенька вступил в партию. И Светочку записал. И на Светочкин очередной ехидный вопрос, доберутся ли они до загса, ну, то есть, до раввината в ближайшие лет пятьдесят, ответил: «Завтра! Будь готова к десяти утра; беру на работе выходной и за тобой заеду».

Глава третья. О регистрации брака

В раввинате Мишеньку с нарядно одетой Светочкой принял опрятный старичок. Костюм черный, тщательно выглаженный, кипа тоже черная, брови кустистые, глаза карие, красивые, как у олененка Бемби, а сам смуглый, как

хозяин маколета в Мишенькином квартале. Знающий толк в местных реалиях Борюсик Мишеньку проинструктировал, как обращаться к старичку: квод га-рав¹.

Но все пошло не так. Первым делом квод га-рав забраковал ресторан «Баба Яга», поскольку тот – некашерный. И раввин туда ставить хупу не придет.

Мишенька удивился. И спросил, значит ли это, что он должен включить квод га-рава, не этого, а который придет ставить хупу, в список гостей и заказать для него порцию. На что старичок ответил, что не нужно; раввин, который придет ставить хупу, на каждой свадьбе не ест.

– Тогда какая ему разница, кашерный ресторан или нет? – спросил Мишенька.

– Закон, – ответил старичок.

Мишенька хотел было выяснить, в чем суть закона, но тут Светочка больно толкнула его локтем в бок, чтоб молчал, и с ослепительной улыбкой заметила старичку, что ей этот ресторан никогда не нравился, и что устраивать там праздник подходит только для старых теток, которым при слабом освещении удобнее скрывать свои морщины, а ей скрывать нечего и она хочет нормальный человеческий зал.

– Прекрасно! – заключил старичок и попросил у жениха и невесты удостоверение, что они евреи.

Мишенька этого вопроса ждал и с готовностью выложил на стол перед старичком доказательства: партбилеты, Светочкин и свой, и пост из Комиссаровой группы с нотариальным переводом. Мишенька заранее озаботился и сходил к нотариусу – он так и предполагал, что в раввинате не понимают по-русски.

– А это еще что? – не понял квод га-рав.

Мишенька объяснил.

Квод га-рав наморщил лоб и выдал странному непонятливому посетителю фразу по-русски:

– Тво-я-ма-ма-ев-рей-ка?

– Кен², кен, – с готовностью ответил Мишенька. Светочка за его спиной закатила глаза.

– Прекрасно, – заключил старичок, – принеси ее свидетельство о рождении.

¹Квод га-рав – уважаемый раввин.

²Кен – да (иврит).

И обратился с аналогичным вопросом к Светочке. На что та ответила, что у нее папа еврей.

– Не пойдет, – заявил старичок.

– Но как же партия? – сказал Мишенька.

– Вот в партию и обращайся, – сказал старичок. И на вопрос вконец отчаявшейся Светочки, а что же им теперь делать, ответил, что она может пройти гиюр.

– Еще два-три месяца ждать! – всплеснула руками Светочка, которая свадьбу хотела непременно летом. Но оказалось, что это никакие не два-три месяца, а, возможно, два или три года. И что она должна будет покрывать свои черные, не всегда уложенные волосы, и соблюдать кашрут и субботу. Не ездить в этот день. И даже не заходить в «Фейсбук» и «Инстаграм».

Последнее переполнило чашу Светочкиного терпения. Она вскочила, с грохотом опрокинула стул, крикнула Мишеньке, что пусть его мама ищет другую дуру, которая побежит с ним под хупу в ресторане «Злая свекровь», хлопнула дверью и выбежала вон.

Мишенькина Мама, выслушав от сына полный отчет, только плечами пожала. И сказала, что Мишенька с детства такой лежачий. Вечно связывается с какими-то проходимцами. То это был соседский Шурик, который у Мишеньки в начальной школе мамины бутерброды отбирал, обещая взамен защиту от дворовых хулиганов, а Мишенька все равно домой возвращался с порванными штанами и фингалом под глазом. То жуликоватый Сашка, который в старших классах у Мишеньки карманные деньги выцыганивал. То Алекс – ну такой, костюм-галстук, человек со связями в верхах: этот обещал Мишеньке помочь с устройством на работу, потому что он – помощник помощника депутата Госдумы. А что выяснилось? Что сестра Алекса моет полы в доме у помощника этого помощника. А теперь вот – опять. А про Светочку сказала, что никуда та не денется. Повыкобенивается и вернется. Потому что – где и когда еще она найдет другого такого дурака?

Конец главы

Мишенька дозвонился до Комиссара. Не сразу, но дозвонился. Тот сказал, что все плохо. Отечество в опасности. Злые недоноски дорвались до власти и хотят уничтожить страну. Но им не обломится. Сейчас не до

личных вопросов, с недоносками идет война народная, священная война. А вот когда мы победим кипастого узурпатора и вернется вождь, тогда можно будет порешать Мишенькину проблему.

Мишенька понял, что все плохо. Светочка не станет дожидаться гиюра или когда там вернется вождь. Светочка - девушка темпераментная. Он позвонил Борюсику. Тот, выслушав описание квод га-рава, заявил, что Мишенька совсем мышей не ловит. Потому что понятно же, что квод га-рав относится к партии ШАС.

Мишенька поискал в Интернете и поспрашивал, но как вступают в партию ШАС, выяснить ему так и не удалось. Он купил цветы и конфеты и отправился было мириться со Светочкой. Но та не пустила его дальше прихожей, точнее, дальше салона, потому что прихожей никакой в квартире не было, и с криками выпроводила его:

– Забирай свой веник и убирайся к мамочке!

А тут еще Светочкина болонка, тонко чувствующая настроение хозяйки, тянула неугодного гостя за лодыжку, точно выбрав место, где носки уже закончились, а брюки еще не начались. Такая мелкота – а больно...

Мишенькина Мама попыталась было поискать Нашу Мымру. Нашла. Та, как выяснилось, тому два года как вышла замуж за программиста и живет в Раанане.

В субботу днем Агафья Пупкина (теперь она именовалась Агафья Пупкина-Палтиэль) опубликовала пронзительный пост. О том, как замироточили стены их с Комиссаром выдавшего виды многоквартирного дома, оплакивая несправедливо отстраненного вождя. Борюсик ехидно заметил в комментариях, что это протекают старые мазганы¹. Комиссар Пупкин теперь был не при власти, и Борюсик пиетета никакого по отношению к нему не испытывал. А креста на Борюсике отродясь не было.

А назавтра пропала Светочка. Исчезла – и нет ее. Мишенькина Мама с уверенностью заявила: «Наша Цыганка вернулась наконец-то в свой Крыжополь». Но через пару дней поступила другая информация. Соседи рассказали, что Светочку умчал на серебристом «лексусе» в Галилейские горы загорелый мошавник. Он был постарше Мишеньки, но зато настоящий полковник. В отставке. Полковник-мошавник не разводил кур, он разводил

¹ *Мазган* – кондиционер.

туристов: приватизировал, как все в мошаве, свой дунам или сколько там земли, а на земле построил циммеры. С джакузи.

По поводу мошавника Мишенькина Мама ничего не сказала – ей было не до того. Светочка, как оказалось, преподнесла несостоявшейся свекрови прощальный подарок: организовала поток жалоб и обрушила группу «Милые котики». Потому что черная ризеншнауцер Миледи – это была она. Напрасно клялся Мишенька, что знать ничего не знал, и не видел в Светочкиной квартире никакого ризеншнауцера, а была там только вредночная белая болонка. «Сам ты болонка», – горестно заключила мама, водрузила на нос очки и уселась у компьютера писать петицию Цукербергу.

Мишенька закрылся в своей комнате и зашел в Светочкин «Инстаграм». На только что выложенном видео полковник-мошавник раскачивал Светочку на качелях. Ветер с Галилейских гор развеивал Светочкины черные не всегда уложенные волосы. Раскачивались в Светочкиных ушах крупные золотые – на этот раз, похоже, настоящие – кольца. Вздыхался подол пестрого платья, обнажая Светочкины колени. А по ярко-изумрудной траве, охраняя покой счастливой пары, неторопливо прохаживался черный мохнатый красавец ризеншнауцер.

Шведка

Это в Москве было. Вторая половина восьмидесятых. Античные времена, короче.

В семнадцать лет я начала преподавать иврит. И в столицу ездила не просто потусоваться (хотя, конечно, и это тоже), а с целью повышения квалификации. Перенимать, значит, опыт столичных учителей. И один из главных по московскому ивриту тех лет водил меня по квартирам учеников на свои уроки. Но просто так – неинтересно же. И Лева – как еще могли звать главного по московскому ивриту! – предложил розыгрыш:

- Давай, – говорит, – ты будешь иностранка. И ученики с тобой на иврите пусть разговаривают.

Страну мы выбирали вдумчиво. Не Штаты, не Канада, не Англия – акцент не тот. Не Франция. Вдруг кто французский знает. Остановились на Швеции. Медвежий угол. Никому ничего про нее не известно. Тем более, рассказывать я

собиралась не про Швецию, а про Израиль. Как я там провела два месяца в кибуце. Потому что в нашу Северную Пальмиру в те годы в большом количестве приезжали кибуцники. Встречаться с подпольными активистами. Это были люди с двойным гражданством, само собой. А я на этих встречах переводила. И про устройство кибуца могла рассказать в подробностях. Теперь уже не могу.

Урок иврита проводился где-то на краю Москвы. Мы туда долго добирались на метро. Хозяйке квартиры не было еще тридцати, а вот остальным ученицам – что-то к шестидесяти. Мужчины тоже присутствовали, но не запомнились. Они были в меньшинстве. И я весь вечер очень бойко рассказывала про мои два месяца в кибуце. Иногда переходила на английский: группа начинающая, и на иврите они не все понимали. А что по-английски туристка из Швеции с акцентом изъясняется – так это нормально.

После урока ко мне подсели две дамы. Одна – по делу, другая – помочь подруге с языком. У той английский был так себе. Та, что по делу, сказала:

– Ах, надо же, как удачно! Вы из Швеции. А у меня там сестра. И она совсем одна. Напишите мне вот на бумажке адрес. А я ей передам. Чтоб ее стала приглашать ваша местная еврейская община.

Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

Но, пока подруга переводила с русского, я сообразила и ответила:

– Нам адреса давать запрещено. Нас так инструктировали. Но я запишу адрес вашей сестры и передам его в нашу синагогу.

Ученики разошлись. А хозяйка квартиры, очень милая девушка Маша, пригласила нас слевой на кухню выпить чаю. И за чаем сказала Леве так:

– Какая милая девушка! А у меня есть двоюродный брат Миша. Давай мы их познакомим. Он сможет уехать, а она не крокодила, может, у них и по-настоящему получится.

По-русски, разумеется, сказала.

Лева дернулся было ответить и открыть неприглядную правду, но мне ужас как понравилось быть иностранкой-шведкой. И я изо всех сил наступила Леве под столом под ногу. Чтоб молчал.

И Лева сказал:

– Ну ладно...

А у Маши был еще один кузен. С другой стороны. И жил тот кузен в центре города в аристократической профессорской квартире. И принимал там гостей по субботам и не только. И мы назначили знакомство с иностранкой на вечернюю трапезу в его доме.

Дальше пошло хуже. Кто-то из гостей что-то заподозрил. Правда, он не был точно уверен. Но, что было уж совсем плохо, на шабат явился ленинградский гость. И все чуть было не открылось, но...

Жених, который Миша, запаздывал. И на общем собрании было решено ему ничего не говорить, а, как бы сказали сегодня, его потроллиить.

Миша пришел с сестрой. Не с Машей, а с родной сестрой.

Я забралась с ногами на диван, потому что иностранке так положено. Миша за мной ухаживал весь вечер. Накладывал в тарелку еду, приносил чай и настойчиво требовал от собравшихся говорить только на иврите или по-английски, потому что – «ведь у нас гостья». К вящему недовольству ленинградского визитера, которому хотелось прекратить наконец этот бардак и замутить правильную интеллектуальную дискуссию. А это было сподручно только по-русски.

Чувствовала я себя, как прикинувшаяся богатой невестой авантюристка из плутовского романа. Ведь в заграничном принце, который вывезет меня из Союза, в те годы отчаянно нуждалась я сама.

После трапезы мы пошли провожать Мишу с сестрой к метро. Жили они далеко и находились на промежуточной стадии тшувы¹ – на метро по субботам ездили. Прощаясь, я решила, что настало время сбросить маску и заговорила по-русски.

Но эффекта разорвавшейся бомбы не последовало.

– Ах, какая девушка! – повторял Миша сестре по дороге домой. – Она даже по-русски говорить умеет!

Разубедить его, как мне рассказывали потом, удалось не сразу. Кто знает, может быть, он долго ждал письма от загадочной шведки. Ведь он оставил мне свой адрес.

¹ *Тшува* – процесс принятия на себя евреем религиозного образа жизни.

Про черную собаку

Десять лет назад я стала жертвой расизма.

Ну, не то, чтобы уж совсем жертвой, – это был такой небольшой наезд в телефонном разговоре. Даже не хамство в «Фейсбуке». Но прилетело мне не за то, что я из России, а как раз за сефардские корни, точнее, не корни, а родственные связи.

А началось все с черного щенка. Щенок, впрочем, был девочкой, но я не знаю, как собачка женского рода и младенческого возраста правильно называется.

Ко дню рождения Мени – ему исполнялось пять – сыну была обещана собака, и мы отправились на поиски. В составе делегации были еще моя сестра, хозяйка черного добермана, и младший из двух моих старших, тогда пятнадцатилетний, Шломо.

Наводок у нас было две. Адрес незнакомой нам собачницы из Гуш-Эциона, где предполагалось познакомиться с той самой четырехмесячной собачкой-девочкой, и телефон сотрудницы иерусалимского приюта для кошек и собак – «Цаар баалей-хаим»¹. Вот она как раз была знакомой: женой брата-близнеца бывшего мужа подруги сестры, который к тому же во время оно учился в ульпане, где мама работала администратором. Если у вас закружилась голова, забудьте эти подробности: с тех пор сотрудница «Цаар баалей-хаим» с ним уже развелась. Кстати, она была американка.

Начали мы с черненькой девочки.

Собачница из Гуша жила в не запомнившемся мне маленьком поселении недалеко от Алон-Швут. Жила она одна с четырьмя собаками, включая черненькую девочку, в заброшенном домике, расхаживала в майке и шароварах, была обладательницей буйной сидящей шевелюры, а еще – бывшей женой известного журналиста из газеты «Га-Арец».

В домике стоял тяжелый застоявшийся запах. Классика жанра.

«Химии» с первого взгляда у нас как-то не возникло. Не с хозяйкой, с ней мы жить не планировали, а с черненькой девочкой-собачкой. Но и неприятия тоже не возникло. Это

¹ «Цаар баалей-хаим» (букв. «Страдание живых существ») – Израильское общество защиты животных.

как шидух¹. Вроде не совсем он, но и не то, чтобы совсем уж не он, и думаешь, что на втором свидании станет понятнее.

И мы отправились по второй наводке, в приют, где работала знакомая американка. А там получилось – любовь с первого взгляда. Трехлетняя Мики, ласковая и приветливая, с бархатными карими глазами, как у Эли Ишай². Мики держалась в стороне – ее отгоняли от кормушки и от миски с водой задиристые товарки по несчастью. А она в приют попала недавно, и за место под солнцем бороться еще не научилась. Домашняя. Лабрадор, без документов, но нам-то родословная была без надобности.

И мы забрали Мики домой, а по дороге моя ответственная сестра заметила, что надо ведь позвонить хозяйке черненькой девочки. Чтоб искала другие варианты.

И я позвонила. Сказала:

– Спасибо, мы съездили в приют и в итоге взяли собаку оттуда.

– Какую? – поинтересовалась она.

– Лабрадора, – ответила я и зачем-то добавила: – Белую.

А вот это оказалось зря. Очень зря. Последовало молчание, зловещее. А потом голос в трубке произнес:

– А знаешь ли ты, что твой сын – не совсем белый?

– Что, – переспросила я, – что, простите?

– Я бы такого никогда не сказала, – наставительно произнесла Собачница, – но ты выбрала белую собаку, и я решила преподать тебе урок!

И только тогда я поняла. Эфраим Кишон не выдумал. В Израиле, да еще начала двухтысячных, я попала в новую серию про Салаха Шабати³. Собачница решила, что я предпочла ее питомице другую, потому что эта другая – БЕЛАЯ!

Знала бы она! Знала бы она, что Шломо, черноволосый и кареглазый, свою сефардскую внешность унаследовал не

¹ *Шидух* – сватовство.

² Эли Ишай – лидер партии ШАС, которого заменил на этом посту Арье Дери.

³ Салах Шабати – герой классического фильма израильского писателя и режиссера Эфраима Кишона. Новый репатриант из Марокко, он постоянно настороже, опасаясь пренебрежительного отношения со стороны ашкеназов.

от папы-сефарда (у того глаза как раз маслично-зеленые), а от черноволосого и кареглазого ашкеназского дедушки по маме. Папа у меня в молодости был жгучий брюнет.

– Да, – сказала я. – Я думаю, что сефардские мужчины красивее ашкеназских.

И выключила телефон.

Мики прожила с нами девять лет и умерла год назад от рака. Эли Ишая, который мне всегда нравился, выгнал из загона задиристый Дери.

А со Шломо за пару месяцев до предстоявшей ему мобилизации мы вдвоем отправились на пять дней в Рим. Тогда ему было девятнадцать.

Портье в маленькой гостинице смерил нас понимающим взглядом заговорщика. Ведь я ну ни на минуту не кареглазая брюнетка. А с другой стороны, мне и не девятнадцать.

– Это мой сын! – произнесла я с нажимом, и донельзя смущенный портье пробормотал:

– Ах, конечно, да, сеньора, у вашего сына такая молодая мамма...

Александра Ходорковская

Бабушкин язык

— После школы - домой! - кричала мама.

— Слышу!

Ещё чего! Куда угодно, только не домой. После школы мы с Зойкой доходили до угла. Домой - прямо, к Зойке - направо.

— Ну? - говорила Зойка.

И мы поворачивали направо.

С Зойкой я дружила больше всех. Мне нравилась Зойкина мама. Тетя Надя работала медсестрой в вендиспансере, диспансер был рядом с домом. Тетя Надя всегда дежурила, дома почти не бывала, и это нам с Зойкой очень нравилось. От слова «вендиспансер» многие шарахались, возможно, поэтому они драили дом до блеска и любили слово «стерильно». Когда я приходила от Зойки домой, мама всегда говорила:

— Мой руки три раза.

Тётя Надя с Зойкой были как две подружки, она считала Зойку очень ответственной, никогда не проверяла уроки и всё разрешала.

Жили они в старом, когда-то красивом доме, от бывлой красоты осталась мраморная лестница и осыпающиеся кариатиды. Зойкина квартира была в полуподвале. Железные решетки на окнах не давали вора́м никакой надежды, а чтобы не видеть шаркающие ноги, тетя Надя повесила тяжёлую бархатную штору. Такая же штора на входной двери - защита от соседей.

О Зойкиной жизни в школе не знал никто, только мне она рассказала. Шепотом. Во время войны тетя Надя работала медсестрой в госпитале. Там лежал раненый майор. Война кончилась, раны у майора зажили, и они вместе уехали в какой-то сибирский городок. Жили хорошо, потом родилась Зойка, и тут майора нашла законная жена и двое детей. Он очень испугался. Оторвать майора от жены и детей Зойкиной маме не удалось. И найти Зойке нового папу тоже не удалось. Тогда Зойка с мамой поехали, куда глаза глядят.

Зойкин рассказ мне нравился, правда, она всё время меняла звания: майор, подполковник, полковник; когда Зойка дошла до генерала, я спросила:

— Так вы богатые? Твой папа генерал?

Зойка смутилась и грустно покачала головой:

— Мы же незаконные...

Так Зойка с мамой оказались в полуподвале. Шесть метров нежилой площади и кухня метра три. Трёхметровую кухню они делили с соседом, но насладиться не успели. Сосед ограбил магазин, и его отправили в другое помещение, тоже с решетками на окнах. Вместо него подселили пожилую пару. Её звали Дора, его Сёма. Пара ходила всегда вместе, рука в руке, были они немногословны и смотрели на всё с подозрением. Зойка как-то сразу изменилась, стала приходить в школу грустная, очень грустная и даже заплаканная. После школы мы молча доходили до угла, но направо не поворачивали. Ей не хотелось идти домой. Шли ко мне. Моя мама была на работе, добрые соседи постукивали в дверь и всегда что-то предлагали. Зойка, роняя слезы, шептала:

— Соседи... какие же у тебя соседи.

Да, с соседями Зойке не повезло. Дора и Сёма были не просто немногословны. Они кивали утром, иногда вечером, вот, пожалуй, и всё. Правда, между собой они были очень даже многословны. Но понять, о чём говорят, ни Зойка, ни тетя Надя не могли.

— Понимаешь, - Зойка опускала глаза, - они говорят на другом языке.

— На каком?

— Ну... - Зойка конфузилась. - На языке твоей бабушки.

Заподозрить её я ни в чем не могла. Родилась она в Сибири, там, в основном, жил единый народ и мало кто говорил на языке моей бабушки. Ни других народов, ни других языков Зойка не знала. Возможно, догадывалась, что не у всех языков и народов равные права, но была в меру деликатна. Или близорука.

— Ну и пусть говорят, - сказала я Зойке. - Ты же на мою бабушку не обижаешься?

— На твою?! Твоя же добрая. А они, наверное, злые и про нас плохо говорят.

Зойка почему-то и без перевода была в этом уверена. И тогда у нас возник дерзкий план.

Бабушкин язык был мне почти родным, говорила я, конечно, запинаясь, но понимала всё. А у бабушки русский

и украинский желал лучшего, но зато еврейский... Особенно ей удавались безобидные проклятья. Так что, лет до шести, пока не научилась читать, я была почти полиглотом.

А план был такой. Я прихожу к Зойке, прячусь за портьерой, она ходит по кухне, Дора и Сёма ее обсуждают, а я делаю синхронный перевод. На всякий случай я заготовила карандаш, вдруг будет непонятное слово, потом спрошу у бабушки.

Говорила, в основном, Дора. Сёма только слушал и тяжело вздыхал. Зойка была права. Дора сразу назвала нас сморчками и сказала, что мы прогуливаем школу. Что было правдой только наполовину, Зойка не прогуливала никогда. А потом Дора сказала, что Зойка - мамзер¹. Это слово я не знала и записала, чтобы спросить у бабушки. Тётю Надю Дора раза три назвала «никейвой»², это слово я хорошо знала. Если папа приходил поздно и медлил с ответом, «никейва» было первым словом, на которое он не хотел отвечать. Тёте Наде Дора приписала не только неизвестного Зойкиного папу, но и половину вендиспансера, где она работала. Сёма слушал и тяжело вздыхал. Напоследок Дора прошлась по тёти-Надиным котлетам, сказала, что это полный «дрек»³, а мы с Зойкой накануне съели по три штуки. Котлеты были последней каплей, Дора с Сёмой это почувствовали и ушли в свою комнату, а я стала дословно всё переводить Зойке.

Что было дальше? Зойка рассказала тёте Наде. На следующее утро тётя Надя вышла на кухню и, пока закипал чайник, озвучила мой перевод, сделав упор на ключевые слова. Дора остолбенела, Сёма тяжело вздохнул и схватился за сердце, тётя Надя кинулась к аптечке, отсчитала тридцать капель и вызвала «Скорую».

Назавтра Зойка не пришла в школу. И я шла домой одна. Дошла до угла, хотела повернуть направо, но... побоялась. Дома была только бабушка, и я ей всё рассказала. Все безобидные бабушкины проклятья тут же обрушились на меня, потом она долго молилась, наверное, за здоровье Сёмы. Потом пришёл папа, и она ему сразу всё рассказала. Папа долго молчал, на меня не смотрел, оделся, что-то шепнул бабушке на её языке и ушёл. Часа два его не было.

¹ Мамзер – незаконнорождённый.

² Никейва – гулящая.

³ Дрек – говно.

Когда пришёл, налил в стакан водки и никто ему не возразил. Со мной не разговаривал. И я сидела тихо в ожидании хоть какого-нибудь наказания. Наконец, папа сел напротив меня, и я поняла, что наказание началось.

- Я думал, что у меня девочка, - сказал папа.

- А у тебя кто? - не поняла я.

- А у меня мальчик. Засранный пионер-герой. По имени Павлик.

Ничего пионерского, комсомольского, советского и социалистического папа не любил. Любил только своих и своё. Делиться любил, но не любил, когда забирали. Поэтому мальчика по имени Павлик он всей душой ненавидел. А в нашей школе как раз пионерская дружина носила имя этого мальчика, и биографию Павлика Морозова все знали назубок. Память у меня была хорошая, я стала папе возражать, приводить примеры.

- Мне твои примеры знаешь где... - и папа рукой показал до какого места ему мои примеры. - Сын предал отца, а для меня это..., - он поискал глазами стакан. - Ничего, надеюсь, папа с ним ТАМ уже разобрался, - и он рукой указал на потолок. И даже выше.

Водка немного сделала своё дело, он придвинул стул поближе ко мне.

- Я только что был у них. Он в больнице, а она... - и папа сделал безнадежный жест.

- А что она? - испугалась я. - Умерла?!

Папа понял, что перегнул с жестами.

- Жива. Я за тебя извинился. Как ты могла? Хорошие, тихие люди. Ты была у них? Темная комната, метров пять. Полкомнаты занимает портрет сына. Погиб в войну. Единственный сын. Мой одноклассник, между прочим. Представь себе, мой одноклассник.

И я представила, что мой папа не только ранен, но и убит. Убит. А это значит, что у меня нет папы. Плакать я начала так, что прибежали все соседи. Папа клялся, что он меня пальцем не тронул. Бабушка почему-то извинялась, а меня быстро уложили спать.

Перед сном папа тихо спросил:

- Ты осознала?

Даже не знаю. Всё смешалось. Всё. Дора и Сёма - тихие и хорошие. Их сын. Он погиб. И мне их жалко. Но Зойка с тётёй Надёй тоже хорошие. И их жалко. Папы у Зойки нет. И тетя Надя много работает, и нет у неё никого, кроме Зойки. А они сказали, что она «никейва», это слово ей никак

не подходит. А Зойку называли «мамзером». Я спросила про это слово у бабушки, она сказала, что оно нехорошее. А меня они называли сморкачкой, может, так и есть, но это слово тоже нехорошее. А папа? Он назвал меня Павликом... Какой же я Павлик? Разве я могу предать папу? Или бабушку? Или бабушкин язык?

Да, я всё осознала. И я сплю. Сплю. Во сне они все пришли. Никто не обижался. Все помирились. Дора и Сёма. И их сынок. Они вместе. Улыбаются. Простили меня. Тётя Надя и Зойкин папа, весь в золотых звёздах - полный генерал. В законном браке. Значит, Зойка уже не мамзер. А вот и мои. Папа, мама, бабушка. И папа опять спрашивает:

- Ты осознала?

Ответить не успела. Появился последний герой. Павлик. Павлик и его папа-кулак. Павлик застыл в пионерском салюте. А папа поднял кулак. Я испугалась и повернулась на другой бок. Неужели и эти помирились?

Прогноз

Каждый вечер звонил телефон. Муж кричал:

— Иди! Это Аська!

Мы жили на пятом. Аська на втором. В однокомнатной. Аська, Сенька и сынок Вадик. Сенька был красив и похож на одного из трёх богатырей. Правда, еврейского происхождения и без коня. Аська тоже была красива. А Вадик - страшно красив. Сенька работал в наладке, всегда отсутствовал, а мы с Аской на пяти метрах её кухни до утра курили и обсуждали текущий момент.

У Аски текущим моментом всегда был только Сенька и только Вадик. Сеньку она подозревала во всём: в изменах, пьянстве, пристрастии к азартным играм.

— Ты уверена? - спрашивала я.

— Я знаю только нюансы, - вздыхала Аська.

Про нюансы я не спрашивала, не была уверена, что значения иностранных слов ей доподлинно известны. Недостаток образования Аська компенсировала красотой и общительностью. И эти два качества ей были необходимы в работе. А работала она диспетчером на стоянке такси у Бессарабского рынка. Самое мандариновое место. С работы Аська приезжала на такси, и в подъезде ещё долго пахло мандаринами. Все жили за железным занавесом, и

только на Аськиной пятиметровой кухне можно было чуть-чуть за этот занавес заглянуть. Она вонзала нож в золотистый ананас, я закрывала глаза и вдыхала запахи иных миров. Потом Аська расчищала карманы. Почему-то таксисты расплачивались с ней трэшками. Прятать их надо было в недостижимых местах. Она очищала закрома при мне и, если где-то хрустело, радостно вскрикивала:

- О, ещё одна!

Каждую трешку поглаживала и складывала в стопочку. Потом доставала коробку с двойным дном, сверху лежали туфли, а под ними зеленели трешки.

— Сенька ничего не знает. Тайна вклада, - почему-то говорила шепотом и опять прятала коробку.

Я смотрела на трешки почти без зависти. Почти. Я тоже любила трешки. Но водились у меня, в основном, рубли.

Так продолжалось ещё несколько лет. Нюансы вылились в подозрения, подозрения в факты, и Сенька покинул однокомнатную, захватив крем для бритья, помазок и пару костюмов. Половина текущего момента исчезла, и теперь всё обрушилось на Вадика. Любовь, любовь, любовь и материальные блага. Вадик принимал это стойко. Иногда мотал головой, топал ножкой и требовал поменять один бренд на другой. А мне трудно было быть объективной, потому что, если Вадик от чего-то отказывался, мотал головой, крутил носом или просто вырастал, то часть материальных благ: игрушки, шубки, ботиночки, доставалась моему сыну. Аська была щедрой, отдавала всё.

Раз в неделю я брала сына за руку, и мы шли на базар. Покупать и пробовать. Продавцы сами протягивали.

- Бери, хлопчик.

Он долго стоял с ягодкой в руке.

- А маме?

И весь ряд чуть не плакал.

- И маме...

Потом мы покупали стакан земляники аж за рубль пятьдесят и вместе съедали: ягодка ему, ягодка мне. И тут нам встретилась Аська. Помню её страшный взгляд.

— Ну ты и мать! Первую землянику - и себе в рот! За рубль пятьдесят! Да у меня бы..., - и она долго говорила, что бы и где бы у неё отсохло, если бы она взяла себе хоть ягодку. Ягодку! Я закрыла уши трехлетнему человечку.

— Слушай, Аська! Вот мой прогноз. Пройдёт много лет. У тебя выпадут зубы и волосы, глаза устанут видеть, а уши

слышать. Ты будешь сидеть у окошка и ждать, когда твой Вадик придёт и подаст положенный стакан воды. А он всё не идёт. О чём подумаешь? «Так мне и надо, - подумаешь. - Зачем я отдавала ему целый стакан и ни одной ягодки себе?» Пройдёт много лет, и у меня кое-что выпадет, я тоже буду сидеть у окошка. И мой любимый сынок не идёт. О чём подумаю я? «Правильно! Правильно сделала - не отдала ему всё. Съела половину. Потому что тоже люблю землянику. Вот такой прогноз».

Ничего не ответила Аська.

Через пару лет она вынула из коробки все трёшки и купила двухкомнатную квартиру. А потом на смену увядающей Аське диспетчером у Бессарабского рынка стала «дуже гарна» Галя. А потом пятнадцатилетний Вадик попросил маму освободить спальню и уложил туда даму лет тридцати. А потом Вадик проиграл в карты и спальню, и столовую, и даже коридор. А потом он собрал манатки и заставил Аську сделать то же самое. А потом он оставил её точно в такой же однокомнатной, правда, в германском городке. А потом он, пользуясь умом и приятной наружностью, зарабатывал и тратил, тратил и зарабатывал. А потом следы его затерялись и отыскать их не мог даже Интерпол. Тем более Аська.

С Аськой мы встретились в её германском городке. Прошло много лет. Мы крепко обнялись. Я долго на неё смотрела.

- Что? Смотришь, на месте ли зубы? - и она улыбнулась фарфоровой улыбкой.

- Дорогая у тебя улыбка, - я вспомнила коробку с трешками.

- Так я ж на трёх работах, - она дала понять, что зубы заработаны тяжёлым трудом.

Мы поднялись на третий этаж, она открыла дверь. Все было на своих местах: немецкая «Хельга», китайская ширма, чешские полки, индийские вазы, хрустальная ладья и сервиз «Мадонна» на двадцать четыре персоны. Только одна стена была неузнаваемой. Стена-иконостас. От плинтуса к потолку поднимались ряды с фотографиями её бога. Вадик в пеленках, трусиках и шортах, в Крыму и на Кавказе, на качелях и каруселях, утренниках и вечеринках. Вадик, Вадик, Вадик! Хотелось спросить, но передумала, пусть сама расскажет.

- А пойдём на кухню, - ушла от вопросов Аська, и мы пошли на любимую территорию.

Те же пять метров. Курить мы бросили. Она открыла вино, поставила хрустальные стопки, на одной сколотый край.

- Я её помню, - взяла в руки стопку.

- Да, - кивнула Аська, - жалко выбросить.

И мы, не сговариваясь, заплакали.

А потом мы пили сладкое вино, у неё заблестели глаза, порозовели щеки и, хорошо прищурившись, можно было разглядеть прежнюю Аську. И как прежняя Аська, она разговорилась. Сказала, что Сенька живет в Испании, у него трое детей от трёх жён. И все равно он ей иногда снится. Желających овладеть её сердцем и жилплощадью было много, но... Она замолчала. Мне и без её слов было ясно, что Сенька до сих пор всё ещё маячит впереди, догнать и перегнать его никто не может.

А потом мы прикончили бутылку. Не переставая звонил телефон, и она всем сообщала обо мне.

- Они тебя знают, я рассказывала. У меня здесь много подруг, - Аська собрала стопки, и я поняла, что дальше этой темы она не пойдёт.

А потом пришло время прощаться. Аська пыталась впихнуть в мою сумку какие-то сувениры, бутерброды. Когда выходили, обнялись. И она сказала только три слова:

- Твой прогноз сбылся.

Я не пыталась возразить. И ничего не спросила.

Дома меня ждала записка от сына. «Приходил. У окошка не застал. стакан воды в холодильнике. Как ты любишь. С газом».

Имя

Котенок не выглядел несчастным. Несмотря на худобу и свалявшуюся рыжую шерстку, он довольно грациозно выпрыгнул на дорожку сквера, по которой Борисов вел свою семилетнюю дочь Алису на первый звонок. Сентябрьское утро понедельника было солнечным и холодным, на уже пожухлой траве сквера лежала роса, в воздухе витал тревожный и грустный запах начала осени. Котенок, рыжий и голубоглазый, сидел прямо перед ними на мокром от ночного дождя асфальте и пристально смотрел на отца и дочь.

- Папа! – сказала Алиса, остановившись под этим пристальным взглядом. – Пап, смотри какой хорошенький.

- Алискин, нам сейчас не до котят, – сказал Борисов, выразительно глядя на часы, – нам бежать надо, мы опаздываем, нас мама ждет.

- Это да, – грустно согласилась девочка, – мама ждет, опаздывать нельзя, – и помахав котенку, торопливо заспешила вслед за отцом к синим кованым воротам школьного двора.

Борисовы, Саша и Тамара, развелись всего год назад. После десяти лет совместной жизни они внезапно так устали друг от друга, что любая интеракция, любой разговор, совместный поход за продуктами или поездка на дачу к друзьям стала заканчиваться ссорой с криками и битьем посуды. Прожив в этом шумном и нервном режиме некоторое время, Саша и Тамара однажды застали свою дочь в кладовке, горько рыдающей после очередной родительской перебранки. Алиса, икая и давясь слезами, стала умолять родителей не отдавать ее никому, хоть она и очень плохая девочка, из-за которой ее мама и папа все время кричат друг на друга.

На следующий день Борисовы подали на развод, через неделю Саша подписал документы на покупку трешки в соседнем дворе и довольно быстро туда перебрался. Алиса жила с отцом каждую первую и третью неделю месяца, с матерью – вторую и четвертую. В полдень каждое воскресенье они ее передавали из рук в руки, вежливо и холодно здороваясь. Саша и Тамара больше не кричали друг на друга, но и разговаривать все еще не могли.

Школа была старая, почтенная и довольно модная в узких кругах. Во дворе дети и родители с одинаковым энтузиазмом приветствовали знакомых, целовались с друзьями и жали руки коллегам. Алиса, одетая в синюю форменную юбку и курточку, из-под которой торчал воротник белой водолазки, едва пройдя под аркой ворот, отпустила отцовскую руку, и заорав: «Танька!!», ринулась в толпу таких же сине-белых ребятишек, держащих букеты.

А через секунду Борисов уже пожимал руки родителям упомянутой Таньки, чете Майских, его давним соседям по старой квартире. Пока здоровались, девочки, размахивая букетами как вениками, выскочили из толпы и потребовали фотографироваться. Страдая, Борисов сфотографировал сначала новоявленных первоклассниц, потом семейство Майских, родителей, Таньку и ее трёхлетнего брата, в разных ракурсах и подивился тому, насколько они все похожи на матрешек из базового сувенирного набора – толстенькие, крепенькие, темноволосые и круглолицые. Да еще и румяные яблочным, во всю щеку, румянцем.

Майские, разумеется, заставили и их с Алисой сделать счастливые лица на фоне таблички с названием школы. Уже надеясь, что попытка фотосессией закончилась, Борисов было попытался двинуться в сторону отведенного для родителей загончика, но тут увидел, как в ворота входит Тамара. Ее черный приталенный плащ подчеркивал тонкую талию, короткая шелковая юбка цвета топленного молока ластилась к идеальным длинным ногам, обутым в безупречные черные лодочки. Косая русая челка падала на глаза. Глядя, как во сне, на стройную, уверенную женщину, с кошачьей грацией несущую себя по школьному двору, несчастный Саша Борисов опять подивился тому, какая красивая его бывшая жена. От слова бывшая он произвольно дернул глазом.

Борисовы холодно раскланялись между собой, потом Тамара обняла и поцеловала дочь, потом они встали по обоим сторонам от погрузневшей Алисы, и мамаша Майская защелкала телефоном, сделав десяток кадров. Все это время Борисов, помимо воли, смотрел не в объектив, вбок, в сторону Тамары. Она стояла к нему в профиль, у виска вился локон, выбившийся из собранных на затылке волос, и Тамара заправила его за ухо. И вот это самое ухо, маленькое, розовое ухо с тремя бриллиантовыми гвоздиками в нежной круглой мочке, не давало ему возможности ни отвести взгляд, ни вздохнуть

полной грудью. Борисов вспомнил, как шептал ей на ухо какие-то глупые шутки во время свадебной фотосессии, а она беззвучно смеялась одними глазами, сохраняя бесстрастное лицо.

На обратном пути из школы Алиса неумолчно щебетала, рассказывая о новой учительнице и о новых одноклассниках. Борисов молчал, пытаясь успокоить сумбур встречи с бывшей женой. Посреди дорожки, как ни в чем не бывало, сидел рыжий котенок, приветливо глядя на Борисова. Алиса, запнувшись на полуслове, присела и попыталась его погладить. Прежде, чем Борисов успел сказать, что гладить уличных котов нельзя, котенок ловко вывернулся из-под протянутой руки и продефилировал на тонких ножках в сторону кустов у бордюра, и скрылся в них одним прыжком.

На следующее утро котенок ждал их по дороге в школу. И по дороге из школы они встретили его снова, сидящего прямо посреди дорожки. В среду утром, проходя мимо рыжего котенка, дежурящего, как часовой в сквере, Алиса вынула из кармана форменной куртки пакетик. В пакетике, к немалому удивлению Борисова, оказалась мелко порезанная сосиска с завтрака.

- Кушай, малыш, кушай, – сказала котенку Алиса и высыпала содержимое пакетика на траву. Потом обернулась к отцу и объяснила:

- Сосиски котяткам можно, пап. Котята же как дети, понимаешь?

Утром в четверг котенок завтракал яичницей, в пятницу – тунцом из салата, в субботу рыжему вымогателю достался сырник. Сырник котенок есть не стал.

- Видишь, папа, – прокомментировала Алиса на обратном пути из школы нетронутый сырник, лежащий в траве, – не будем больше в кулинарии сырники брать, их даже бродячие кошки не едят. Но ты не волнуйся, меня мама научит, и я сама нам сырники буду делать.

- Да уж!! – подумал Борисов.

В воскресенье утром Алиса потребовала, чтобы перед возвращением к матери они сходили в зоомагазин.

- Нам нужно купить котенку корм, – заявила девочка, – вряд ли ты станешь резать для него сосиски.

- Алискин, я не буду кормить котенка, – набычился Борисов, – Я не люблю кошек.

- Я люблю, – ответила непреклонная Алиса, и они пошли за кормом. Алиса лично выбрала пакет, объяснив, что уже

проконсультировалась с Танькой и ее мамой о том, какой сорт корма подойдет и по качеству, и по цене.

- Представляешь, мам, – рассказывал Борисов вечером по телефону матери, которой всегда звонил по воскресеньям, – она так и сказала: «проконсультировалась»!! Что за поколение растет, а? Мы ж такими не были.

Мать хихикала в трубку.

Кормить котиков по утрам Борисов не собирался. Но и Алиса не собиралась оставлять своего нового друга без завтрака. А потому по утрам писала отцу трогательные напоминки и слала фото с воздушными поцелуями в ответ на фотографии котика, поедающего свою порцию сухого корма в траве сквера. Да, к сожалению, Алиса требовала фотоотчетов от родного отца. Увы, молодежь не слишком доверяет этому миру.

Алиса, следует заметить, была права, предполагая, что отец не будет предан миссии котокормления так, как хотелось бы. В пятницу вечером Борисов с коллегами отправился в бар. Из бара под утро приехал домой не один и почти всю субботу развлекал новую знакомую дома, тем более что зарядил проливной дождь, сильно похолодало, и из постели вылезать абсолютно не хотелось. Сообщения от дочери он увидел только вечером. Девочка сначала напоминала, затем требовала, потом умоляла покормить котенка. Последнее сообщение состояло просто из десятка плачущих смайликов.

Борисов устыдился своего поведения, сунул в карман куртки пакетик с кормом и вышел в залитые ливнем сумерки. В сквере шквальный ветер трепал клены и лупил в лицо косыми струями дождя. Котенка нигде не было, на призывное «кис-кис» никто не отозвался. Покрутившись несколько минут в поисках рыжего пятнышка на фоне темнеющих кустов, Борисов собрался было уходить, надеясь, что маленькое животное нашло себе где-то убежище, но тут ему под ноги с жалобным мявом выскочил котенок. Несчастный, мокрый как мышь, дрожащий и перепуганный, он смотрел на мужчину снизу вверх непропорционально огромными голубыми глазами и издавал звуки, похожие на детский плач. Проклиная себя последними словами, Борисов нагнулся, сгреб тощее мокрое тельце и пошел домой. Котенок не сопротивлялся, но его крошечное сердечко бешено стучало в несущей его ладони.

Дома Борисов насухо вытер подобрашку полотенцем, налил ему в плошку, за неимением молока, сливок, разведя их теплой водой, и пока котенок, урча, расправлялся с едой, нашел в гардеробной коробку из-под обуви и старую футболку. Из них было устроено спальное место для заметно повеселевшего после еды маленького гостя. Котенок покорно улегся, свернулся калачиком на борисовской футболке и немедленно уснул. Борисов же усугубил свой малодушный поступок привнесения в дом уличного кота и послал дочери фото коробки. Алиса тут же перезвонила и минут десять восторженно вопила в трубку, а потом пожелала «любименькому, лучшему в мире папуличке, и моему кисику» сладких снов и отключилась.

В воскресенье ранним утром, задолго до оговоренного часа для обмена заложником, в дверь позвонили, и Борисов, отперев, увидел на пороге подскакивающую от нетерпения дочь и Тамару. Тамара за год развода не только ни разу не была у него дома, но даже и не входила в подъезд. Пораженный, Борисов просто посторонился, пропуская визжащую на ультразвуке дочь и совершенно неотразимо прекрасную и отстраненную бывшую жену в прихожую. Котенок, между тем, выпрыгнул из коробки и понесся навстречу девочке.

Когда у обоих родителей немного просохли глаза от слез умиления при сцене воссоединения Алисы с ее ненаглядным котиком, и когда к ним вернулся слух после ее счастливых воплей, они молча прошли на кухню, и пока Саша накрывал на стол, Тамара споро и деловито жарила гренки, никак не реагируя на грязные бокалы в мойке, на одном из которых красноречиво алел след от помады.

За завтраком все молчали. Наконец Тамара спросила, возил ли Саша котенка, которого их дочь только что целовала в мордочку, к ветеринару. Борисов, предчувствуя надвигающийся скандал, отрицательно помотал головой. И в лучшие годы семейной жизни за таким косяком следовали ссора, крики и упреки, а теперь можно было ожидать Хиросимы и Нагасаки. Над столом повисло грозное облако. Борисов опустил голову, Алиса привычно вжалась в спинку стула, котенок, почувствовав неладное, соскочил с ее колен и юркнул под стол.

Однако извержения вулкана не случилось.

- Что ж, – сказала Тамара будничным тоном, – в таком случае этим нужно заняться немедленно.

И тут же разделила обязанности. Алису отправила искать какую-нибудь спортивную сумку, в которой котенок поедет к ветеринару, экс-супругу велела убирать со стола, а сама принялась гуглить ветлечебницы, открытые в воскресенье. Через пять минут Борисовы уже стояли в прихожей, готовые к выходу. Алиса, правда, держала котенка на руках.

- Я не буду его пихать ни в какую сумку, – заявила категорически девочка, – в сумке темно и душно. А котенок маленький. И у него стресс.

- Ну ладно, – снова согласилась Тамара, пребывавшая в это утро в небывало покладистом расположении духа, – держи его на руках, раз стресс.

У ветеринара пробыли недолго. Через полчаса из смотровой вышел улыбающийся лучезарной улыбкой доктор Айболит и поздравил их с прекрасной, здоровенькой девочкой-кошечкой, метисом сибирской породы. И предложил оплатить на кассе прививки, глистогонное, чистку ушей и все такое. Борисов, взглянув на сумму, только крикнул и протянул кредитку.

- Как вы свою кошечку назовете? – спросила девушка, принимавшая оплату.

- Пока не знаю, – ответил за всех Борисов. Оплаченный счет давал ему право навязать свое мнение.

После ветеринара поехали в торговый центр, где, по словам Тамары, был приличный зоомагазин, и целый час покупали кошечке приданое. Выбирая миски из розового фаянса и флисовую лежаночку в форме ватрушки, Алиса, уже год жившая на два дома и имевшая две комнаты, два комплекта учебников и большую часть вещей в двойном экземпляре, спросила, нужно ли покупать и кошке все на две квартиры.

- Нет, – смеясь, ответила ей мать, – кошка будет жить у папы. Животным вредно переезжать с места на место.

- А мне, значит, не вредно? – пробормотала девочка негромко. Но родители ее явно не услышали.

В числе прочего кошке приобрели и гигантский игровой комплекс с когтеточками, лазилками и подвесным гамаком - настоящий кошачий луна-парк. Дома покупки распаковали, Борисов занялся сборкой комплекса, Алиса учила кошечку пользоваться лотком, а Тамара заказала пиццу. И даже поинтересовалась у работающего в поте лица Борисова, не хочет ли он пива.

После обеда дивились тому, какую толковую кошку им послал Бог, поскольку она мгновенно освоила лоток. Потом разбирали собранный Борисовым неправильно комплекс, и собирали его снова все вместе: Тамара читала инструкции, Алиса подавала правильные шурупы, Борисов вкручивал их в правильные детали, а кошечка гоняла посреди стройплощадки крышечку от колы, выпавшую из мусорного пакета.

На ужин все вчетвером ели сосиски, и родители наперебой рассказывали дочери про домашних любимцев, которые были у них в детстве. Кошечка, объевшаяся своей сосиской до беспамьятства, дремала на коленях у Алисы.

В конце концов день закончился. Девочку отправили спать, кошечка увязалась за хозяйкой в детскую. Саша и Тамара налили себе виски и сели с жаром обсуждать способы растить детей и кошек. Почти опустошив бутылку, они вместе отправились проверить, заснула ли дочь. Стоя на пороге ее комнаты, Борисовы с умилением смотрели, как при свете розового ночника-цветка, под шум льющего на улице дождя в теплой кровати спокойно спят на одной подушке белобрысая девочка и рыжий котенок, уткнувшись друг в друга носами.

- Безобразие, конечно. Мне надо идти, Саш, – прошептала Тамара в самое ухо Борисову. От ее теплого дыхания, от запаха ее новых, незнакомых духов, от близости ее губ у него все поплыло перед глазами.

- На улице льет, куда ты пойдёшь? Оставайся, – ответил он и замер, боясь вспугнуть ее ответ.

Вместо ответа Тамара приподнялась на цыпочки и поцеловала Борисова в губы.

Под утро, в серой предрассветной дымке, стараясь двигаться как можно тише, Борисов вышел на кухню, налил себе стакан воды и некоторое время смотрел, глупо улыбаясь, на силуэт рыжей кошечки, сидящей на подоконнике и глядящей в окно. За окном, под неумолчный шум дождя, ветер швырял в стекло пригоршни пожелтевших за ночь кленовых листьев. Некоторые прилипали к окну, но дождевые потоки тут же смывали их вон. Человек и кошка наблюдали за листьями, появляющимися и исчезающими в водовороте непогоды, с одинаковым безмятежным выражением существ, нашедших свое счастье. Потом кошечка обернулась и стала смотреть на человека, улыбающегося темному окну. В конце концов Борисов протянул руку и погладил пушистую теплую голову

кошки, а она доверчиво подставила ему щечку и ушко, замурлыкав.

- Ну, моя рыжая подруга, – сказал Борисов, глядя в голубые глаза на круглой усатой морде, – я, кажется, знаю, как тебя назвать. Назову-ка я тебя Осень.

Чужие праздники

(Из цикла «Житейские истории»)

Зима на исходе в порыве бессильной злобы, сознавая, по-видимому, свою обреченность, исхлестала город ветрами и вьюгами. Потом вдруг враз обессилела и сдалась. Бесстыдно яркая и напористая весна, ликуя, праздновала свою легкую и полную победу.

Этот бесшабашный разгул никак не вязался со скорбным состоянием души Ильи Семеновича Аппеля и раздражал его тем сильнее, чем яснее он понимал, что природа вовсе не обязана считаться с настроением каждого. У нее свои законы. Да на всех и не угодишь.

И все-таки он раздражался и даже подумывал, как бы ему перехитрить природу. И нашел-таки выход - он поедет на Север. Туда, где зима сдает свои полномочия солидно и степенно, с достоинством, как уходящий в отставку командир. И все происходит в строгом соответствии с уставом: тает и разбегается быстрыми ручейками снег, вскрываются ото льда реки, зацветают подснежники, оживает, выпроставшись из-под зимнего покрывала, земля. И так далее, все своим чередом, все постепенно, как и должно быть.

А так, с бухты-барахты, ничего в жизни происходить не должно. Это Илья Семенович точно знает, на собственном опыте убедился.

Два крупных события произошли в его жизни только что, одно за другим: он вышел на пенсию и похоронил жену.

Только если к пенсии он готовился уже давно и с присущей ему во всем обстоятельностью: продумал новый распорядок дня, составил список дел и культурных мероприятий на первое время, предусмотрел возможность дополнительного к пенсии заработка (мало ли там - какие новые расходы появятся), то овдовел он совсем уж неожиданно, в одночасье.

Кажется, вчера еще вечером глядел он по телевизору детектив и злился на Фаину, которая копошилась на кухне и, как всегда, запаздывала к началу.

- Ну, ты чего там возишься, Фаина? - крикнул он. - Придешь, спрашивать будешь, что к чему - отвечать не стану.

- Да не сердись, папочка, сейчас приду. Блинчиков напечь надумала. Может, в гости кто зайдет.

- Опять позвала кого-нибудь? - подозрительно спросил Илья Семенович.

- Да нет, просто блинов напекла, масленица скоро, - уклончиво ответила жена.

- При чем здесь масленица, не наш это праздник, - пробурчал он.

- Наш-не-наш, а вдруг кто зайти надумает.

Это был камень преткновения в их отношениях. Фаина страсть как любила гостей; хлебосольна и радушна была не в меру, по его разумению, - в мать свою Софью Моисеевну. Сам-то Илья Семенович нелюдим, весь погружен в себя, в свои мало кому ведомые мысли.

Суета и гвалт, предшествующие и сопутствующие празднествам, сбой привычного режима, обильные яства и неизбежная выпивка - все это утомляло и возбуждало его, как бег по пересеченной местности человека, не подготовленного физически. Пульс учащался, дыхание утяжелялось, во рту пересыхало, и голова становилась чужой, и мысли неуклюжими и кривобокими. Словом, долго приходилось ему после восстанавливать форму, утраченную за три-четыре часа застолья.

Да и Фаина уставала с годами все больше и больше, нервничала по пустякам, переживала, как в первый раз, когда ставила тесто, что оно не подойдет как следует, хоть и славилась на всю родню своими печеностями. В результате - поднималось давление, и на следующий день она, бледная и тихая, глотая таблетку за таблеткой, виновато и покорно глядела на мужа.

- Зато уж как хорошо посидели, папочка. Часто ли видимся? Да и кто знает, много ли еще осталось встреч этих.

Но он, неумолимый, всякий раз долго и въедливо пилил ее. И хоть видел, что зря только портит ей настроение занудством своим, остановиться не мог.

А в тот раз почему-то смолчал.

Взглянул на ровную, высокую стопку румяных, ноздреватых блинов и, неожиданно для себя, примирительно сказал:

- Ну, ладно, Бог с тобой, придут - так придут.

Ан вышло-то все иначе. Получилось, что блины эти Фаина на поминки себе напекла, хоть и не положено никаких поминок.

Утром проснулся Илья Семенович по привычке без пяти семь, за пять минут до будильника. Чтоб резким звоном его не потревожить Фаину. Правда, спешить ему на пенсии было некуда, и будильник он теперь не заводил, но от привычки этой многолетней куда ж денешься.

«Подъем в 9 часов» - гласил первый пункт пенсионных правил, но перестроиться ему пока что не удавалось.

А вот Фаина, которая раньше, поднималась вместе с ним, спозаранку хлопотала на кухне, собирая ему завтрак, стала вставать позже и с виноватой улыбкой говорила:

- Совсем барыней заделалась, того гляди бока отлежу.

И, проворно поднимаясь, добавляла:

- Нет, мне нельзя залеживаться. Успею еще, належусь.

Илья Семенович не любил, когда она так говорила. Что-то чудилось ему в этих словах зловещее, намек на то далекое далеко, откуда уже не бывает возврата, и где все, независимо от земных привычек, лежат - уж так заведено, выбрать не приходится.

Только думать ему об этом не хотелось, тем более в отношении Фаины. Он был старше ее на девять лет, это успокаивало и вселяло уверенность, что Фаину смерть ему пережить не доведется.

Поэтому и в то утро, когда, умывшись и побрившись (а делал он это долго, со вкусом) и даже приготовив завтрак, Илья Семенович обнаружил, что Фаина еще не встала, он тоже не обеспокоился, а, посмеиваясь, громко позвал из кухни:

- Эй, барыня, вставайте, кушать подано.

Через несколько часов, сидя на табурете возле закрытой двери, за которой все еще лежала Фаина, он думал о том, почему она так изменилась после смерти. Мягкое и улыбочное лицо ее стало суровым и гордым. Что так отдалило ее от него, какая тайна? И почему тайну эту она узнала первой? Кто так распорядился? Почему?

Мимо него туда-сюда сновали чем-то озабоченные люди. Он всем мешал, и дел у него никаких не было. Перед глазами белел прикрепленный к стене листок: «...зарядка... прогулка... чтение... отдых...».

Илья Семенович снял листок, разорвал мелко-мелко, огляделся по сторонам и бросил на затоптанный множеством ног пол.

Проходя мимо него, кто-то сказал:

- Гляди-ка, блинов напекла... Словно чувствовала.

Илья Семенович встрепенулся и срывающимся голосом прокричал в чью-то спину:

- Ничего не чувствовала!.. Ничего не чувствовала!..

Масленица скоро, вот и напекла.

- Масленица через три недели, ты что придумываешь, - сказала соседка Нина Петровна и укоризненно добавила: – Да вы ее сроду и не справляли, масленицу-то.

Не справляли, да. Илья Семенович не разрешал. Не то чтобы правоверным евреем себя считал, нет, конечно, - ни языка, ни обычаев, ни праздников толком не знал, не помнил. Но все же хотелось какие-то полузабытые семейные традиции поддерживать, а с годами почему-то это особенно важным казалось, значимым. И Фаина ни в чем не перечила ему, у нее все так легко и хорошо получалось, она наизусть выучила все рецепты из старой тетрадки его мамы и, бывало, спросит лукаво:

- Ну, у кого цимес вкуснее: у мамы или у мамочки?

А тут вдруг блины на масленицу напекла, а он согласился – не знал, что на поминки тоже блины полагаются. Запретил бы категорически! Илья Семенович заплакал от обиды на Фаину, что не объяснила ничего, не простилась с ним, не позвала на помощь. Ушла и оставила его одного.

Прошло девять дней, сорок... Не положено, конечно, но все так отсчитывают, а родственников еврейских, которые соблюдают свои порядки, почти и не осталось.

Илья Семенович собирался на Север, в Норильск, где жил друг детства Павел. Он написал список вещей, которые необходимо взять в дорогу, ходил с этим списком по магазинам. Но ничего не покупал, отмечал в списке стоимость нужного предмета и шел дальше. И отмахивался от назойливых советов не на Север перебираться, а на Юг – в Израиль то есть. Тут все оказались единодушны – и русские друзья-соседи, и немногочисленные еврейские родственники.

Илья Семенович ни с кем не спорил, не обсуждал свое будущее. После обеда каждый день отправлялся на Востряковское кладбище, и только это придавало смысл его существованию.

В городе уже снег совсем сошел, асфальт высох и посерел, появилась первая весенняя пыль. А здесь еще истекал ручьями снег, изъеденный солнцем. Было сыро и

холодно, но птицы щебетали неумолчно, перелетая с дерева на дерево в поисках наилучшего места для летнего гнездовья. Здесь тоже кипела жизнь, над этим мертвым, безмолвным городом.

Илья Семенович сам не знает, почему это поражало его и радовало.

- Все присмотрел, Фаиночка, все есть. Я ничего не забыл, не беспокойся, - тихо, но так, чтоб она могла услышать, говорил он. - Вот памятник поставлю, квартиру сдам, куплю, что нужно, и поеду.

Он, правда, не говорил, куда собирается, но Фаина в любом случае возражать не станет, она его всегда понимала. Но все-таки добавлял, как бы оправдываясь перед ней:

- Ты уж не обижайся... Невмоготу мне здесь одному... Ну, совсем невриготу...

Он вдруг заметил, что какие-то слова говорит по-еврейски, на идише, который, думал, забыл давно, да толком и не знал никогда – дома всегда говорили по-русски, а по-еврейски – так, разве что, по секрету от детей. И надписи на могильных камнях воспринимал он, как манускрипты, древние, непонятные, влекущие своей недоступностью. Он всегда стремился докопаться до сути вещей, а в этих словах, быть может, таился тот главный смысл, который он хочет постичь теперь, когда не стало Фаины. Хочет постичь, чтобы понять, как ему теперь жить – без нее. Для чего?

Телефонный звонок Софьи, сестры Фаины, застал Илью Семеновича врасплох. Он никого не желал видеть, особенно Софью, шумную, неуживчивую, самолюбивую. Они и раньше не очень ладили, да Фаина все сглаживала, как громоотвод принимая на себя вспышки раздражения и недружелюбия, то и дело разгоравшиеся между мужем и сестрой.

А теперь ко всему этому прибавилась еще и обида: Софья не приехала хоронить Фаину. Письмо какое-то сумбурное прислала, из которого Илья Семенович ничего не понял. Но с родной сестрой проститься - что могло помешать? Фаина бы ни за что так не поступила. А убивалась бы как! Доброе сердце ее откликалось болью на любую беду.

Илья Семенович все же поехал на вокзал встречать Софью, но был хмур и неприветлив. Он всем своим видом хотел показать, что не одобряет ее приезд, не рад ей. А в

душе даже испытывал страх: что там у нее на уме, для чего прикатила сейчас, коль на похороны не выбралась?

Ушлая была бабенка Софья в молодые годы. Как ластилась к нему, как глазки строила. А не добившись ничего, сказала язвительно ласково:

- Тот не мужик, Ильюшенька, кто не спал со свояченицей. Видать не больно-то ты силен. Но я рада за Файку: верность в наше время - чудо чудное.

И захохотала.

Давно это было, но Илья Семенович помнит, как мурашки побежали у него по спине от ее смеха. И стыдно было после глядеть в глаза Фаине.

С тех пор побаивался Илья Семенович Софью и встреч с ней избегал.

Софья, казалось, вовсе не замечала его настроения. Она была одержима своей идеей, это чувствовалось во всем. И идея эта явно имела отношение к нему, к Илье Семеновичу. Он то и дело ловил на себе пристальный, изучающий взгляд Софьи. Она словно примеряла его к чему-то, пристраивала и никак не могла решить, вписывается ли он в задуманный ею антураж.

Взгляды эти настораживали Илью Семеновича и раздражали. Как и привычная насмешливость Софьи. И усугублялось все тем, что, как ни наблюдал Илья Семенович за ней, ни капли печали не видел он в бурном потоке захлестывающих ее эмоций.

Фаину она ни словом не вспоминала, будто и не было у нее никогда младшей сестры, преданной и верной, нежно любившей ее всю жизнь и яростно защищавшей от дурной молвы и пересудов. Родня их, пребывая постоянно в раздорах и спорах, дружно сходилась на одном: все недолюбливали и осуждали Софью. За то осуждали, что она совершила, и за то, что, по их мнению, сотворить могла.

Вся жизнь Софьи была вызовом. Три законных брака и в каждом налицо супружеская неверность. Все выставялось напоказ: глядите! завидуйте! осуждайте! Красивая, яркая, бесстыжая - она являлась постоянным раздражителем для окружающих. Но ее самое это нисколько не беспокоило. Желание было единственным рычагом всех ее поступков. «Хочу и делаю» - жизненное кредо.

Сейчас она тоже была красива, и Илью Семеновича это почему-то шокировало. Ему было стыдно сказать соседям,

что Софья – Фаина родная сестра. “Родственница”, - говорил он уклончиво.

Фаина была миловидная, темноглазая, с копной кудрявых черных волос, маленькая и хрупкая. Ее надо было увидеть, чтоб оценить. А Софья лезла в глаза, ослепляла. Она походила на нынешнюю весну. И так же была неуместна в его жизни, и так же ему неподвластна.

Илья Семенович по-прежнему после обеда каждый день ходил на кладбище. Он не говорил Софье, куда идет, и не звал ее с собой. Она бы не пошла, наверное, да он и не хотел впускать ее в их с Фаиной тайный мир, мысль о существовании которого одна лишь поддерживала Илью Семеновича в его одинокой неприкаянности.

Илья Семенович корил теперь себя за то, что при жизни мало разговаривал с Фаиной. Привыкнув к ее постоянному присутствию, обихоженный и обласканный ею, с удовольствием предавался он своим неторопливым размышлениям о смысле жизни, о законах развития человеческого общества, о чем-то абстрактном и далеком, казалось, не имеющем к нему никакого отношения. И Фаина никогда не мешала ему.

Теперь же, словно желая исправить что-то упущенное, Илья Семенович подолгу беседовал с ней, рассказывал обо всем: какая нынче весна, какой обед он себе сготовил, что почем продают на рынке, о чем в газетах пишут, как измучила его бессонница, и прочее, и прочее. Только о приезде Софьи не обмолвился, не хотелось ему, чтоб Фаина об этом узнала.

А Софья, тем временем, не сидела без дела. Мебель всю в доме переставила, шторы новые повесила, Фаинины вещи в комиссионку отнесла и на вырученные деньги купила ему шерстяной спортивный костюм, голубой с белыми полосками, и домашние тапки, кожаные, без задников. Остальные деньги запрятала куда-то, проговорив загадочно:

- Пригодятся еще, расходов у нас много будет.

И все это - не спросясь у Ильи Семеновича. Будто он уже и не хозяин в своем доме.

А он, будучи флегматиком по натуре, не решался приструнить ее. Все молчал и молчал. Молча поменял свою фланелевую пижаму и стариковские войлочные шлепанцы на новую амуницию, молча готовил обеды, которые заказывала Софья, молча выполнял всякие ее поручения. И чувствовал, что вязнет в топком болоте. Еще немного, и

не будет возможности ни выбраться, ни позвать на помощь. Временами его охватывал ужас.

Софья сама помогла ему выпутаться из ею же искусно расставленных сетей. Присев как-то рядом с Ильей Семеновичем на диване, рыжая, дородная, в блестящем длинном халате, низко открывающем белую, пышную грудь, она погладила его по руке и сказала вкрадчиво:

- А что, папочка, не пора ли нам оформить наши отношения?

Илья Семенович словно проснулся от тяжелого долгого сна. Он сбросил ее руку, вскочил и закричал:

- Какие отношения? Какие отношения? Нет у нас никаких отношений. И не смей так называть меня!

Это принадлежало только им с Фаиной, было их общей давней радостью и их бедой.

Фаина долго не могла родить, лечилась, и оба верили, что дождутся своего счастья. Аркашка был поздним ребенком, им обоим было за тридцать. Тем трепетнее любили они его, слабенького, болезненного, и связанные этим долгожданным ребенком, еще нежнее относились друг к другу. Но Аркашка умер пяти лет от роду от нераспознанного дифтерита, задохнулся у них на руках. Оцепеневшие от горя, долго сидели они над безжизненным телом сына, не желая верить случившемуся. С тех пор на всю жизнь осталось это ласковое и счастливое «папочка». Горькое и незабываемое.

А Софья, словно насмехаясь над их бедой, сделала столько аборт, что хватило бы на многих обездоленных женщин.

Илья Семенович знает, что однажды Фаина в отчаянии просила сестру оставить ребенка и отдать его им на воспитание, но та лишь рассмеялась в ответ.

А теперь она смеет своим поганым языком осквернять самое светлое и печальное воспоминание его жизни.

Гнев, досада и боль душили Илью Семеновича. Никогда еще не доводилось ему испытать подобное возбуждение. Слова и всхлипы рвались из груди, раздирая, царапая сердце:

- Ты вот что, Софья, ты убирайся отсюда! Не желаю я видеть тебя!

Он стыдился перед ней своих слез и несдержанности, но не в силах остановиться, продолжал отрывисто вскрикивать:

- Уходи!.. Уезжай!.. Я сам, я один. Что тебе нужно от меня? Зачем ты приехала? Уезжай!

Софья побледнела, вздрогнула всем телом, как от удара, как-то осела и в единый миг превратилась в старуху. Голова ее задрожала, губы распустились, глубокие морщины перерезали лоб, и из глаз полились слезы.

Она судорожно всхлипывала, трясая головой и силясь сказать что-то.

Илья Семенович тоже молчал, от ее слез ему сделалось тяжело дышать и тупо заныло в груди.

- Ах, Илья, Илья, - наконец, выдавила Софья. - Зачем ты так? За что?

Она вытирала слезы ладонями, а они все тепли и тепли. Глаза ее горячечно блестели и, продолжая плакать, она торопливо и сбивчиво заговорила:

- Что ты знаешь обо мне? Что вы все о моей жизни знаете? Красивая, развратная, избалованная, да? Осуждали меня? Завидовали? Как же: в такой благопристойной и благочестивой еврейской мишпухе такой урод вырос. А что ни одного счастливого дня у меня не было, этого никто не видел. Только Фаечка одна все-все знала... И жалела меня, жалела...

«Ну, вот она и вспомнила Фаину», - подумал Илья Семенович, и сердце сжалось еще сильнее.

- А сколько горя у меня было? А тоску мою чем измерить? Легко сходились со мной мужики, а бросали еще легче. Шли по жизни моей, как по проходному двору, ведущему на нужную улицу. В разгульном угаре этом разве могла я себе ребеночка позволить? Все любви ждала, чтоб плод любви, как и положено... Фаечку тогда обсмеяла, когда просила ребеночка оставить. И слово себе дала, что в следующий раз рожу. Только следующего-то раза и не было. И тут осечка вышла. Вся жизнь осечка, и итог плачевный. Никому не нужна, никому... Вот и ты гонишь. Эх, Илья...

Последние слова она произнесла почти шепотом. И плакать перестала.

Илья Семенович был ошеломлен услышанным. Он глядел на сидящую перед ним жалкую старуху, а видел молодую Софью, бойкую, себялюбивую, сладкую. Как нравилась она ему, как мечтал обладать ею! Как стыдился этих мыслей перед чистой и преданной Фаиной. А та всю жизнь безуспешно старалась примирить мужа с сестрой и понять не могла, за что он так не любит Софью.

- Когда я узнала, что Фаечка умерла, слегла сразу, ноги отнялись. Провалилась в больнице полтора месяца, думала, не поднимусь. Вышла - и сразу к тебе. Что, думаю, он там один мается. Попривыкнем друг к другу, может, вдвоем легче будет.

Софья снова заплакала в голос, навзрыд, не таясь и не сдерживаясь. Долго плакала она, а Илья Семенович все молчал, потрясенный.

Наконец, она стихла, запахнула на груди халатик, придерживая у горла широкие отвороты, и сказала покорно:

- Я уеду, Илья. Я уеду. Только зря ты меня так обидел.

И посмотрела ему в глаза

Илья Семенович вдруг впервые увидел, как похожи они, Софья и Фаина. Те же кроткие, темные глаза, тот же ласково-укоризненный взгляд, те же подрагивающие ямочки в уголках губ. Только волосы у Софьи рыжие.

Он вспомнил, как отяжелели ноги, когда увидел выходящую из вагона невестку, и короткой вспышкой сверкнула мысль: «Неужели сбылось?»

Илья Семенович хотел что-то сказать, попросить прощения у Софьи, но, почувствовав острую боль в груди слева, судорожно глотнул воздух, протянул вперед руки и успел жалобно позвать:

- Фаина, Фая...

Все время, пока ему было плохо, он видел склоненное к нему печальное лицо Фаины, чувствовал ее нежные, добрые руки, кормившие, умывавшие, переворачивавшие его.

Оттого, что она все время была рядом, ему не было страшно, и он вскоре пошел на поправку. Только что-то смутно беспокоило его...

Когда Илья Семенович вышел из больницы, Софьи уже не было. Мебель стояла на старых местах, и все в доме было, как и прежде. На улице похолодало, и даже пошел запоздалый, невесть откуда взявшийся снег. По радио каждый день передавали: ветер северный, умеренный...

Эта перемена уравнивала душевное состояние Ильи Семеновича. Он больше не собирался на Север. И в Израиль не собирался. Три раза в неделю после обеда ездил к Фаине, чаще не получалось по здоровью, подолгу сидел на лавочке, спешить было некуда, рассказывал о том, что посмотрел по телевизору, прочитал в газетах, обо всех бытовых новостях, мелких, незначительных, чтоб не

сказать - ничтожных. Только про случившееся недавно не сумел рассказать.

И каждый день собирался написать письмо Софье, да никак не решался.

Карина Муляр (Масюта)

Анкета психолога

С детства я увлекалась психологией. Всегда было интересно, как и почему меняется настроение человека. Какие эмоции возникают в разных ситуациях? Что нужно, чтобы успокоить человека или унижить? Повысить его самооценку или опустить так, чтобы он не поднимал головы? Как влияют обстановка в доме и родители на будущее поведение детей и взрослых?

В итоге я поступила на факультет психологии и весьма успешно его окончила.

Ко мне приходят разные люди, и у каждого своя проблема и свои трудности. Многим мне удается помочь, но надо признать, что изредка встречаются и такие, которым я хочу рассказать о себе. Но об этом не сейчас...

У меня есть несколько видов анкет, которые я предлагаю заполнить пациентам. Вообще-то я заметила, что вопросы, заданные на бумаге, придают мне в глазах моих пациентов больше значимости.

На консультации ко мне приходят самые различные люди. Вот, например, женщина лет пятидесяти, толстая, неухоженная, постоянно что-то жующая, никак не может понять, почему муж ушел к ее однокласснице. У которой всё точно такое же, только она жутко худая. А он, ее муж, бросился на эту груду костей.

В принципе, во время встреч с ней я молча слушаю одну и ту же тираду. Тщетно пытаюсь вставить хоть какое-то слово. Ей это не нужно, и я смотрю в окно. Там кипит жизнь. Ходят разные люди, неся с собой свои разные судьбы.

Однажды я увидела, как дождь расплакался мне в окно. Я смахнула предательскую слезу. Почему предательскую? Я же просто захотела погорюстить вместе с ним.

Откуда-то из глубины моей приемной несло:

- Ты мне должна дать шанс, и увидишь, мы сможем всё начать сначала. Доверься мне.

И моя очередная пациентка доверчиво прижимается к хлипкого вида мужчинке с карими бегающими глазками. Всё

его лицо, - да что лицо? – весь его вид говорит о том, что он обманщик и пройдоха, но пациентка не хочет этого видеть. Она хочет стать еще несчастней, но дать ему шанс.

А за окном деревья дарят прохожим свои разноцветные листья, в восторге бросая их к ногам. Ветер пытается сложить из них цветной ковер, а люди спешат по своим делам, не замечая этой красоты.

В последнее время ко мне начал приходиться на прием один художник. Со страшным лицом он угрожал мне, что покончит жизнь самоубийством, поскольку его покинула муза. Жизнь, по его словам, стала бессмысленной. Он вытаскивал простой карандаш из кармана грязных брюк. Оттуда же появлялся клочок бумаги. Художник, прищутив глаз, подолгу меня разглядывал, потом начинал рисовать. Затем, дико ругаясь, рвал на мелкие части клочок бумаги и бросал не в мусорную корзину, а прямо на пол.

Далее всё продолжалось снова. Он угрожал мне, что покончит жизнь самоубийством, потом просил прикрыть окно, поскольку может подцепить ангину. Я закрывала окно и застывала, глядя, как зима аккуратно укладывала сугробы вдоль дорог, а с неба сыпал мелкий пушистый снежок. Воздух был необыкновенно чистым и прозрачным. Я прекращала слышать нудный голос художника и уносилась в зиму Снежной Королевой.

Однажды ко мне на прием пришел мужчина лет сорока пяти. Вежливо поздоровался. Я предложила ему присесть. Он, удобно устроившись на стуле, принялся молча меня разглядывать. Мельком глянув на него, я заметила, что передо мной очень сильная личность. Пронзительно прямой взгляд серых глаз, высокий лоб, тонкие упрямые губы.

Я нервно рылась в столе, пытаюсь найти для него подходящую анкету. Он замер, как замирает лев перед прыжком. Внезапно я почувствовала, что силы мне изменяют, и я сейчас разревусь.

Я оставила поиски этой проклятой анкеты. Встала у окна и заговорила. Говорила, понимая, что делаю что-то не то. Понимала, что должна замолчать – и не могла.

Я торопливо рассказывала о своих первых детских обидах. О том, что мне одной не досталась заветная конфета. О предательстве лучшей подруги. О не сложившейся первой любви. Я кричала о том, что мой отец умер, когда я была

еще ребенком. Он разбился на машине. Через несколько лет мама сошлась с одним скульптором, который меня, тогда подростка, упорно домогался.

Окончив школу, я поступила на факультет психологии и ушла жить к бабушке. Скульптор и там не оставлял меня в покое. В конце концов, я вышла за него замуж, окончательно испортив отношения с мамой. Об этом своем поступке я жалею до сих пор.

У нас родился сын. В какой-то момент скульптору стало скучно играть роль примерного семьянина, и он, оставив мне ребенка, отправился на поиски новых сильных ощущений.

Сейчас я влюблена в женатого мужчину. В хозяина клиники, в которой работаю, а ему абсолютно всё равно. Он любит свою семью.

Я плакала, кричала и говорила, говорила то, о чем молчала много лет. Задавала вопросы, и сама на них отвечала. Спрашивала своего пациента, нравится ли ему слушать «Либертанго» Пьяцоллы. Так вот, это танго полностью отражает то, что творится в моей душе.

Он внимательно слушал. И только где-то в уголках серых глаз я заметила насмешливый огонек.

Я растерянно глянула в окно. Весна украшала улицы зелеными листьями. Осторожно ступая по еще холодной земле, она деликатно раскрашивала всё яркими красками, символизирующими жизнь. Я в изумлении замолчала.

Мой пациент какую-то секунду смотрел на меня, потом спокойным голосом сказал:

- Вы дадите мне заполнить анкету?..

Про Ильичей

Записки непутёвой тётки

Ильичи – дети моего младшего брата. Я их родная тётя. Ильичей у нас двое – старший и младший. Мальчик и девочка.

Я переводчик и технический писатель, не замужем, бездетна, и веду сугубо личную жизнь. Я - непутёвая тётка. У меня есть свой, отдельный спутник жизни, здесь он «Драгоценный».

Мы все живём в Израиле и живо реагируем на происходящее в стране, и иногда - в мире.

У Ильичей есть мама, русскоязычные бабушка и дедушка, а также ивритоязычные бабушка и дедушка. Еще есть два родных дяди, братья мамы. Оба женаты и живут в США. Их дети – кузены Ильичей.

И еще есть две двоюродные русскоязычные тети. И отец их, дядюшка Боцман. Это путёвые тетки, они замужем, их дочери - кузины Ильичей.

В семье мы разговариваем на иврите, с младшим поколением – всегда. Со всеми, рождёнными в СССР, – по-русски. С женой старшего дяди Ильичей мы говорим по-английски, она американская еврейка.

2011, май.

Обрезали племянника; я теперь – тётка! Племянник с утра был очень занят: питался, купался, обкакал и описал своего папашу и его тещу. На процедуре лишь раз взвяхнул по делу и вцепился в палец моэлю, когда тот дал ему ритуальную каплю вина. Палец еле спасли, моэль умчался, как вихрь, а Драгоценный сказал: теперь понятно, почему на улицах иногда встречаются люди без пальцев. Стресс запили шампанским и заели обедом.

Открыла в себе новый талант: усыпляюще действую на младенцев. Пока только на одного, но как знать, может, со временем я усовершенствую своё занудство и смогу экономить врачам наркоз.

2014, июнь.

Племянник не дремлет (особенно когда его укладывают на ночь). Например, как вырабатывают у трёхлетнего интеллигента пищевое поведение? Разумеется, «хочу есть» у балованного внука заменяется почти всегда на «хочу мороженого». Но ушлые баба с дедом, подводя ребенка к холодильнику, сначала указывают ему на магнитик с изображением пищевой пирамиды. Магнитик когда-то притащила в дом непутёвая тётка с одного из своих марафонов, где их раздавали бесплатно. На пирамиде внизу через всё подножие, нарисована вода, выше – злаки, потом овощи-фрукты, белки, жиры, и на самой верхушке – вредные сласти.

- Ну? Вспомнил, с чего мы начинаем? То-то же, садись за стол.

Ребёнок, карабкаясь снизу вверх за вожделенным мороженым, вынужден съесть суп, хлеб, салат, курицу, макароны, арбуз... В общем, про мороженое он потом не всегда вспоминает.

Но иногда мороженого хочется чуть сильнее, чем обычно, и он картинку переворачивает. Тогда вредные сласти оказываются внизу, - и с них как бы можно начать обед, смотри, бабушка... Но не так-то просто перехитрить опытного педагога в четвертом поколении.

- Хорошо, начнём с мороженого. Но ты видишь, как его тут мало? На самом кончике пирамиды. Поэтому ты получишь ровно одну ложечку.

Приходится по-прежнему съесть весь обед. Ну, или сначала раскручивать бабушку на оладушки или омлетик.

2014, сентябрь.

В семье прибыло Ильичей; пополнение является дамой, весит 2900 и сворачивает язык в трубочку, как я. Это теперь Ильич-младший.

Языками непутёвые тётки вчера мерились с Ильичом-старшим у дедушки с бабушкой. Тёток там тоже иногда терпят, они пока не выяснили, почему.

Его подстригли, и теперь по дому носится точная копия его папаши в аналогичном возрасте. Престарелая тётка хватается за сердце. Помните, наверное, из своего детства, да? Вы счастливо бегаєте босиком в грязных штанах, таскаете из шкафчика кастрюли и миски, съезжаете на них животом со ступенек, за вами бегают бабушка с «кусочком колбаски» и дедушка в роли зажима. А на заднем плане

стоит какая-то непонятная смешная тётка, тарашится на вас и громко поминает неизвестных обитателей каменного века. Вот, знакомьтесь: такая тётка.

Дедушку государство направило на спецкурс для будущих пенсионеров. Их там учат ворчать на правительство, брюзжать на погоду, сидеть во дворе на лавочках и возмущаться соседями, резаться в козла, обсуждать передовицы главных газет, медленно влезать в автобусы в часы пик и занимать очереди на почте с восьми утра, а также потреблять кефир одним глотком, не закусывая. Но нашего дедушку можно будет через годик выпускать на марафон, и эта идея нравится мне гораздо больше.

Ильич-младший скептически смотрит на мир мутно-синими очами. Чёрные глаза у нас в семье - рецессивный ген. Ильичу-старшему уже объяснили, что сестру он любит. А заодно наконец-то разъяснили, откуда взялась непутёвая тётка.

...А непутёвая тётка пока честно учится печь пирожки. На всякий случай. Чтобы у бедных деток всегда была возможность хорошенько подумать о всяких высоких материях, а не как попало.

2015, февраль.

Непутёвым тёткам стали чаще давать жамкать Ильича-младшего. То есть, Ильича-старшего, конечно, тоже разрешается пожамкать, но его надо сперва отловить, а тётки уже старенькие. Они, конечно, стараются, но не всегда успешно. А Ильич-младший пока что лежит, где положили, и только намеревается переверачиваться. Ну, ещё любит кататься на непутёвой тётке и озирать окрестности недовольными синими очами.

На прошлой неделе, например, брательник устроил приём для всех предков и всех доступных сиблингов, я в них сама путаюсь. Непутёвую тётку и Дядю Гиля пригласили специально пораньше, чтобы занять двух детей, пока ильичёвский папа будет готовить прием, а ильичёвская мама – отдыхать. Тётки «успели первыми» и целый час честно удирали по всей квартире от двух пластмассовых мечей, четырех конечностей, визгов, воплей и тяжёлой, но быстрой головы на уровне своих колен. Тут подоспел спасительный Дядя Гиль и стал играть с Ильичом-старшим в ужасные мужские игры на истощение: подбрасывание к потолку, скручивание и мотание из

стороны в сторону, битвы на мечах, а также чтение с телефона «Алисы в стране чудес» с синхронным переводом на иврит. Дядя Гиль у нас интеллектуал.

Ильичёвская мама сейчас очень устает. Её начальство, похоже, слишком буквально восприняло максимум: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано, поручи это самому занятому человеку». Начальство дождалось, пока она по уши займется новорожденным вторым ребёнком, и назначило её деканом, не дожидаясь её прихода в сознание. Теперь ильичёвская мама выходит на работу в три ребёнкиных месяца, а в перспективе – защищает докторскую, но не колбасу, а диссертацию, а то какой же она будет декан без докторской, - смех один, а не декан, простихоспади. Так что почти всё свободное время она спит, а когда свободного времени нет, она его высвобождает с нашей помощью - и снова спит.

2015, апрель.

Развлекают Ильичами, что приятно. Старший болтает и бегаёт, младшая верещит и ползает. Ильич-старший знает наизусть в правильном порядке все десять египетских казней, и за время пасхального седера успел обучить по «скайпу» своего американского кузена. Ильича-младшего впервые нарядили в платье. Непутёвая тётка и брательников тесть приучили его смотреться в зеркало, и теперь Ильич-младший повизгивает от радости, увидев своё отражение. Что интересно, со старшим этот номер в том же возрасте не прошёл. Кажется, девочками всё-таки рождаются.

- Я знаю! Какао кошерно в Песах, потому что оно сделано из мацовой муки! - радостно оповещает весь мир будущий великий раввин, повязав голову пиратским платком.

Ильичевская мама начала вечер с истории о том, какая она ужасная мать. За вчерашнее утро шестисполовиномесечный Ильич-младший дважды напугал её до дрожи тем, что сиганул с родительской кровати на пол, «но не убился, а рассмеялся».

- Я просто не могу за ней угнаться! Она такая шустрая! Раз-раз – и уползла!

А полз Ильич-младший на голоса отца и брата из соседней комнаты. Он их очень любит и не видит препятствий. Когда девица подрастёт, я отведу её на марафон, а по дороге объясню, что не надо так рьяно

гоняться за мужчинами, даже по любви, поскольку «шрам на роже», то есть ссадина на подбородке, вовсе не красит дам.

Пасхальный седер проходил спокойно и тихо. Брательникова теща приболела и была не в голосе, поэтому не пела, как обычно, кибуцных пасхальных песен из своего детства. Правда, теперь мне очень стыдно за то, что я так яростно не хотела их слышать. Пусть бы пела бедная бабушка, но была бы здорова.

Читали Агаду, как положено, по очереди. Вдруг ильичёвская мама повысила свой отныне начальственный голос:

- Прошу тишины! «Король»... Мой муж говорит!

Мы с Дядей Гилем от возмущения перестали болтать и хихикать, и взвились до потолка:

- Ты решила нам всем ещё раз похвастаться, что ты замужем?!

- Да-да! Что это за дискриминация одиночек?!

Звуковой волной сестру и невестку пригнуло к столу, она даже заслонила голову руками:

- Нет-нет, вы не так поняли: мой муж наконец-то открыл рот и что-то сказал!

Брательник тем временем дочитал свои три строчки, ухмыльнулся и молча передал эстафету следующему чтецу.

В свете вышеизложенного объявляю Ильича-младшего гениальным младенцем с феноменальной памятью: в данных жизненных обстоятельствах она помнит голос своего отца!

2015, ноябрь.

В четверг вечером радостные Ильичи выскочили навстречу непутёвым тёткам и стали приветствовать их изо всех сил. Ильич-старший от избытка чувств тут же начал бодаться. Но техника безопасности обязательна к соблюдению! Если обхватить мальчика руками в кольцо и зафиксировать его голову в районе своего живота, и не давать ему простора для разбега и замаха, то с ним очень даже можно мило поздороваться.

Ильич-младший завалился на пол коленками назад и стал вопить: «Играть! Играть! С тётей!»

Детки, что вам сказать... У тёти спортивный питьевой режим - два литра воды в день, и она только что провела

сорок минут за рулём в пробке. Хочет ли она играть? Нет. Она хочет совсем-совсем другого.

- Так! Тётя сейчас играть не будет. Тётя сейчас идет в туалет и будет там писать! Кто со мной?

Ильич-младший срывает, извините, джек-пот:

- Я! Я тоже! Тоже в туалет! На горшок! Писать! С тетей!

- Ты? На горшок? Со мной?

- Да! Да!

- Хорошо. Разрешаю. Но ты садись на горшок, поняла?

- Да!

Ильич-старший видит, что этот раунд борьбы за тётку он проиграл, но причина уважительная, придраться не к чему. Он отходит в сторонку и тихо нарезает круги по гостиной. Непутёвая тётка берёт за руку Ильича-младшего и скрывается с ним в туалете. Ильич-младший подпрыгивает, повизгивает от восторга и трясёт белыми кудряшками. Горшок ждёт на своем привычном месте возле ванны.

Туалет – это вам не кислородная маска в самолёте. Сначала нужно усадить ребёнка. Потом по-быстрому плюхнуться самой. Ильич-младший с любопытством вытягивает голову в мою сторону.

- Ты ничего не увидишь, малыш; можно только услышать.

(Эти унитазы так по-дурацки устроены!)

Даже справляя естественные надобности, постарайтесь не уходить в процесс с головой, а слегка наблюдайте за окружающей живой природой. Тогда вы не пропустите тот момент, когда на лице двухлетнего ребенка словно переключится тумблер – и в этот миг она перестанет прислушиваться к внешнему миру и вдруг прислушается к СЕБЕ... Уверяю вас, этот миг бесценен.

- Мне! Мне тоже бумажку!

- На тебе бумажку. Ты что, пописала?

- Да!

- Молодец!

Начинает старательно подтираться. В горшке победно желтеет настоящая лужица.

А вот надевать штаны обратно следует, всё же, как кислородную маску: сначала на себя, а потом на ребёнка.

Вывалиться из туалета нам с Ильичом-младшим пришлось как раз в тот момент, когда открылась входная дверь и в квартиру вошли родители ильичевской мамы и американский дядюшка Ран с женой, двумя сыновьями и

своей тещей, снятые прямо с нью-йоркского рейса. Семья - она как пасьянс: к каждой выложенной с одной стороны карте можно пристроить с другой стороны целый веер лиц и раскладов.

...А в Песах ильичёвская мама с Ильичом-младшим взяли тайм-аут, и засели вдвоём у себя дома приучаться к горшку насовсем. Ильич-младший три или четыре дня провёл под бесконечные вопросы: «Хочешь писать?» После такой яростной муштры человек может стать только принцессой, даже если его угораздило родиться и вырасти большим бородатым мужиком. К концу срока заточения в ответ на очередное стопиццотое «Хочешь писать?» ильичёвская мама услышала от дочери воистину королевское:

- Нет, но спасибо, что ты спросила.

2017, март.

Ильич-старший посетил израильский парламент ака Кнессет в рамках экскурсии детского сада. Его кузина Э. была там со своим детским садом. В Кнессете им показывали шоу «За стеклом» – работу правительства, потом буфет и туалет.

Встретившись впоследствии в фамильном имении ильичёвских предков, юные граждане обменивались впечатлениями и играли в это... Ну, в общем, в законодателей.

Для начала Ильич-старший грамотно собрал кворум:

- Нет, давайте справлять шабат не у тех бабушки и дедушки, а у этих. Тех я недавно видел, а по этим соскучился.

Кибуцная бабушка и дедушка-индус подвязали шабатные кастрюли резиночками и приехали в гости к «колбасной алие».

Затем Ильич-старший выступил с первым законопроектом:

- Я предлагаю ввести закон о компьютерах! Чтобы пользоваться компьютером можно было только десять минут в день! Кто "за"?

Кибуцные коллаборационисты и индийские соглашатели послушно подняли руки. Здание израильского хайтека содрогнулось. Ильичёвский дедушка, программист старой формации, воздержался. Ильичёвская бабушка-педагог развязала дебаты:

- А если человек за компьютером работает? Ему будет мало десяти минут в день.

После доработки законопроекта разрешённое время, проводимое за компьютером, было продлено до четырнадцати минут. К счастью, непутёвую тётку на этот праздник жизни не заносило.

Ильич-старший вошёл во вкус и выступил со вторым законопроектом:

- Я предлагаю ввести закон – чтобы в пятницу или в субботу все должны были ходить в синагогу!

«Ой-ёй-ёй-ёй, ой-ёй, да что ж это такое!»

Кибуцные коллаборационисты и индийские соглашатели опять проголосовали "за".

Ильичёвской маме как раз понравилась идея законно выставлять из дому всех лишних обывателей на пару часов в выходные; но вот так сразу - и в синагогу?

- Малыш, я поддерживаю идею жить какой-нибудь духовной жизнью, но, может быть, можно ходить и в другие места?

Ильичёвский дедушка из страны победившего атеизма взял слово:

- Малыш, а ты понимаешь, что это закон, и он обязателен к исполнению, и что за нарушение закона нарушителей будут сажать в тюрьму?

Кибуцные коллаборационисты и индийские соглашатели испугались и стали лоббировать отзыв законопроекта. В тюрьму им не хотелось. Ильичу-старшему и кузине Э. тоже в тюрьму не хотелось, и стало жалко всех бабушек и дедушек. И тут пришел лесник – ильичёвский папа, - и разогнал эту спонтанную "Учледирку" во имя шабатней трапезы, на которой Ильич-старший грамотно благословил вино и халу.

2018, декабрь.

Ильичи в гостях у бабушки строят домик из диванных подушек и всего свежевывстиранного постельного белья в доме. Утверждают, что это – не домик; как называется – не скажут, но вход платный.

У нас таки еврейские дети растут.

2019, январь.

В жизни Ильича-старшего произошел качественный скачок: он полюбил читать книги. После некоторого родительского нажима он научился читать бегло, и...

- И теперь ему никогда не будет скучно! - умиляется ильичёвская мама.

Ильич-старший возвращается домой с тэквондо и бросается обниматься с непутёвой тёткой. Попутно делится своей самой тяжкой детской горестью:

- Она такая противная! Она все время ко мне лезет!

Непутёвая тётка никогда не упустит два удовольствия: научить ребенка плохому и побеседовать с умным, образованным человеком. Тем более не упустит она шанса совместить и то, и другое:

- Зато знаешь, как ты теперь можешь ее называть?

- Как?

- Макат-бехорот!

Это самая страшная египетская казнь, поражение первенцев. Ильич-старший хохочет. Кто кому в семье первый – он усвоил давно. Мой шепот становится ещё тише и загадочнее:

- А знаешь, кто был макат-бехорот для меня?

- Кто?

Ильич-старший, всё ещё со смехом, но уже с нотками священного трепета смотрит на моего младшего братика. Тот с мрачным видом шуршит на кухне, жарит омлетик для Ильича-младшего и делает вид, что нас здесь нет. Я шепчу совсем тихо:

- Твой папа, ясное дело!

Ильич-старший хохочет, потом наскоро купается, заглатывает ужин и валится на диван со второй книгой «Гарри Поттера». Первую он уже закончил, сразу после «Карлсона»:

- Я очень хорошо вёл себя на уроке, потому что знал: урок закончится, и мне дадут, наконец, почитать «Гарри Поттера»!

Ильичевская мама очень гордится сыном:

- Он так быстро читает! Просто проглотил первого «Гарри Поттера»! Но мы не хотим пока давать ему третьего, там уже начинается вся эта жестокость, ему во втором классе ещё рано, подождём ещё год. Правда, эту он тоже быстро дочитает. Кстати, знаешь, что у него в планах? История Израиля, история Мюнхенской олимпиады и история суда над Эйхманом, включая всю историю вопроса и Катастрофы...

- Скажи, ты точно уверена, что не хочешь давать ему третьего «Гарри Поттера»?..

Ильич-старший обниматься ещё прибегает, но ему уже некогда. Его ждут великие дела: выскочить голышом из ванной с полотенцем над головой и криком "Я - супермен!", поприветствовать по очереди к маме с папой, съесть ужин из рук бабушки, и вот, наконец...

- Что-то он притих... Он где? В постели? Почему нет? Уже поздно!

На диване его тоже нет. Он уже умный.

- Вон он, в углу, под столом прячется. Читает.

- Быстро спать!

- Ну, паааап...

- Уже полдевятого!

- Мне чуть-чуть осталось!

- До без пятнадцати читаешь, - и в постель!

- Ну, паааап...

- Сколько на твоих часах? 32? На моих 35. дочитай и марш спать!

Маршируя в постель, Ильич-старший гордо рапортует, что дочитал книгу про бейрутскую операцию "Весна молодости", и переходит к Мюнхенской олимпиаде, а потом ему обещали книгу про восстание в Варшавском гетто!

За хорошее поведение, не иначе.

Нежная Ильичевская мама хватается тонкими пальцами за идеальную стрижку:

- Я не понимаю! Другие родители годами ищут способы рассказать детям о Катастрофе, о гибели миллионов людей, а этот! Как ему хватает душевных сил! Сам интересуется, сам находит литературу... С тех пор, как он научился читать, я совершенно не могу проконтролировать, что он читает!

- С тех пор, как он научился ходить, ты не всегда можешь проконтролировать, куда он ходит; и что теперь? - утешает бедняжку непутёвая тётка. - И пусть читает сейчас, пока информация еще впитывается сама; осмысливать он будет позже.

Нет, его конечно отвлекают на рисование, на тэквондо и на роботов из «Лего» (что неудивительно, если мама - гендиректор компании «First Robotics» и даже берет его иногда с собой на соревнования старших групп), но в чем с половиной лет времени хватает на всё.

Даже на общение с непутёвыми тётками.

Май.

Так уж повелось, что люди рождаются на свет без инструкций. Эдакая огромная, сложная, самообучающаяся и самовоспроизводящаяся система, - и совершенно неизвестно, как ею рулить. С первыми двумя Господь еще как-то управился, но уже третий и четвертый не ужились друг с другом без присмотра. Тогда присмотр спонтанно появился: религиозные заповеди, УК, ГК, неписанный этикет, семинары, тренинги, краткие курсы, подзатыльник. Вас научат быть хорошими родителями, достаточно хорошими родителями, плохими родителями, матерями-ехиднами, делать аборт. Вас также научат быть хорошими детьми, почтительными детьми, примерными детьми, плохими детьми (кстати, могу подкинуть телефон курсов), внутренними детьми, не делать аборт. Среди бабушек и дедушек давно проводятся разъяснительные, строительные и ремонтные работы. И вот так, со скрипом, человечество переползает из поколения в поколение.

Как быть тётями и дядями, никто никого не учит. Тётями и дядями становятся неожиданно (поверьте), но образ их, в отличие от родительского, странен и невнятен. Что накопил для нас опыт поколений? Только технику безопасности. Чем же занимаются тётки и дяди в представлении родных и современников? Одни, как ослы, заставляют себя уважать в обмен на недвижимость, другие подсовывают пирожки. Их могут кокнуть за шляпку или обвинить в убийстве ради королевского трона. Про отцов и детей пишут неоднозначные романы в век великих перемен; про дядюшку могут создать короткий сатирический эпизод в комической повести. Мать выведут главной героиней эпохального произведения; тётку – героиней водевиля про жуликов, с переодеваниями. Даже такая мрачная страница истории, как бинтование стоп китайским девочкам, 15 веков писалась руками тётки: мамам было жалко дочерей. Про «Игру Престолов» знаете сами. Вырисовывается, в целом, умеренно злобный персонаж, живущий корыстью, притом гротескный. Конечно, что могут понимать эти полу-посторонние недо-родители в странностях любви! И как после этого писать инструкцию по их применению?

Но опыт поколений неправ. Тётки и дяди тоже люди. Ведь если нас уколоть - разве у нас не идёт кровь? Если нас пощекотать - разве мы не смеёмся? Если нас отравить - разве мы не умираем? А если нас оскорбляют... "На этом мысль останавливается." Отсутствие инструкций, с одной

стороны, затрудняет регуляцию, зато с другой стороны - оставляет широкое поле для импровизации и почти полную свободу действий.

И все мы выживаем, как можем.

В прошлую субботу непутёвые тётки семейно отмечали день рождения Ильича-старшего. Ильич-старший сам испёк шоколадный торт. Ильичевская мама только спросила:

- Где рецепт?

- Тебе присылали, поищи в телефоне.

Рецепт нашёлся в телефоне, торт удался на славу.

В программу праздника входили шашлыки и бой на водяных пистолетах. Непутёвые тётки такого боятся. Эти гротескные персонажи отсиживались в тылу, хотя и старались приносить там пользу.

Всем понравилось. Погода в саду под инжиром стояла тёплая, но еще не жаркая. Детям подали детские снежки – бамбу, орешки, печенье и маршмеллоу. Брательник жарил шашлыки и кебабы. Все расчехлили и наполнили водометы, и с воплями гонялись друг за другом. Даже ильичевская бабушка издала боевой клич "Hold my kitchen!", замоталась в пуленепробиваемую ветровку и ненадолго возглавила отряд Взрослых против Детей. Весьма грамотно воевал брательников школьный друг А. (который горел в танке во Вторую Ливанскую). Сначала он шумно и демонстративно убегал от противника по всему двору, убедив всё мировое сообщество, всех врагов и избирателей в своей никчемности, а потом зашел с тыла, овладел точкой полива цветов, и, хитростью подманывая мелких задир, методично замочил из шланга каждого из девятерых, одного за другим.

- В нашем детстве, - рассуждал позднее этот потомственный израильский фермер, пряча кетчуп от своего третьего, двухлетки, - у родителей было два мощных воспитательных приема: "вот погоди, папа придет!" и "по попе". А сейчас что? По попе нельзя, а папу никто не боится, папа растит детей сам и всё время дома.

Короче, разброд и шатания. Всё, как мы любим. И выживать в таких условиях непросто.

Ноябрь.

В наше время принято считать, что все люди рождаются на свет одинаковыми, а потом к нам в общечеловеческую колыбель заглядывает незваное общество с лицом злой

феи Карабос и беспощадно «поделывает нас на женщин и мужчин». И мерзко при этом хихикает.

Нет, это не так. Люди сразу рождаются мальчиками и девочками. Но пока они маленькие, у них мало возможностей это показать, а потом взрослые в погоне за своими представлениями о прекрасном не умеют этого заметить. А надо просто приглядеться.

Например, у нас в семье всё четко. Брательник у меня - очень мужчинский мужчина. Фельдшер-десантник, секретный инженер, идеальный семьянин. Вывести его из равновесия очень трудно. Когда я ввалилась в его дом в свежих сине-зелёных волосах, аки присный Ипполит Матвеевич, брательник не стал в ужасе напиваться на рубль. Нет. Вода в кране встала по стойке смирно рядом с грязной кастрюлей. Хрустнула мыльная пена. Хозяин дома на секунду отвлёкся:

- Ты чё с собой сделала?

- А чё? А чё? Я де-е-евочка, я так ви-и-ижу!

Брательник хмыкнул и уткнулся назад в раковину. У него в жизни всё по порядку: мама – лучшая в мире, сестра – старшая, жена – любимая, дочь – принцесса. И даже тёща – глубокоуважаемая. И у каждой свои люляки. А кастрюля сама себя не вымоет.

На меня уже несли Ильич-старший, на секунду перестав мешать тесто для маффинов.

Ильич-старший тоже чёткий мальчик, но ещё неопытный. Поэтому чуть более нервный. Пообнимавшись, как обычно, он отпрянул на два шага от непутёвой тётки, с тревогой уставился на неё, набрал полную грудь воздуха и спросил:

- Тётя, а это ты на себя случайно что-то пролила, или это ты специально так сделала?

Хлюпнула вода. Звякнула кастрюля. Хрюкнула мыльная пена. Ребёнка призвали к порядку: пора было домешивать и печь маффины. А на непутёвую тётку уже напрыгивал со второго этажа резвый Тигра... То есть Ильич-младший.

Вот Ильич-младший у нас – девочка. Рюши-оборки, бижутерия, косметика («три помады!.. и три блеска для губ; вот этого блеска у мамы нет!»), лаки для ногтей. Если выходит гулять после душа в чистых штанах, то позволяет себе скакать лягушкой и изгваздаться не больше одного раза. Прически тоже уважает. Начала издавека:

- Ой, тётечка, какой у тебя браслетик... Синенький, и кофточка такая красивая, синенькая, и волосики тоже синенькие, какие красивые! Так всё подходит! Такая ты,

тёточка, красивая, и сколько у тебя красивых штук, штучек и штучечек! А ты мне тоже подаришь красивую штучку?

Для протокола: красивые штучки тётка привозит тоннами, и это ещё без учета набитых комодов в наследство!! Ильич-младший штучки очень ценит и бережно хранит их в таких же красивеньких шкатулочках, розовых блестящих кошелёчках и золотых сумочках.

Однако девочки загадочны: самой большой популярностью у Ильича-младшего почему-то пользуются не бусы и не блестящие цепочки, а два браслетика из плетёной веревочки с ракушками. Мы купили их в лавочке в Дизенгоф-центре на фестивале Гарри Поттера; второй – со скидкой. Продавщица повязала их Ильичу-младшему на ручку и на ножку. Спустя месяц снять браслет с ручки уговаривали папа с мамой вдвоём: началось раздражение на коже. Снять второй не убедили, он уже напоминает обрывок верёвки на шее деревенского щенка. Но тётка поищет такой же новый; она обещала.

А вот как истинный мальчик повела себя Ильичевская мама. Она оторвалась на секунду от компьютера и вежливо поздоровалась с золовкой.

- Мама, мама, а ты видела, какие у тёти синие волосы?

- Да? Нет, не заметила. Где? А, и вправду синие. Что у нас на ужин? Ладно, я подожду ваших маффинов.

И снова нырнула в работу.

И, наконец, настоящих высот, глубин и прочих масштабов достигают девчачьи разборки в исполнении бабушек. Чем опытнее девочки - тем тяжелее бьёт чешуйчатый хвост, тем шире разлет осколков:

- Почему ты даёшь ей всю эту косметику? В таком возрасте! В наше время такого не было! Мы росли в кибуце, бегали по полям и носили рубашки с шортами! И не слыхали ни о каком макияже и маникюре!

- Конечно, потому-то ты и едешь по границам и отовсюду привозишь ей тоннами платья-торты в пол! - парирует бабушка, в свое время плевавшая в ленинградскую тушь.

Но в эту осень что-то пошло не так. На Суккот Ильич-младший получил от бабушки-кибуцницы большую розовую коробку в форме раковины – трёхэтажный набор для макияжа от Пнины Розенблюм. Восторгам не было предела:

- Смотри, вот здесь у меня тени для глаз, а здесь – помады, а здесь – пудры, только аппликаторы раскрошились, но ты мне купишь новые, да?

Второй бабушке пришлось принять вызов, поехать в Венецию на биеннале и привезти всем девочкам модные колготки с блёстками.

А тетка, конечно, порылась в комодах и привезла новые аппликаторы.

Декабрь.

Нынче у нас Ильич-младший – очень несчастный: сломал правую руку. Он вчера очень аккуратно ехал на самокате по очень безопасной дорожке, очень аккуратно развернулся, когда мама позвала обратно, а потом очень неаккуратно упал, и прямо на локоть. И провел остаток субботы в настоящей больнице, с настоящими врачами, делал настоящий рентген, и теперь будет полтора месяца ходить в настоящем гипсе.

Было очень больно, но она не плакала, нет. Только жалеет, что не может пока ходить на любимую акробатику, и даже делать колесо на одной руке – не может. И бегать теперь надо очень осторожно, особенно по лестницам, и в автобусе – крепко держаться. Зато можно валяться у мамы на кровати, а потом на руках у тётки, и есть шоколадный круассан из её рук, и слушать про героического прадедушку, который жил всю жизнь с одной рукой.

- Тебе в садике дети будут рисовать на гипсе всякие смешные рисунки...

- Я не хочу! Там есть противные дети, которые ковыряются в носу!

- Но они хотя бы в своем носу ковыряются? В твой не лезут?

- Нет... Короче, пусть наклейки клеят, если хотят!

Ильичёвская мама напоминает:

- Может, позанимаешься на пианино? Хотя бы левой?

Но тут Ильич-младший снова грустит. Тогда тётка рассказывает историю про одного пианиста, которого забрали на войну...

- А почему его забрали?

- А на войну всех мужчин забирают. С восемнадцати лет и эдак до пятидесяти, по обстоятельствам.

- В восемнадцать? Они же еще маленькие совсем!

- Нет, в восемнадцать уже большие; считается, что для войны в самый раз. В общем, пианист вернулся без правой руки...

- Ему бомбой оторвало руку, да?

- Подробностей не знаю, может быть, и бомбой. В общем, он вернулся грустный, что не сможет играть. И тогда его друг-композитор написал специально для него музыку для пианино, но только для левой руки.

Мы извлекаем из «ютуба» этюды Скрябина. Ильич-младший слегка разочарован:

- У этого пианиста есть правая рука!

- Да. Но смотри: он играет только левой. А музыку может играть любой пианист, не только тот самый.

- А тот самый здесь есть?

- Не уверена. Это было давно, концерт могли не записать.

- Почему?

- В те времена у людей ещё не было таких телефонов, чтобы любой человек мог записать любой концерт.

- Не было?!

Кажется, эта новость потрясает Ильича-младшего сильнее, чем идея, что можно обходиться без руки.

Ильич-старший попросил пончик "без ничего", только с сахарной пудрой, и учинил себе белые сахарные усы. Он теперь ходит к логопеду и почти научился правильно выговаривать С и Ш. За это его поощряют любимыми «суши».

А сестру он утешает рассказами про израильского национального героя Трумпельдора.

2020, январь.

Ильич-старший весьма силен в написании на бумаге букв, организованных в слова. Этим умением он – так же вскользь – повергает окружающих в трепет. А вовремя повергнутые в трепет ближние и дальние – верный залог успеха в жизни.

Пишите, и будет вам счастье.

Например, в подарок бабушке на юбилей он переписал от руки Декларацию Независимости Израиля - большими печатными буквами, чтобы бабушке было удобнее читать. После чего пацан вник в основную идею документа и проникся его сутью.

Следующим документом, представленным на рассмотрение Верховного Совета в лице бабушки, стало

программное обращение к хозяйке частной продлёнки, куда Ильича-старшего упекли родители после школы.

В письме были перечислены все недостатки данного исправительно-воспитательного заведения, подвергнуто справедливой и беспощадной критике низкое качество мебели, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, отмечен недостаточный уровень как обучения, так и личностного развития постоянных посетителей. В свете вышеизложенного, хозяйке предлагалось переговорить с родителями автора на предмет изъятия самого автора из стен упомянутого заведения и переводе его на домашнее послешкольное времяпровождение.

Непосредственно со своими родителями автор поговорить не рискнул. Но совершенно справедливо рассудил, что у его родителей есть свои родители, чтоб им указывать, поэтому бороться за независимость он пошел по инстанциям - с самого верха. И не прогадал. Бабушка хохотала неделю. Родители хмыкнули, изъяли Ильича-старшего из продлёнки и передали ей на поруки:

- А теперь угадай, что! А теперь твоя мама после школы учит меня англ-ий-ско-му! Вот!

Да уж. Моя мама - она такая. Она может. И она-таки научит.

А вот ильичевский папа у нас, наоборот, весьма немногословен. Заходит он, например, в дом. Вечером, в воскресенье, после работы. На кухне уже тусят Ильич-младший, ильичёвская мама, ильичёвские бабушка с дедушкой, и ещё какая-то слабо опознаваемая, но не очень опасная личность. Ильичевский папа окидывает собрание приветливым взглядом «Гутен абенд», но тут же выражение его лица меняется на "Ахтунг!":

- Почему мама стоит?

- Ах ты, господи! Да что ж это я!.. - спохватывается генеральный директор крупной некоммерческой организации. - Сейчас я накрою стол в гостиной!

Строгая свекровь возмущается:

- Маша! Прекрати гонять бедную девочку! Мы тут нормально ужинаем!

Но Маша уже сменил выражение "Ахтунг!" на следующее по списку выражение "Абгемахт!". И тогда Ильича-младшего отскребают от мультика, дедушку - от дивана, и все перемещаются за круглый стол в гостиную. Непутёвые тётки быстренько заворачиваются в пальто и бегут вызволять Ильича-старшего с тренировки по тэквондо.

Ильич-старший понял, как надо общаться с непутёвой тёткой. Звонить он перестал; он теперь пишет в наш с ним личный «вотсап».

Июнь.

В июне у нас не только радости, но и два йорцайта - бабушки и дедушки. В одну из последних пятниц месяца мы всей семьёй ездим на два кладбища, а потом выпиваем и закусываем под фиговым деревом. Раньше там еще и «гордая пальма зачем-то росла», но пробил её час, и она тоже нас покинула.

Правнуки распределяются так: Кузина Э. - спокойная и сознательная. Ильич-старший - беспокойный, но сознательный. Кузина Дуня - просто спокойная. И Ильич-младший, которого пришлось в какой-то момент ухватить за руку и объяснить, почему на кладбище не принято громко кричать и весело прыгать с надгробья на надгробье. Ну, потому что под каждым надгробьем лежит человек, который спит вечным сном, и мы ходим рядом тихо, чтобы его не разбудить. Вечным – это значит, что на самом деле они никогда не проснутся, но мы из уважения к их памяти здесь не кричим, не смеёмся и не бегаем.

По традиции, мы сначала приезжаем к дедушке на нееврейское кладбище в кибуце. Ильичевские кузины Э. и Дуня расписали красивые камешки для возложения к надгробиям. Ильич-младший отвечал за возложение букетов, Ильич-старший – за то, чтобы Ильич-младший далеко не убежал. Было нежарко, дул приятный ветерок, и солнце то и дело пряталось за облака.

С ежегодным отчётом выступил самый передовой и самый ответственный член семьи – ильичёвская мама. Именно ею наш дед очень гордился бы, и именно ей очень не хватает его, чтобы посоветоваться – как руководить большим коллективом, а особенно – как начислять этим оглоедам зарплату. Ильичу-младшему было велено внимательно слушать все речи и не велено карабкаться на надгробья и по ним прыгать. Поэтому он тихо, но быстро вскарабкался на непутёвую тётку.

И мы воспользовались моментом. Когда все разбрелись и занялись взрослыми разговорами, непутёвая тётка сказала Ильичу-младшему:

- Раз уж ты тут сидишь, давай проведём небольшую экскурсию. Посмотри вокруг: под всеми этими камнями лежат люди, которые когда-то были живыми, а потом

умерли... Помнишь, ты спрашивала, что означает "увековечить"? Ну вот, родственники этих людей поставили им каменные плиты, на которых написали, как их звали, когда они родились, и когда умерли, а также - какими они были хорошими и как они их всех любили. Это и есть увековечить их память. Идём, посмотрим. Вот здесь - даже с портретом, и здесь тоже...

- Мальчики и девочки вместе?

- Да, на кладбище это не важно, лежат все вместе. И родственники делают красивые плиты, и приносят цветы... Например, искусственные.

- Какие-какие?

- Ну, ненастоящие. Смотри: из пестрой тряпочки. Они стоят всегда.

- А мы принесли настоящие! Они красивее!

- Конечно. А вот здесь плиты с портретами, а вот крестик, видишь? Значит, человек был христианин. Всё, идём, нас ждут, пора ехать к бабушке.

- На еврейское кладбище? А это – нееврейское?

- Да. Дедушка был не еврей.

- Почему?

- Ну, так получилось. Не все люди евреи. Дедушка был украинец и родился на Украине. Потом вырос и женился на бабушке.

Ильичу-старшему разрешили ехать с непутёвой тёткой. Впервые в жизни. Он мигом притащил свой бустер, влез на заднее сиденье и пристегнулся.

- Ух ты, какой бардак у тебя в машине! Машины, в которых бардак, - они самые лучшие!

Непутёвые тётки газанули на нейтралке.

- У тебя дома тоже бардак, да?

Непутёвые тётки чудом увильнули от лобового.

- Да, малыш, у меня дома ужасный бардак.

- Вот поэтому и хорошо жить одному: делаешь, что хочешь! - с тоской вздохнул Ильич-старший.

В копилку взрослой мудрости: никогда не парьтесь, что живёте как-то неправильно. Ведите любой образ жизни, всё равно найдется кто-то юный, кто будет его романтизировать и захочет жить, как вы.

Впрочем, я решила кое-что для себя уточнить. Я читаю много женских жалоб в стиле «девочки, ну почему он так говорит, мне же обидно, как он не понимает?!» Отвечаю: не парься, он не поймёт никогда, он все равно тебя любит, но они такими рождаются:

- Малыш, а вот ты мне сейчас сказал, что у меня в машине бардак... Ты зачем это сказал?

- Но я же сказал, что такие машины - самые лучшие! У тебя бардак, и мне это очень нравится.

Это не баг, это фичер. Будьте, какими хотите, и всегда живите так, как вам удобно. Им понравится.

- У тебя радио по-русски!

- В Израиле есть как минимум две радиостанции на русском языке.

Но радио я выключила. К бабушке мы приехали первыми.

- Ну, что, вы по дороге подремали или поболтали? - спросила ильичёвская мама.

Вообще-то, я как раз намеревалась подремать, но мы поболтали. О поездках в Эйлат, о том, кто жил там в гостинице в "свите" с прямым выходом на пляж, кто нырял со шноркелем, видел кораллы и удрал от морского ежа, кто сам много раз рулил в Эйлат на машине и однажды был там в день подписания мирного договора с Иорданией, и видел все королевские самолеты, летевшие с востока и обратно...

Ильич-младший уже резво прыгал в сторону бабушкиного кладбища.

- Я сама вижу, что оно еврейское. Вот же, смотрите: магендавиды на воротах!

И поскакала дальше, к панихидной площадке под навесом. С неожиданным комментарием:

- А я помню это место! Мы здесь ели бутерброды!

И все, слышавшие это, прыснули от смущения. Всё же Ильич-младший - ребенок с феноменальной памятью.

Но в этом году Ильич-младший был уже большой, знал, что на еврейском кладбище не едят, проявлял сознательность и легонько ползал по надгробию, разбирая по буквам свое второе имя среди имен своей покойной прабабушки. Остальные дети во время торжественных речей наконец-то занялись нормальными детскими делами: бегали по дорожкам между могил.

- Во что это они там играют?

- В прятки, небось. Во что еще играть детям на кладбище?

- Ну да, можно так спрятаться, что никто не найдёт.

- И никто не подумает здесь искать.

Потом все поехали выпивать и закусывать.

Дети играли в ресторан на втором этаже, и все взрослые должны были прервать свои занудные разговоры и пообедать в том ресторане. По очереди. Когда настал черед ильичёвского папы, он поступил как классический папа из анекдотов и мемов. Он вернулся оттуда часа через два, неожиданно растрёпанный и очень довольный жизнью.

- Они мне сказали, что прямо за рестораном есть комната отдыха для посетителей, и что там клиент может поспать за дополнительную плату. Ну, я и воспользовался услугой...

2021, октябрь.

*«И не боюсь, что гром уьёт,
Что враг на mine подорвёт,
Боюсь, что кто-то позовёт -
И я растаю...»*

В сентябре у нас месячник дней рождения Ильича-младшего. По еврейскому календарю, по григорианскому, и в ближайшие исходы субботы и праздников. Не, нуачо. У нас в Израиле так принято. Имениннику много раз приятно, остальным тревожно: вдруг упустили поздравить, одарить, или, невроко, сходить на митинг? Для родных, для друзей, для друзей родных, для души, и куда-нибудь пару раз съездить с семьей развлечься. Например, непутёвой тётке как отбили руку на катке в Холоне, так она до сих пор и ноет. А запястье – побаливает.

В общем, Рош ха-Шана решили совместить с одним из дней рождения Ильича-младшего. Который по еврейскому календарю выпадает за несколько дней до Рош ха-Шана.

- Привози сразу подарки, - предупредила ильичёвская мама. - А то мало ли, вдруг локдаун.

Тут надо сказать, что с ильичёвской мамой у нас давно конфликт. Зрел-зрел, да и лопнул. Мы страдаем, ругаемся, рыдаем, жалуемся и считаем друг друга злыднями. Дело в том, что сия неприятная женщина недобаловывает нам Ильичей. И – как будто этого мало! - не позволяет нам добаловывать их своими силами. Вот честное слово, я очень уважаю ильичёвскую маму, она прекрасная женщина, отличная дочь, жена, невестка, мать, гендиректор компании и кулинар по гречке, но – «девочка, ну ёб твою мать!» Непутёвые тётки мучаются и замышляют вселенские каверзы, кои ильичёвская мама пытается жёстко пресекать (ха-ха!). Победителей в этой войне нет, но ведь нет и

повода не вести её, верно? Надо лишь соблюдать технику безопасности.

Короче, непутёвые тётки затарились подарками и поехали в дом брата своего, спецназовца и секретного инженера, на семейный праздник.

Приехали первыми. На кухне царил Ильич-старший. Он яростно сопел и кромсал на кубики сырую морковь. Перед ним стояла огромная миска нарезанных овощей.

- А где все?

- Наверху, переодеваются. Бабушки приедут ещё через полчаса. А я варю суп. Я так решил. А они пусть как хотят. Я им так и сказал.

Решил так решил. Мальчики всегда живут так, как они решили.

Ильичёвские родители уже привычно выбирают свои войны. Ильичёвский папа сказал: «Ладно, делай что хочешь, но - чтоб к ужину и на всю семью!», а ильичёвская мама, как всегда, махнула рукой. И Ильич-старший остался на кухне совершенно один.

Непутёвые тётки украдкой огляделись: не мешает ли кто баловать Ильичей? Горизонт был чист. Тогда непутёвые тётки «одним универсальным движением брови» ликвидировали с кухонного стола весь овощной мусор. Ильич-старший слегка приободрился. И завёл с тёткой учтивый разговор.

- А скажи-ка, тётя... Там, где ты живёшь...

- Да-да?

- Там, где ты живёшь, тебе доводится иногда варить суп?

Непутёвые тётки - весьма загадочные существа из таинственного города Бней-Брака, живут в машине и привозят подарки. Поди знай, что там у них с супами.

- Ну, в принципе, всякое бывает. А что? (Тётки у нас еврейские.)

- А доводится ли тебе иногда резать туда сырой лук?

- Мнэ-э... Да, случается и такое. А почему ты спрашиваешь?

Тут тётке надоело строить из себя светскую даму

- Тебе помочь?

Ильич-старший совсем воспрял духом:

- Да, мне надо почистить и порезать лук и пожарить его вон в той кастрюле, на масле. На плите.

- Там кастрюля с маслом?

- Да, с оливковым. Но оно, наверное, уже сгорело.

- Что?!

- Я про него забыл.

Непутёвые тётки наконец-то поставили в угол сумку, а на стол - противень с печёной картошкой по вкусу ильичевской мамы. Ильич-старший мгновенно протянул им лук, нож и фартук. Потом внимательно следил, как тётки режут лук на кубики тупым ножом, стараясь вслух не материться: на своей кухне наша Галя балована. Свои ножи у неё острые. Те, по которым она молча пляшет, – тоже.

Масло, конечно, никуда не сгорело. Так, слегка побулькало и смирно позолотило лук.

- Дальше я сам! - Ильич-старший отпихнул тётку от плиты.

Что мы можем сказать такому «сыну мудрому»?

- Фасоль в томате добавишь только после того, как картошка сварится, иначе она останется сырой из-за кислого соуса.

Ильич-старший нас услышал. Мы проверяли. Суп получился очень вкусный.

- Этим супом я смог залечить свою психологическую травму! - гордо выступал вечером Ильич-старший.

- Это какую же?

- Вчера папа разделявал сырую курицу. И я заглянул к ней внутрь!

- И что?

- А-а-а! Там такое было! Ужас! Я до сих пор в шоке!

- Малыш, я держу в руках твой реферат по анатомии. Ты схематически изобразил тело человека, нарисовал в нём кости, подписал их и кратко рассказал о каждой. А теперь подумай, как выглядит изнутри всё то, что ты нам тут представил.

- Что-о-о?!

- Ну, вот если мы заглянем в это тело с костями, что мы там увидим? Ту же курицу, но гораздо крупнее.

- А-а? Ой! Зачем ты мне это сказала! А-а-а-а!

Ильич-старший с хохотом умчался забывать всё это мерзкое двуногое-без-перьев. А мясо у них в доме ест ангелоподобный Ильич-младший. Прямо так даже жрет. С аппетитом.

Тут, кстати, сам намытый и благоухающий именинник в белом платье сбежал с лестницы и - нет, уже не взобрался с разбегу на непутёвых тёток. Оказывается, бабушка-кибуцница уже не разрешает Ильичу-младшему карабкаться на тётку, а только на папу:

- Она говорит, что я для тебя уже тяжелая! А я разве тяжелая? Я же пёрышко! - Ильич-младший резво подпрыгивает, поудобнее устраиваясь на непутёвых тётках.

- Да, ты пёрышко! - кряхтят тётки и мысленно возносят хвалы своему тренеру.

- Вот видишь, бабушка?! - громко торжествует Ильич-младший. - Я пёрышко! Тётя подтверждает!

В общем, Ильич-младший просто хвастался новым платьем, туфельками, маникюром и прочими интереснейшими вещами.

В разгар праздника ильичёвской маме позвонили и объявили, что в классе Ильича-старшего нашли "позитивного" мальчика, и заверте...

Ильич-старший радостно завопил, что его наконец-то изолировали, а это значит, что он может отойти от всех подальше и почитать. Ура! Он напялил маску и улизнул в угол с книжкой. Потом так же тихо пробрался наверх, в спальню, и никого к себе не впускал. Эх, нам бы в детстве так! Но карантин назавтра отменили, и лафа закончилась, пришлось идти в школу.

А вот Ильич-младший перед сном затянул в свою спальню и бабушку, и непутёвую тётку. Затребовал и получил себе тройную косичку и прочих игр, и танцев с бубнами, показывал два почти одинаковых алых лака для ногтей и спрашивал, который красивее (мальчики, радуйтесь, что вас там не было). Потом отпустил домой измочаленную бабушку и стал догрызать мозг непутёвым тёткам.

- Тётя, и когда ты уже выйдешь замуж!

- Не уверена, что выйду. Раз до сих пор не вышла.

- А почему ты не вышла?

- Потому что мне, например, не предлагали.

- Совсем никто?

- Из тех, кто меня интересовал, никто. А остальные не считаются.

- А ты сама предлагала?

- Нет. Потому что предлагать должен мужчина. Помнишь, что рассказала сегодня твоя мама? Они с папой жили десять лет вместе, и мама хотела за него замуж, но они поженились только после того, как папа предложил ей выйти за него замуж, и она согласилась, и он подарил ей кольцо. А потом у них родились вы. Такой уж порядок.

- И мне тоже предложат, и я тоже выйду...

- Сперва познакомишься с женихом.

- Ну да, конечно. Но ведь я тоже могу сделать ему предложение!

- Можешь. Только у тебя ничего не получится.

- Но почему?!

- Потому что мальчики умеют ценить только то, чего добились сами.

Тут Ильич-младший как-то странно умолкает, и я бросаю на него тревожный взгляд. У меня так бывает: я что-нибудь скажу, и человек сразу выпадает из диалога. Иногда – навсегда.

Но нет, Ильич-младший просто притих и засмотрелся куда-то внутрь себя.

И кивнул.

И шепотом сказал: «Ага!»

И скорчил очень понимающую рожицу.

Кажется, с мальчиками она уже знакома.

Что ж. Девочки живут так, как у них получается.

«За каждую ее слезу -

Я горло вам перегрызу,

И Бог мне в помощь!»

Странные люди

Всякому человеку всё ж надобна щепотка счастья; без этого жизнь делается пресной, как мыло.

Глеб Кацман, командированный по делам службы с Крайнего Севера в Москву, ощутил наплыв счастья на грозном митинге, на громадной площади в Лужниках, в тесном окружении двухсот или трёхсот тысяч людей. Ему казалось, что каждый человек здесь – звезда, и медленное движение каждого образует нерушимое кружение Вселенной, которое можно разглядеть через трубу телескопа. И это был восторг единства, и это было счастье. Такая прозрачная волна эмоций обрушивалась на Глеба не впервой, не с бухты-барахты: с ним иногда, изредка уже случалось что-то подобное, и, бережно отряхнув самоцветные капли радости, он дожидался нового счастливого вала, надеясь, что этот – не последний. Между этими лучезарными волнами помещалась его повседневная жизнь.

Подростком ему довелось заглянуть в окуляр телескопа, и далёкое, как иной мир, небо вдруг оказалось рядом – рукой подать. Наполненный живыми звёздами ночной небосвод беззвучно дышал и переваливался с боку на бок, и не было ему ни начала, ни конца. Говоря по правде, бесконечность не уместается в ограниченном человеческом сознании, поэтому безграничность распахнувшейся перед ним Вселенной подросток Глеб Кацман отнёс к волшебству, не нуждающемуся ни в каком объяснении. Волшебство сродни радости, оно окрыляет человека, что не характерно для нашей популяции разумных прямоходящих.

Увиденное в окуляре прибора потрясло и озадачило Глеба Кацмана. Вот это да! Восторг охватил прильнувшего к тубусу подростка, он чувствовал себя светящейся летящей пылинкой среди таких же крохотных звёзд. И сладкий ужас бездны его завораживал.

По дороге из Планетария домой, в вагоне метро, он не мог освободиться от этого головокружительного покачивания в сонме звёзд. Труба, направленная вверх – и

распахнута дверь, ведущая в Космос, в колдовскую бесконечность, от которой восторг перехлестывает через край и мороз продирает по коже. Всего-навсего труба, нацеленная в небо! Такую трубу можно установить на балконе или выставить в форточку, и, один глаз зажмурив, с головой окунуться в волшебную стихию.

Уже подходя к своему дому на 2-й Тверской-Ямской, Глеб вдруг споткнулся на чёрном асфальте и застыл, словно бы его кто-то окликнул по имени из вечерних сумерек. Звёздная метелица сверкающего конфетти, только что его окружавшая, застыла в своём движении и поблёлкла, и другая волшебная картина, похожая на первую, беззвучно заняла её место: разноцветные – лазоревые, золотые, рубиновые и изумрудные – изумительные фигуры заполнили поле зрения Глеба. Шестиконечные кристаллы снежинок, треугольники и октаэдры возникли перед ним и составили новое пространство, а сам Глеб стоял в этой праздничной красоте с трубочкой калейдоскопа, поднесённой к лицу.

Эта волшебная палочка занимала в жизни Глеба Кацмана особое место. Впервые он получил такую в подарок ещё ребёнком, увидел в глубине трубки радостный мир красоты и захотел дотянуться до него рукой. Ничего из этого не вышло: калейдоскоп выпал из рук мальчика, ударился об пол, и что-то в нём непоправимо испортилось; прекрасный красочный мир исчез из вида. Глеб плакал, заливался слезами. Не вникая в глубину причины, взрослые утешали его как могли. Заколдованный прибор был мёртв, как камень, и едва ли кто-либо смог бы его вернуть к жизни. Но прочное место в молодой памяти Глеба было ему уже отведено – навсегда, до последней черты, а может и того дальше.

Подойдя в темноте лестничной площадки к своей двери, Глеб нащупал замочную скважину и повернул ключ. Родители средних лет, трудового возраста, пили вечерний чай и не обратили никакого внимания на опаловые октаэдры и коралловые кристаллы, вспыхнувшие в залитой жидким светом кухне, как только сын переступил порог.

- У тебя усталый вид, Глебка, - сказала мама Циля. – Съешь бутерброд с колбасой.

- Ты после школы где был? – спросил Наум Самойлович, папа.

- В Планетарии, - он ответил. – Весь класс водили.

Глебу не хотелось рассказывать, что открылось перед ним в окуляре телескопа – папа с мамой, он был уверен, ничего не поймут из его рассказа, станут возражать, уверяя, что ему всё это просто померещилось, а небо над нашими головами, как известно, создано природою для производства снега и дождя.

Это они, мама с папой, в тощем сорок восьмом году записали новорожденного сына Глебом. Наречь его, в память покойного дедушки, Шмуликом было бы неосмотрительно – послевоенный антисемитизм набирал обороты, евреев не брали на работу и сажали, а Михоэлса задавили грузовиком. Назвать новорожденного Кацмана Иваном – так ведь никто не поверит, что настоящий Иван. Может, Игнат? Или Глеб? Кацман Глеб – звучит немного диковато, зато русей не придумаешь. Тут и комар носа не подточит, имя вполне титульное, еврейскому младенчику жизнь не испортит.

И назвали Глеба Глебом.

А через пять лет грянуло событие незаурядное, не то, что рождение на свет очередного детёныша нашей разумной популяции: на своей Ближней даче Сталин упал на пол и околел. Главный Стрелочник перевёл стрелку, мир перешёл на другую колею. Точка с запятой.

На дворе стояла бедовая пора: после коллективного плача и кровавой давиловки на похоронах усатого корифея всех наук, народ как вжал голову в плечи, так и остался. Никто не знал, что случится завтра: то ли продуктовые карточки введут, то ли конец света наступит. В той ужасной неразберихе евреи тревожились больше всех: слух об их поголовной депортации на Колыму и на Север, вслед за уже благополучно высланными чеченцами, крымскими татарами и немцами Поволжья, обрастал подробностями; колымский маршрут носил кодовое название «Зимняя сказка», а северный – «Белая куропатка».

Цилю и Наума Самойловича никто не погонял, в лагерь не сажал и не увольнял со службы: папа трудился в жилищном управлении инженером-механиком по водоснабжению, мама – врачом-дерматологом в районной поликлинике; их время, несмотря на грозные признаки, ещё не пришло.

Никто почему-то никогда не замечал, чтобы время остановилось и окаменело хотя б на миг; время, как видно, идёт своим путём, мы – своим. А жаль. Растянуть

прекрасное мгновение на две или три позиции – великолепное намерение!

Время с его неразрешимыми вопросами, часовыми стрелками и кукующими ходиками не занимало Глеба. В бесконечном небе не существовало никакого идущего куда-то времени, оно само было – Время, его дух и его форма. И этого было достаточно Глебу Кацману.

Между тем, по замызанной 2-й Тверской-Ямской улице время, в соответствии с общепринятыми представлениями, шагало своим ходом: невольно на него поглядывая, Глеб готовился к экзаменам на школьный аттестат зрелости, а папа с мамой, сидя тихо, как мышки, на втором этаже ветхой трёхэтажки, мечтали о том, чтобы их не уволили с работы и, когда придёт срок, отправили на трудовую пенсию.

После выпускных экзаменов вопрос о завтрашнем дне встал ребром для Глеба Кацмана: он должен был поступать учиться в институт, либо идти призывником в армию на три года. В армию Глеб не хотел, сама идея защиты родины в боях с загнивающим капитализмом или хоть с китайцами представлялась ему отвратительной. Какие бои, какая там защита! Ни одного слова советской власти он не принимал на веру: ни о победе над наглой Америкой по надюю молока, ни о скором наступлении коммунизма с раздачей бесплатных квартир. Таких же взглядов придерживались, накрепко захлопнув рты, и его родители: поверить властям можно было разве что в шутку.

Куда идти учиться – это надо было решать, не откладывая: с каждым днём промедления армейский призыв неотвратимо приближался. Казалось, самым естественным решением было бы поступление в Университет – там, на физмате, учили астрономию. Но вступительные экзамены по физике и математике он наверняка провалил бы: точные науки были ему чужды, он был убеждён, что тригонометрия противоречит геометрии – это, уже не говоря о том, что евреев, назовись они хоть Глебами, хоть Игнатами, брали в МГУ с большим скрипом. И, самое главное, Глеб с негодованием отвергал саму идею научного изучения бездонного неба – Вселенная, как всякое волшебное устройство, была непостижима разумом, никакие человеческие законы там не действовали, а понятие «небесная механика» по отношению к ней звучало кощунственно.

Тем не менее, тянуть с подачей документов в институт было уже нельзя: сроки поджимали, вход в военкомат удручающе зиял. Папа с мамой хором советовали идти в медицинский – профессия малозаметная, подходящая для евреев. Глеб терпеливо выслушивал родительские наставления, но следовать им не собирался: еврейская малозаметность его не привлекала, медицина не интересовала, так что Циля и Наум Самойлович растрачивали липкие слова уговоров впустую.

Решение он принял буквально в последние часы. Выслушав сына, Наум и Циля утратили дар речи: Глеб уезжал ночным поездом в Ленинград поступать в Институт народов Севера. С тем же примерно успехом он мог сообщить папе с мамой, что записался в космонавты и вечером улетает в дальний космос, в один конец. Какой там Север! Какие народы!

Но Глеб был непреклонен. Вечная мерзлота, по его словам, влекла его непреодолимо, а мир обледеневших мамонтов завораживал и манил. Это было необычно для еврейского мальчика и странно; мама Циля, подозревая налёт душевного расстройства, испуганно глядела, сидя за столом, рядышком с Наумом. А Глеб размахивал перед их носом потрёпанной, в бумажном переплёте, книжицей, убеждал и уговаривал:

- Это Тан-Богораз написал! Вы слышали когда-нибудь про такого человека? Тан-Богораз!

Родители не слышали, сидели удручённо.

- Его, на самом деле, Натаном звали, - продолжал витийствовать Глеб. - Натан Богораз. Он был еврей, можете не сомневаться! Его сослали на Крайний Север, он там прожил, во льду, пять лет среди чукчей, и стал их вождём и королём.

Родители молчали, подавленные этой дикой историей.

- Давно его сослали? – озабоченно осведомился Наум Самойлович.

- Ещё при царе, - сказал Глеб. – А после революции он вернулся и открыл Институт народов Севера.

Значит, сел этот Натан до революции, а не после, и это немного подбодрило папу с мамой: если б еврейского чукку сажали чекисты, дело было бы совсем кисло.

Часовые стрелки ползли, вечер заступил на дежурство; на 2-й Тверской-Ямской зажглись фонари. Простились второпях: длинные проводы – лишние слёзы.

Кацманы советскую власть не уважали. Более того: они испытывали к ней устойчивое недоверие и сторонились её, как могли. В партию, разумеется, они и не думали вступать, а Глеб даже исхитрился уклониться от зачисления в комсомол, куда коллективно записали весь его седьмой-«Б» класс. Коротко говоря, Кацманы, все трое, были типичными антисоветскими людьми – тихими и покорными. К русскому бунту, «бессмысленному и беспощадному», они не были приспособлены. И, тем не менее, Наум и Цилия не оставляли надежды на расплывчатые изменения к лучшему. Как выглядит это «лучшее», они плохо себе представляли, но самая прямая дорога в светлое будущее вела за границу, подальше от краснойзвёздной советской родины.

Идеальной целью была Америка, манящая, как волшебная сказка. Подошла бы и Швеция – там, говорят, эмигрантов снабжают всем необходимым, включая жильё и кормовые. Израиль не числился в списке - евреи всё время воюют, кругом одни арабы, и к тому же жара стоит чуть ни круглый год: ни дождя, ни снега. Тому, что пишут в газетах, нельзя верить ни на грош, это же понятно, хотя насчёт войны и окружающих арабов не приходилось сомневаться. Информация супругов Кацманов о большом мире страдала односторонностью из-за дальности расположения и высоты железного занавеса, отграничивавшего сияющий Восток от гнилого Запада.

Ради близкой победы сил мира и добра советские границы были заперты на замок, там и мышка без спецпропуска не прошмыгнула бы, не говоря уже о самодеятельном искателе хорошей жизни – его собаки загрызут либо солдат застрелит из ружья. Единственная слабая надежда выбраться из солнечного мира победившего социализма была на доброго дядю, который уговорит власти отпустить евреев из России на все четыре стороны. Неведомый «дядя», ко всеобщему изумлению, появился после израильской Шестидневной войны: тонюсенький еврейский ручеек решено было выпустить на свободу для мифического воссоединения семей, из гуманитарных соображений. Заподозрить советскую власть в гуманитарных намерениях мог только умалишённый, в придачу глухонемой, поэтому истинные цели кремлёвских вождей и лубянских генералов остались втуне.

Нежданное известие о том, что у Кацманов обнаружили родственников за границей, привело Наума и Цилию в

смятение: наличие заграничной родни не приветствовалось, а живая связь с нею влекла за собой неприятности, вплоть до посадки. Приди такое известие из Израиля – ненужных вопросов не возникло бы: как-никак, все евреи сёстры и братья... Но птичка-восточка прилетела почему-то из Австралии, по дороге сделав остановку и отметившись в Инюрколлегии при Верховном совете СССР. Что говорить, далеко не у всякого еврея найдутся родственники в Австралии! Это, скажем прямо, единичный случай, и тяга к воссоединению семей тут вполне уместна.

На провонявшей бензином 2-й Тверской-Ямской вдруг повеяло вольным тихоокеанским ветром. Под нажимом мужа Циля припомнила, что её двоюродный дед по материнской линии, молодой ещё человек, давным-давно, задолго до появления самой Циля на божий свет, бежал за границу на торговом судне и пропал из семейного кругозора, как в воду канул. Но правду говорят, родная кровь – не водица: безымянный дедушка, а может, его поросль не забыла советских Кацманов, и вот какой-то Джо Кацмэн из австралийского города Порт-Хури возник на горизонте, да не пустого любопытства ради, а с уведомлением о причитающемся далёким родственникам имущественном наследстве.

Великая новость, ничего не скажешь! Первым делом, едва придя в себя от потрясения, Наум и Циля отправились в книжный магазин, купили географическую карту страны кенгуру и принялись искать на ней Порт-Хури. Их поиски, однако, не увенчались успехом: этот Хури почему-то на карте не значился. И где, в каком порту стоит унаследованная Кацманами прогулочная яхта или шумит-дымит их завод, покамест оставалось загадкой.

Как бы то ни было, перспектива объединиться на австралийской земле с загадочным Джо Кацмэном выглядела не безнадежно. Под лежащий камень вода не течёт, это повсюду так, куда ни глянь – хоть в Москве, хоть в Порт-Хури. В Инюрколлегии никто Цилю и Наума Самойловича не ругал и предателями не обзывал, а это непременно случилось бы, надумай они ехать на историческую родину, в Израиль, хоть за наследством, хоть как. Признав родство и сделав, таким образом, первый разведочный шаг на пути к Зелёному континенту, Кацманы отважились и на второй: принялись искать и собирать по госучреждениям всяческие справки-бумажки, удостоверяющие их личность с часа рождения, а также дела давно

минувших дней, выцветшие добела. Поиски плелись медленно, через пень-колоду.

Глеб, процветающий в сибирской тундре, в этнографической экспедиции, получил от папы с мамой письмо с австралийскими новостями. Ответ сына не заставил себя ждать: он желал родителям успеха в их отважном начинании, но сам, следуя чукотской тропой Тана-Богораза, переезжать в Австралию для воссоединения с Джо Кацмэном даже и не думает, а от заморского наследства решительно отказывается. Странный человек Глеб Кацман, в кого только он такой уродился.

Покрытая ранним снегом, как накрахмаленной белой скатертью, Амдерма выглядела почти празднично. Во всяком случае, такой её видел Глеб: рассыпанная вдоль берега Ледовитого океана горстка приземистых одноэтажек, барак аэропорта и бескрайняя тундра с мамонтами в её мёрзлой утробе. И это ещё не всё: тундру, здесь и там, украшали сшитые из шкур островерхие чумы, стада вкусных оленей и сильные собаки, на которых местное население разъезжало без помех. Это народонаселение, состоявшее из тундровых ненцев – неосведомлённые грубые люди называли их «самоеды», или того пуще – «саможратцы», сторонились шлакоблочной Амдермы и задерживались здесь ненадолго, предпочитая ночевать за окраиной посёлка, в снегу. А в посёлок их неостановимо тянула продуктовая лавочка, где они, привязав собачьи нарты к крылечку, отоваривались питьевым спиртом и развесными конфетами-подушечками.

Глеб Кацман, с подъёмом освоивший местное наречие и захваченный сбором и записью ненецких сказок и легенд, довольно-таки мрачноватых, старался, для полного слияния со средой, жить как аборигены. Некоторые специфические особенности ненецкой жизни его отнюдь не смущали: в чуме он привольно себя чувствовал, уплетал сырые олени почки, грыз строганину и даже завёл себе настоящую меховую малицу, украшенную медными монетками и разноцветными стёклышками. Натан Богораз остался бы доволен Глебом Кацманом.

- Не еврейское это дело – на собаках ездить! – увещевал и уговаривал Глеба приятель и сосед по общежитию гляциолог Коля Вантрауб. – На собаках! Что с тобой, Глебка?!

Но Глеб был непреклонен. С нартами он управлялся не хуже каюра – нехитрая наука; верхом на оленях ездил бесстрашно. Хорошо, что мама Циля и папа Наум этого не видели – не поверили бы глазам. Поверили бы, но с большим трудом. А Вантрауб Коля видел совершенно трезвого приятеля в самоедской малице, погоняющего собачью упряжку, и только диву давался: зачем это ему? Понять такое не всякому дано.

Этот Коля был немало повидавший в жизни человек. Три года он провёл на высокогорной гидрометеостанции «Ледник Федченко», на Памире. Не любовь к снежным барсам привела его на пятикилометровую высоту, на самую границу с небесами, а здоровое желание подзаработать за счёт надбавок к зарплате «за дальность», но не только это. Сидение в облаках, на ригеле, в компании с четырьмя коллегами и в полной изоляции от общества наводило на вдумчивые размышления о смысле нашей жизни. Такие размышления не всегда кончаются благополучно: чересчур вдумчивый повар метеостанции захандрил умом, и ночью, тайком, ушёл по леднику вниз, к людям. Идти было не близко, километров шестьдесят до ближайшего кишлака Алтын-Мазар. Ушёл – и пропал. Через три года ледник изрыгнул из своего чрева кирзовый сапог, из которого торчала наружу человеческая кость. Всякий знающий человек сразу сообразил бы, что хозяин сапога провалился в ледяную трещину, его там заклинило, ледник, сползая пластами по ущелью, разодрал человека на части – и вот вам результат: сапог с мослом из голенища...

Коля Вантрауб был таким знающим человеком. Он знал, что валяется на ледяном валуне, на морене.

Глебу было о чём поговорить со сведущим Колей Вантраубом. Сидя посреди снегов, в общезнании, за кургузым кухонным столом – Глеб потягивал крепкий чаёк, Коля попивал сахарный портвейн из гранёного стакана – они вели беседы на возвышенные темы.

- Вот ты учёный человек, у тебя диплом, - отхлебнув из стакана, с удовольствием затевал разговор Коля. – И я своё дело тоже знаю до последней жилочки. А ведь знания не больше, чем набор предположений; только глупый человек этого не видит. Так или не так?

Глеб согласно кивал головой: да, пожалуй, что так. Набор предположений. Ни в чём нельзя быть уверенным.

- Один думает, что дважды два четыре, - продолжал Коля Вантрауб, - а другой – что пять: кто во что верит. Но я тебе как метеоролог скажу: соринка в нутре вихря не определяет ход урагана. Мы думаем, что знаем про всё на свете, а на самом деле ничего не знаем, а только разбираемся.

Коля Вантрауб был русей любого Иванушки, только национальное несовпадение иногда вскипало пеной и давало о себе знать. Своё сидение на Памире он объяснял не погоней за длинным рублём - в Амдерме тоже капали «северные» - а прежде всего горделивым желанием оказаться первым евреем, поднявшимся к верховьям ледника Федченко. Утверждая это, Коля душой не кривил. А Глеба Кацмана почему-то грело, что его сосед Коля – самый первый из евреев, забравшихся на обледенелую крышу мира. Грело и светило – и всё тут, как солнце в прореху облаков. Так устроены евреи, у них племенные связи носят безграничный характер.

- А счастье? – настойчиво выспрашивал Глеб у бывшего Коли Вантрауба. – Счастье – есть?

- Ещё как, - отвечал Коля. – На сто процентов.

- А почему? – нажимал Глеб.

- Потому что мы дышим и живём, - приводил довод Коля Вантрауб. – Бабка моя говорила, покойница: «Горе тому, земля на кому».

- А любовь? – не унимался Глеб Кацман. – Есть или нет?

- Нет, - разводил руками Коля. – Одна привычка, и та дурная.

- А Бог? – спрашивал Глеб.

- Не скажу, - взвешивал ответ Коля. – Не знаю...

Глеб знал, но то было его личное, интимное знание, и делиться им с Колей Вантраубом он не предполагал.

- А я думал, - осторожно возвращался к теме Глеб, - на Памире, на верхотуре, тебе небо видней, и что там за ним...

- Ну да, ну да, - охотно пускался в воспоминания Коля Вантрауб. – Конечно! Как выйдешь из барака, ветрище такой снаружи, что прямо сносит, сдувает к чёртовой матери – только держись за канаты.

- Внизу такого нет? – вникал в суть дела Глеб.

- Такого нету, - отвечал Коля, - даже ничего похожего. И знаешь, почему?

- Ну, почему? – спрашивал Глеб.

- Земля на высоте быстрее крутится, - давал объяснение Коля. – Вот поэтому и ветер сильней. Это ж ясно, и наблюдения подтверждают! Я про это статью даже написал в журнал «Знание – сила».

- И что? – сопереживал Глеб. – Взяли?

- Не взяли, - признавался Коля. – Козлы.

- Ну, ничего, - утешал товарища Глеб Кацман. – Я тоже статью написал, про Золотую Бабу – ненецкое такое божество: сидит Золотая Баба, а в утробе у неё младенец. Пока не печатают...

Ну как из таких расчудесных краёв можно было переезжать к Джо Кацману, в Австралию, где нет в помине ни мамонтов во льду, ни беременной Золотой Бабы, ни Коли Вантрауба, которого усиленным кружением Земли чуть не сдуло невесть куда?

Счастье тревожит воображение людей чаще, чем любовь или даже Бог, с которым прямоходящий ведёт лукавый нескончаемый торг: «Ты мне, я – Тебе». С туманной тягой к счастью младенец, может быть, появляется на свет. Счастье – конец всей нашей суетливой деятельности, серебряный тупик с золотыми воротцами, за которыми открывается рай. Тупик, воротца в нём и несговорчивый, хмурый привратник, не дающий войти.

Счастье то дальше, то ближе, а то и вплотную появляется в поле нашего зрения, манит, дразнит и увлекает за собою, строит забавные рожицы или показывает язык – но никогда не исчезает бесследно. Даже в час отчаяния и беды счастье брезжит вдалеке, только под другим именем – «надежда».

Счастье, вдруг слетевшее письмом с небес, завораживало и вело Цию и Наума Самойловича Кацманов из присутствия в присутствие, от чиновника к чиновнику – по путик запредельному, но в то же время вполне реальному Порт-Хури. Ай да Джо Кацман, чтоб он был здоров! Один лучистый миг, одна неуловимая вспышка – и вся пресная жизнь на 2-й Тверской-Ямской, в понуром ожидании пенсии и дальнейшего захоронения на Востряковском кладбище переворачивается с ног на голову. Играют райские лютни, ангелы поют детскими непорочными голосами. Горизонт, очистившийся от беспроглядных туч, открывает счастливую дорогу в Австралию. Вперёд, заре навстречу!

К тому дело и шло.

Порт-Хури оказался малозаселённым уютным городишкой на восточном побережье Австралии, на океанском берегу. Кацманы получили там по наследству одноэтажный милый домик с камином и палисадником. Отсутствие забора немного удивило новых владельцев, но вскоре выяснилось, что хулиганы и грабители давно перевелись в Порт-Хури, и огораживать домовладение от налётчиков нет нужды. Не менее удивительным оказалось и то, что в Австралии всюду цвело лето, в то время как на 2-й Тверской-Ямской лежал снег, и зимний ветер выдувал тепло из квартир.

Робкие надежды на получение, в придачу к милому домику, яхты или завода, рассеялись как дым сразу по приезду: Джо Кацман, седой старик, через наёмную переводчицу разъяснил новым родственникам, не владевшим местным наречием, их наследственные права – и исчез навсегда. Бог с ним! Наум и Циля как жили без него всю жизнь, так и дальше проживут. Человек – мясо живучее, это ещё в древние времена было отмечено наблюдательными людьми... В Порт-Хури, на акульем берегу, ностальгические воспоминания не тревожили новоприбывших Кацманов, 2-я Тверская-Ямская не снилась им по ночам, и берёзовая роща, где, по свидетельству японцев, всё написано чёрным по белому, не всплывала в их памяти. Привычные тянуть рабочую ляжку, они придумали себе ежедневное занятие по вкусу и по плечу: жарить на продажу русские пирожки с тушёной капустой. И дело пошло!

Они и сейчас их жарят в своём домике с камином, если, по старости годов, ещё не перебрались на тот берег интернациональной реки Леты.

Земля наша, может, и невелика, но не так уж и мала, как представляется иным фантазёрам. Из чукотских мороженных земель, где революционный ссыльный Натан Богораз когда-то королевствовал, и куда, наконец-то, занесло Глеба Кацмана, акулье австралийское побережье со смиренным городком Порт-Хури выглядело чрезвычайно удалённой территорией, почти недостижимой для стороннего человека. Проводив счастливых родителей за моря-океаны, в свободный мир, Глеб обменялся с ними двумя-тремя письмами, а затем связь благополучно засохла и зачахла; случается и так в нашей жизни, а то ещё

и похуже. И это никого не должно возмущать и выводить из себя: каждый, в конце концов, живёт по своим собственным правилам.

В посёлке Уэлен, на чукотском просторе, Глеб чувствовал себя беспривязным человеком. За спиной посёлка лежала, прижавшись к вечной мерзлоте, безмолвная тундра, а перед бараками, стоявшими на вбитых в подземный лёд сваях, бил в берег, как в шаманский бубен, чёрный Ледовитый океан; там проживали съедобные твари – моржи, киты.

Край земли – растяжимое понятие: Земля, говорят, круглая, у неё краёв нет. И, тем не менее, Уэлен не без причины назывался краем земли – сразу за ним, в считанных километрах через морской пролив, начиналась Америка.

Желающих жить на краю земли, на самом восточном клочке русской земли, насчитывалось немного: с полтысячи душ. Чукчи жили здесь по зову души и географической принадлежности, а горстка русских, включая сюда и еврея Кацмана, по служебной обязанности: служили в сберкассе, медпункте, сельпо. Глеб служил исследователем быта и культуры аборигенов; он был единственным научным человеком в Уэлене и его тундровых окрестностях, простиравшихся вплоть до райцентра Анадырь, куда можно было добраться на собачках за трое суток. Монополия Глеба держалась до того дня, когда в августе, на морском буксире «Карл Маркс», гружёном печным углём и пищевыми припасами для сельпо, прибыл в Уэлен Сергей Фролов, физик, с рюкзаком за плечами.

В малолюдые посёлка все знают всех, и заезжих можно сосчитать по пальцам одной руки. Научные люди Глеб и Сергей встретились в кухне пустого, с печным обогревом общежития для одиночек, и обрадовались встрече: мир под полярным серым небом стал полней.

- Я Фролов Сергей, – сказал физик. – Мне здесь у вас комнату дали.

- А я Глеб Кацман, - сказал Глеб. – Тут живу. С приездом!

- Спасибо на добром слове, - серьёзно сказал приезжий и руку протянул для пожатия.

- Так это вы – физик? – спросил Глеб. – О вас весь Уэлен с утра говорит: учёный едет!

- Физик, физик, - улыбнулся во всё лицо Сергей Фролов. – А что?

- Значит, у нас теперь изыскания будут проводить физические? – предположил Глеб.

- Вряд ли... - усомнился Сергей Фролов. – Для общей ясности, если она вообще существует в природе: хоть я и физик, но сюда не поэтому приехал. Я сторожем поступил в сберкассау.

- Да что вы... - запнулся Глеб Кацман. – А я вот чукчами занимаюсь, по стойбищам езжу.

- Здорово! – сказал Сергей. – А ссыльные тут ещё сохранились? В Уэлене?

- Ну, все мы, в своём роде, ссыльные, - сказал Глеб. – Кроме чукчей.

- И чукчи тоже! – не согласился физик. – У нас все ссыльные, весь народ до последней головы; вольных нет, все перевелись.

- А я..? - вздумал было возразить Глеб Кацман.

- И вы! – перебил физик. – И я! Мы думаем, что свободны, раз не сидим за решёткой. Но ведь это, коллега, не более чем воображённая реальность, присущая людям-человекам. Мы сидим под замком, а думаем, что вольны как ветер. Какое приятное заблуждение! Возьмите на заметку, что именно заблуждения направляют ум и спасают от сумасшедшего дома. Правда, не всех...

- Не всех? – переспросил Глеб, увлечённый разговором.

- Не всех, - повторил Сергей Фролов. – Власть решает, кого сажать, а кого не сажать, и публика думает, что так и надо. А почему?

- Почему? – повторил Глеб.

- А потому, - продолжал физик, - что какой-то разумник на самом верху сообразил, в чём загадка славянской души.

- Ну, в чём? – спросил Глеб Кацман, никогда над этим вопросом не задумывавшийся.

- В доверчивости! – дал свой ответ Сергей. – Нам, русакам, что ни наплети в уши – мы поверим, особенно после третьей рюмки. Вот и верим, что на стальной цепи, которая всю страну уже захлестнула, не амбарный замок висит, а тульский пряник.

- Ну, не все же верят... - прикинул Глеб.

- Почти все! – живо возразил Сергей Фролов. – А кто не верит, тот либо сидит, либо сядет – такие властям ни к чему, только под ногами болтаются.

- Я, например, не верю, - сказал Глеб Кацман. – Власть там, - он махнул рукой неопределённо, - а я здесь.

- Вот и я, - сказал Сергей. – Я от этой власти зависеть не желаю и держусь от неё подальше. Вот сюда и заехал, дальше некуда. А сторож или дворник – какая разница?

Они сидели за дощатым столом, друг против друга. Физик вытащил из кармана штанов пригоршню сухого печенья в газетном кульке и положил на голую столешницу.

- Я воду сейчас вскипачу, - сказал Глеб. – Чайку будете?

Так они сидели, неторопливо обмениваясь непременными словами, за столом, в полярном бараке. Глеб не слишком удивился, услышав от своего нового знакомого, что в Москве, после института, он поработал грузчиком в булочной – Сергея тянуло к хлебу, к его райскому запаху и насущному назначению. Грузчик – что с него взять властям? Но трудовой коллектив - коллеги по разгрузке товарных фургонов, налитые жизненным соком торговли за прилавком и старая отёчная кассирша за щёлкающим кассовым аппаратом - тянули и крали всё, до чего могли дотянуться: сахарный песок из мешков, цибики чая, выковыривали орешки и изюм из калорийных булок. А что тут такого? Своё ведь берём, народное! Значит, наше... Сергей не брал, и это было «не по-нашему». Его заподозрили, что донесёт, и выжили из булочной.

- А потом? – спросил Глеб. – После булочной?

- В зоопарке работал, - сказал Сергей. – Клетки чистил, корм зверям задавал. Уволили за антисоветские высказывания.

- Кто донёс-то? – спросил Глеб.

- Посетитель, - сказал физик. – Не львы же с тиграми. Зоопарк, получается, советский, а уборщик антисоветский.

- Да-а... - протянул Глеб Кацман. – У нас тут тоже зоопарк, зверей больше, чем людей. А доносчиков не видеть.

- Люди в клетках сидят, - сказал Сергей Фролов, - вот мы с вами, например, - а звери на воле. Кит на воле, белый медведь, красавец, на воле... А насчёт доносчиков – это вы зря.

- Как так? – удивился Глеб.

- Доносчик для власти первый человек, - сказал физик. – Стукачи – добровольные помощники партии, на них государство наше стоит.

Глеб Кацман промолчал, не найдя возражений.

- Какие помощники, такое и государство, - продолжал Сергей. – Вам счастливый билет выпал, в кои-то веки – убраться отсюда без оглядки, подобра-поздорову.

- А вам? – сказал Глеб. - Никак?

- У нас, русаков, Израиля нет, - посетовал Сергей. – Один Воронеж. Или вот ещё этот Уэлен.

Помолчали, заглядывая в себя.

- У меня «Спидола» есть, на коротких волнах, - доверительно сообщил Глеб Кацман. – Тут никаких глушилок вокруг, слышно без помех. Американцы жали-жали – и дожали: стали евреев выпускать из Союза.

Глеб говорил глухо, чуть слышно, винясь перед Сергеем Фроловым за то, что русским евреям пофартило в Кремле: «Езжайте, постылые! Баба с возу, кобыле легче...»

Снова помолчали, радуясь доверительности, вдруг появившейся.

- Это не от американцев, - продолжил разговор физик. - Выше берите, Глеб Наумович.

Глеб вопросительно вздёрнул брови и уставил взгляд в белёный потолок барака, в тёмное небо над ним и холодную бесконечность, полную звёздами.

- Да, оттуда, - сказал Сергей. – «В Космосе обитает неодушевлённая...»

- «...разумная материя, - перебил и продолжил с подъёмом Глеб, - управляющая процессами Вселенной».

- Именно так, - удовлетворённо сказал физик и ладони свёл в островерхий домик. - Значит, вы книжку Козырева читали. Ай да чукча, ай да Кацман!

- Читал, - подтвердил Глеб. – Самоучкой, конечно: у нас в Институте народов Севера этого не проходили.

- Второй Исход евреев в Землю Обетованную, - сказал Сергей Фролов, - это даже американцам не по плечу было сконструировать и выстроить: план слишком огромен, цель – планетарна; истории поворот. И это при том, что красный фараон пострашней старого, египетского.

- Но ведь выпускают! – возразил Глеб. – Это же факт!

- У всякого факта всегда, по меньшей мере, две стороны, - досадливо поморщился Сергей Фролов, - как два конца у палки, а то и три. Чтобы выпустить евреев, нужно распустить шнурок и прореху приоткрыть, ведущую долой из страны поголовного счастья. За евреями потянутся на Запад другие: немцы Поволжья, например. А потом в пролом и наши русские валом повалят.

Физик сделал паузу, а потом продолжал:

- У меня ведь, Глеб, тоже есть коротковолновик, не у вас одного. Ваш нынешний Исход – гибельный пример для

империи: начало развала. Это тоже факт, хотя и двуликий, как Янус... Согласны?

Глеб Кацман подумал и кивнул.

Когда-то, в давние времена, говорили: «Все дороги ведут в Рим». Может, так оно и было. Потом направления поменялись, стали говорить: «Все дороги ведут в Храм»; тоже возможно. Евреев со всего света дороги ведут в Израиль - если и не на постоянной основе там проживать, добра наживать, то хотя бы, когда пробыёт час назначенный, залечь в землю исторической родины на вечное хранение, среди своих.

Тимна, каменная долина на крайнем Юге, где царь Соломон во времена оны добывал драгоценную медь, отличалась особенной жарой, не убывающей ни в какое время года. Как будто не существовала для легендарных копей мудрого царя ни зима, ни осень, ни весна – а только одно непрерывное лето, добела раскалённое солнцем. Туристы, направляющиеся на берег Красного моря, в роскошные отели Эйлата, высыпали из кондиционированных автобусов поглазеть на знаменитую Тимну, но долго там не задерживались: от такой жары и скорпион облился бы потом.

Почему не востребовавшийся израильским миром специалист по сибирской вечной мерзлоте Глеб Кацман решил ехать в кипящую Тимну и служить там билетёром, сидя в будочке при входе в археологический парк «Копи царя Соломона», однозначно ответить было затруднительно. Зарабатывать на хлеб – это святое, хоть собирая деньги за входные билеты, хоть орудуя по чужим карманам в общественном транспорте. Кормиться надо всем, уж так заведено силовым решением от начала времён, а по нынешней поре прокормиться собирательством, охотой на зверя и ужением рыб вряд ли удастся. Нужны деньги, деньги, деньги! Мир дошёл до ручки с этими деньгами! Новый репатриант средних лет Глеб Кацман мог бы наскрести на прокорм, собирая фиги в лесу, но он предпочёл вариться в будке, в Тимне; это неопровержимый факт, а всякий факт, как утверждал задумчивый физик Сергей Фролов из Уэлена, оснащён, по меньшей мере, двумя сторонами. Одной из этих сторон было неосознанное стремление Глеба к столкновению противоположностей: там лёд – здесь пламень, там мороженный мамонт – здесь юркая сколопендра.

Приезду Глеба Кацмана в Израиль на ПМЖ тоже не одна причина поспособствовала, а сразу две: во-первых, государственные инвестиции в исследования вечной мерзлоты, заключённых в ней мамонтов и проживающих на её поверхности нацменах упали почти до нуля. Оставшиеся чёрствые крошки ассигнований старательно разворовали чиновники, и зарплата Глеба превратилась в дым над трубой. Во-вторых, женитьба на девушке из Анадыря, полчукчанке-полурусской по имени Луиза, поставила молодожёна в трудное положение: не успели сыграть свадьбу и перебраться в утеплённый барак на Уэлене, как молодая жена принялась причитать и лить слёзы, уговаривая и убеждая мужа как можно скорей подать документы на выезд в Израиль, где лимоны с апельсинами растут на дороге, и каждый, кому не лень, может их собирать и даже делать запасы на зиму. А если мужчина будет тянуть и медлить, молодая Луиза соберёт свои вещички, хлопнет дверью барака и пойдёт куда глаза глядят, на все четыре стороны тундры, унося во чреве крохотного Кацмана, растущего не по дням, а по часам. Изнурённый любовью Глеб сердечно жалел свою избранницу, заплутавшую в широком мире между Уэленом и Тель-Авивом, и ни сном ни духом не желал её огорчать. Да ведь надо призадуматься и над будущим младенца Кацмана, собирающегося выбраться на свет из своей норки: что ждёт его здесь, на краю земли?

Сергей Фролов, физик, с ухмылкой наблюдал за семейной драмой своих соседей по бараку.

- Езжай, езжай! - подначивал он Глеба Кацмана. – Пойми: что сегодня разрешено, завтра запретят за милую душу. Так что твоя чукчанка права, она больший сионист, чем ты.

- Это знак свыше, - маялся Глеб Кацман. – Надо ехать!

- Надо, надо! – подгонял физик. – Никто ещё не пожалел, что подал на выезд слишком рано. Жалуют те, кто надумал ехать слишком поздно.

- Я сам на такое бы не решился, - робко возражал Глеб. – Вон, родители сидят в Австралии, зовут – а я об этом даже никогда и не думал.

- Не переживай, - увещевал Сергей. - Решения приходят точно в срок: ни раньше и ни позже. Так устроена наша жизнь. Стрелки, знаешь ли, только на циферблате можно переводить, а больше нигде. Езжай! Может, и я до тебя когда-нибудь доберусь.

- Странно как всё устроено! – сетовал Глеб Кацман. – От нас, строго говоря, вообще ничего не зависит.

- Ну, почти, - соглашался физик. – Мы, Глеб, не играем, а только подыгрываем: ты, я, Луиза... Но ведь ноты-то не у нас.

Глеб Кацман привёз из Уэлена на историческую родину памятный сувенир: сушёную моржовую пипку, похожую на дирижёрскую палочку. А больше в доме Глеба, в посёлке Лев-Амидбар, ничто не напоминало о вечномёрзлом прошлом хозяина. Кроме, разумеется, чукчанки Луизы, благополучно разродившейся в свой час младенцем Биньямином Кацманом.

Сидя в своей раскалённой будке, вид из тесного оконца которой напоминал распахнутый жёлто-коричневый веер, Глеб неторопливо размышлял о метаморфозах, произошедших с Луизой. После беспорядочного пантеона чукотских богов и терафимов строгая стройность еврейской веры привлекла её душу и пленила, она приняла иудаизм, прильнула к нему с соблюдением всех непростых и нелёгких правил. По ходу приобщения к еврейскому племени Луиза получила новое имя – Сара. Глеб только плечами пожал: Сара так Сара... Всё равно сырой китовый язык казался ему куда вкусней кошерного субботнего чолнта. Но киты не водились в окрестностях «Копей царя Соломона».

Странно всё складывалось в поле зрения Глеба Кацмана – и в прошлом, и теперь. Странно, но к лучшему. Сидя в будке, Глеб перебирал в памяти людей, встреченных им на пути от 2-й Тверской-Ямской до Лев-Амидбар. И так почему-то получалось, что запомнились ему прежде всего те, что видели всё вокруг в негативном ужасном свете: «мороз – ужас, солнце – беда, ночь – мученье, день – проклятый, зарплата грошовая, мясо жёсткое, яблоки червивые». Сами хулители тут ни при чём: такое у них случилось устройство души. Но встречались и милые люди, милейшие – они всё на свете любят и расхваливают: и яблоки, и груши... В Тимне с пеною у рта проклянут не жилистое мясо и не палящее солнце, а политических противников: правые – левых, левые – правых. И это тоже странно: страна одна, а народов как бы два. Зачем, почему? И всё же, скрежеща зубами в пустыне, уживаются и эти право-левые, и милые с сердитыми. А ведь могли бы и накинуться друг на друга, зарезать или задушить. Но что-то их удерживает от кровопролития на

краю пропасти, непонятно что и неизвестно откуда взявшееся – не сверху и не снизу, не справа и не слева, а явившееся без обратного адреса, извне, из бесконечности, празднично расцвеченной фонариками звёзд.

Странные люди, рядом с которыми чукчи и ненцы на своих ездовых собачках кажутся выпускниками университетов Лиги плюща! И всё это несообразие и нелепица уживаются под разноцветными небесами, и непостижимый мир жив и дышит, и Земля, переливаясь голубым и зелёным, как хрустальный шарик на ветке праздничной новогодней ёлки, покачивается в пространстве.

Время, извиваясь, текло себе мимо, Приближающийся миллениум завораживал своими нулями. Чукчанка Сара варила чолнт и молилась в синагоге, а маленький Бени Кацман ходил в детский сад и ни слова не говорил по-русски – иврит был для него родным языком.

Сидя в своей будке, Глеб разглядывал через амбразуру оконца библейский жёлто-коричневый пейзаж и видел на подъездной дороге нарядные автобусы, высаживающие туристов у входа в медный парк царя Соломона. Глеб вглядывался с пристрастием, высматривая среди стаек приезжих появления друга своего Сергея Фролова, понимающего толк в странностях: вдруг удалось ему вырваться из Уэлена и добраться до Святой Земли! Но физик покамест не появлялся.

Глебу оставалось только одно: ожидание, основное людское занятие. Он и ждал терпеливо, калясь в билетёрской будке, разглядывая туристов и повторяя про себя слышанное то ли в Уэлене, то ли в Амдерме: «Ты жарь, жарь! А рыба – будет».

Может, и будет: надежда умирает предпоследней.

Странные люди! Из нас состоит весь мир, и что для одного странность, для другого - в самый раз.

Рецепты

Литовский борщ

Рецепт литовского холодного свекольного борща очень прост, проще мясного украинско-расейского сородича, хоть и имеет в своем составе общее - свеклу. Правильно маринованной свеклы у нас почти не найти, потому придется брать свежую, но ни в коем случае не ту, что из супермаркетов и прочих обезличенных каменных джунглей; нужно спрашивать в овощных ларьках, с землицей, которую не смыть целиком, и она, земля эта, осядет в кастрюле на дне черной кашицей под красноватыми разводами, когда сольешь воду с уже сваренных овощей.

Такая свекла есть в соседнем ларьке, ее туда приносит бабушка из маленького покосившегося деревянного дома неподалеку и сдает, как раньше говорили, «на реализацию», но на самом деле, кажется, тамошний продавец отдает ей все вырученные деньги, без своих процентов. На это ничего ему не говорит против даже Селим, хозяин ларька и трех громадных складов на овощной базе. Я у него работал тайком от семьи, когда уже был редактором журнала: жить было голодно, а Селим заворачивал мне каждый вечер с собой три-четыре яблока, картошку побелее (в детстве, на Алтае, у нас ценился тот сорт, что красный: картофелины были багрово-огромные, белесые внутри, сахаристо разваливаясь после варки и пахуче темнея от подсолнечного масла), даже когда с деньгами было плохо у него самого. Он говорит, что я - «челаэк», до сих пор называет меня Умником - такая у меня была бригадирская кличка на базе. И теперь Селим молчит, когда его продавец торгует бабушкиной свеклой мимо кассы, потому что Селим - тоже человек.

Еще в холодный литовский борщ идут огурцы - конечно, сейчас, зимой, из тех, про которые рассказывают пошлые анекдоты: здоровенные и чуть подрагивающие, когда их качнешь, такие они огромные. Пупырчатых и настоящих ждать аж до лета, их вкуснее всего было срывать и есть прямо на огороде, чиркнув о штаны кожурой, чтобы сбить

острые иголки: попадались пупырки такие ершистые, что можно было больно уколоть губу. А если показавшийся достойным экземпляр был грязным после дождя и пробежавшего по грядке табуна друзей младшего брата-дошкольника, то надо было отогнуть в заборе дырку, чтобы не возвращаться домой, и сполоснуть огурец в Тараканке, речке, протекающей через зады пивкомбината, потому распространяющей вокруг себя хлебный, если повезет, запах - и огурцы, руки и волосы потом еще долго пахли пивом.

А еще в литовском борще нужны вареные яйца, и можно, конечно, изобразить изыски и накрошить, чертыхаясь и луща, перепелиные, но лучше всего отыскать гусиные, в ладонь размером, да взять хотя бы у моего друга-фермера Кости, когда он обновит маточное гусиное стадо. Казалось бы, подумашь, велика ли разница между ними, куриными или гусиными яйцами, но не скажи-и-ите: тут как раз и получается, что вроде бы ничего такого, а у гусей выходит вкуснее и запашистее. У меня, конечно, в холодильнике яйца самые обычные, из первой категории, по семьдесят или семьдесят пять рублей, уже забыл, хотя еще лет пять назад помнил все цены на продукты, от хлеба до яиц и масла, как и на самые необходимые лекарства. Так, увы, помнят все ценники до копейки пенсионеры и матери-одиночки, ну и нищие писатели-редакторы тоже с народом, куда ж без нас.

У меня про те непростые времена была крошечная зарисовка «Шов» — про людей, про гололед, про аптеку, где суетливо скидываются на недорогое «простудное» лекарство (кажется, тогда постеснялся написать, что это скидывался я сам), и там была пропахшая одиночеством бабушка, услышавшая, что с моей загрипповавшей Сашкой лежит, обнявшись, теща, и вздохнувшая, что она бы тоже обняла внучку сейчас, — а на старом пальто у старушки на спине разошелся шов.

Для холодного борща нужна зелень, и я давно собираюсь завести на подоконнике собственный огородик с зеленью — укропом, луком, тимьяном, но все никак не решусь, да и садовод из меня не очень, у меня так и не выздоровела даже подаренная одним хорошим человеком фиалка, и теперь после него, человека этого, ничего не осталось, кроме пугливых сообщений в телефоне и прощания.

Можно, говорят, положить в борщ лимон или даже чеснок, но от лимона я бы воздержался, если только это не что-то личное. Было у нас, уже после многолетних теснений в бараках, когда поселились в просторном частном доме, свое лимонное дерево, выросшее — «как настоящее!» — из лимонной косточки. Нам говорили, что его нужно прививать, и тогда оно даст плоды пораньше, года через три, но мы решили подождать, и дерево расцвело и разжелтилось тремя лимончиками, пахучими и душистыми, а потом, через год, еще десятком. А после я уехал в универ, и мама мне туда присылала молотый с сахаром кислючий мировой закусон, предназначавшийся для чая, но использовавшийся, конечно, совсем иначе — и эта вкуснятина была с того самого нашего дерева. Потом, когда мама заболела, такую закуску делала мне сестра, а последняя баночка маминых консервов стоит у меня в холодильнике уже третий год, и я никак не решаюсь открыть ее.

Чеснок имеет право на место в литовском холодном борще, но чеснок должен быть из земли, настоящим, не китайской растрескавшейся имитацией с запахом высушенной спермы, а с настоящим чесночным духом, который не выветрит никакими жвачками и которого лучше избежать, если у вас, как у меня, есть планы на вечер.

Ну и, конечно же, еще нужен кефир со сметаной... Когда-то я любил кефир из торгового центра в Академгородке. Нигде такого кислого и резкого кефира не было, ни в одном магазине, и когда устроился туда грузчиком, то понял причину этой эксклюзивности: в те времена на крышках из мягкой фольги ставилась не дата, а день недели, когда был произведен молочный продукт. У кисломолочки срок реализации был всего сутки или двое, и непроданные бутылки с надписью «вторник» загоняли подальше на склад, а через неделю, когда вновь наступал условный «вторник», выкатывали в торговый зал — и кефир от этого, честно говоря, становился только лучше, но не факт, что полезнее.

Сметана же была первым продуктом, о подорожании которого я узнал после отпуска цен сразу после новогодних праздников наступившего 1992 года. Мы с прилетевшей в гости будущей благоверной ехали в автобусе 3 января, и пенсионерки, обмирая, шептались, что сметана, стоившая до того невеликие рубли, стала обходиться в какие-то

несусветные десятки тех же, только враз подешевевших рублей.

Мы тогда зашли в универсам на Ленина, взяли без всякой очереди и давки две бутылки пива, что еще за несколько дней до того было нереально, и пошли домой, в старую «сталинку» на Бурденко, где почти четырехметровая елка была скотчем примотана к телевизору, за неимением специальной подставки. На кухне остался недопитым «Рижский бальзам», показавшийся тогда слишком вонючим, а ночью задержался самолет, и мы взяли такси и летели из аэропорта через буран домой, чтобы успеть побыть наедине еще полчаса-час, и никто из нас не знал, что в следующий раз такое повторится только через пять лет. А я все эти пять лет не выбрасывал недопитый бальзам и почти не плакал, обнаруживая в старом диване хвою еще с той самой, первой нашей елки - она тогда простояла дома до самого моего дня рождения, осыпавшись только в марте, — мне почему-то не хотелось ее убирать до самого конца, будто вместе с ней пришлось бы выбросить и мечты о повторении того счастья.

Мой литовский борщ, настоявшийся за ночь в холодильнике, благоверная не ест, как и любые другие супы, но я не возражаю - мне больше достанется; не любит его и Сашка.

У нас теперь есть Сашка.

Шов

В аптеке старушка передо мной спрашивает у девочки в белом халате «что-нибудь для сна». Заморские капли и сиропы для нее дороги, остается только валерьянка.

Я зачем-то говорю, что у меня теща заваривает на ночь полкружки пустырника — и спит потом крепко, даже внучка ее не будит, когда к утру начинает крутиться, воевать с котом на подушке и обнимать бабушку.

А старушка как-то грустно-грустно на меня посмотрела и говорит:

— С внучкой и я бы спала безо всякого пустырника крепко-прекрепко...

Вздыхнула и повернулась к аптечному окошку.

Я смотрю, а у нее на пальто сзади шов разошелся.

И некому сказать.

Харчо

Ты вот что с харчо сделай — ты первым делом наплюй на рецепты и готовь так, чтобы не волновало их соблюдение. Как наплевать?.. Да вот так, просто наплюй — и все, ни к чему тебе заморачиваться чужим опытом, на кухне это не самое главное, тут душа важнее, ну, кроме мелочей, понятно, которые у бабушки или мамы подглядел, вроде яблока или луковицы, которыми сковородку для блинов смазывают — я вот сначала пытался бинтиком вилку обматывать, в масле подсолнечном смачивать, так и мазал, пока бабушка не увидела и балбесиной не обозвала. А в том же харчо, если все делать по «официальному» рецепту, слишком много риса и маловато мяса, а я бы сделал — и делаю! — наоборот.

Ну, так вот... Берешь средне-большую кастрюлю, литра на три. Наливаешь туда воды пару литров или даже два с половиной, холодной воды только, а не кипятка какого, упаси боже. Режешь говядину (грудинку или любую мясистую часть) на большие куски, только промой мясо — там косточки могут встречаться после рубки.

Я в детстве любил с батей мясо разделявать, это ж целый процесс был: вытаскиваешь специальный чурбанчик на улицу, расчищаешь там все вокруг, обкладываешь холстовиной или газетами, чтобы собрать, если разлетится, хотя снег вокруг чистейший, так что не страшно. Потом, значит, мешок тащишь со всеми делами — с ребрышками, рульками-ножками-лытками, с шейкой и лопатками. Батя спрашивает:

— Ничего не забыли?

Вроде ничего... Ножи наточены, но брусок с собой; топор старый, правленный, но годный, тазик под вырубку готов — ну все, давай уже... Кладешь ребрышки «горбом»-выгибом вниз, иначе спружинят, батя хрястнет топориком — готово, двигай их ниже, чтобы всю грудину порубить. Потом лопатка — та, конечно, труднее дается. Потом с ребер кое-где мясо снять, если лишнее, а уж если курица в мешке осталась — ту я сам разделяваю, хотя не умел как надо, конечно, это уж позже, на черепановском птичнике научили. Там ведь как — если лишний раз чикнул ножичком не там, то время потерял, а конвейер же, несколько центнеров за час через тебя проходит, не до ошибок. Настоящие мясники — это вообще отдельная каста, между прочим. Вот в ТЦ на Ильича был мастер — всем мастерам пример, я у него

учился, на подхвате был, но любо-дорого на работу его было посмотреть — не веганам, конечно, для тех какое удовольствие, ну и не для тех еще, кто скот забивает, а сам мясо не ест — для них это всего лишь работа, не более. Читал, небось, у меня про соседа моего по баракам, мясника-людоеда, который с зоны ушел с двумя лихоимцами, «телком» его взявшими, сожрать они его хотели в голодной весенней тайге, да вышел-то к железке он один, — вот после того и не ел он больше мяса, хотя забивал у нас в округе всех свинок и бычков, да-а...

Ну ладно, смотри дальше: мясо кладешь в холодную воду, после закипания (тольконими пенку, не забудь!) варишь пару часов на умеренном огне. Увариваешь так, чтобы готовое мясо можно было разломить даже ложкой, но, чтобы при этом оно еще не выварилось в ноль, в волокна — нужно аромат его сохранить. Дальше, имей в виду, обычно советуют бульон процедить — я не цежу, мне плевать, я этого не понимаю — чего его цедить, зачем. Мама у меня никогда не цедила и меня этому не учила, а вот всему остальному научила — будто знала, что долго мне одному куковать. Нас ведь трое детей было, я старший, мама на смену уходила, батя с утра тоже в делах, на обед только появлялся да вечером, если не в командировке. И мама мне сначала наказывала доварить с полчаса борщ, потом просила в конце бросить зелени там или чеснока, через пару месяцев такой «практики» уже говорила, что мясо сварилось, вот тебе поструганные картошка-моркошка и прочее, сыпь минут через десять по очереди, только кислую капусту перед картошкой не стоит. А потом и вовсе оставляла всех на меня — сваргань, мол, младшим и отцу что-нибудь, мясо в морозилке, картоха в погребе, морковка в мешке в кладовке. Так и научился, в общаге-то в универе на всех и готовил, сроду мы не голодали, я с курицы успевал и суп сделать, и потушить мясо, и рагу там или что сварганить — на всю банду и хватало. Да и после, когда женился, я чаще готовил — жена-то молодая одна в семье была, там у них мама всегда кашеварила, так что моя училась поначалу, по маминым записям в граммах и миллилитрах боялась ошибиться, уж потом привыкла на глазок готовить, как все, но до сих пор не любит это дело, для нее прямо праздник, когда одна остается и может бутербродами-паштетами перебиваться пару недель, пока я по Парижам мотаюсь...

Смотри теперь: пока добулькивает, обжариваешь лук (если любишь — много его не бывает, минимум пять луковиц средних), в бульон вываливаешь, а с ним и рис — полстакана, не стоит больше, как того советуют те самые «официальные» рецепты. Поверь, излишества рисовые в супе не слишком нужны, лучше оторвись на мясе или на чем другом. Кстати, тут на днях услышал от подруги про рис в рассольнике — оригинально, никогда так не делал, надо попробовать. Почему сама меня не накормит? Ну, не знаю... просто не получается пока. Всегда было приятно, когда женщины чем-то вкусеньким угощали, но готовить приходилось чаще самому для них, хотя однажды меня кашей накормили, которую давно хотел, овсяной, с малиной, хоть и не домашней, а из дорогого кафе. Я, правда, когда про кашу-то упоминал-намекал даме, имел в виду, что на завтрак накормят меня, когда проснусь... проснемся. Но обхитрили — просто сводили в кафе, без просыпания, а это же профанация...

Если не надеешься на развесной рис — не переживай, клади в пакетиках, потом их порвешь-разрежешь, так что не потакай эстетам — мол, только правильный рис вон от того продавца на рынке можно брать, а все эти пакетики-коробочки — они от лукавого; неправда это, так обычно говорят те, кто больше ничего делать не умеет, кроме паршивого плова, который и пловом-то назвать нельзя. Мама, пожив в Ташкенте, мне говорила, что разваренный плов — это шавля, так в Узбекистане его называют, ну вот пусть эти шавлеманы и не лезут в твой харчо, даже ментально...

Ага, так... Вот на этом этапе посоли, пожалуй, только уже сам прикидывай, сколько же нужно соли. Не переусердствуй — там еще плюсом кислинка будет, а с ней блюдо кажется солонее, чем есть на самом деле. Лучше в конце добавишь соли, если мало будет.

Рис вообще-то варится двадцать минут. Но через десять минут после начала его варки положи в бульон корень петрушки, семена кориандра, лавровый лист и раздавленные в труху горошины черного перца — штук десять или пятнадцать горошин, смотря чем сердце успокоится; я-то люблю побольше перца, но тоже не всегда, только когда хочется перебить во рту и в душе что-то запершившее, острым перебить, чтобы аж плакать захотелось от перца того, так что не жалей его.

После этого пять минут неторопливо поработай толкушкой: в какой-нибудь удобной миске растолки полстакана или чуть больше грецких орехов. Я и стакан себе толоч: орехи-то люблю, мечтаю попробовать их с дерева, в Грузии или Абхазии, молодыми еще — вот ровно такими, от которых пьянеют и с ума сходят, как Искандер в «Сандро» писал. А ты знаешь, кстати, что мы с ним встречались?.. О-о, расскажу когда-нибудь!.. А в Абхазию меня один товарищ звал, Миша, у них он Мшвагу — «храброе сердце». Дом у меня там, говорит, родительский дом, только все никак не могу туда вернуться, решиться на это не могу. Я думал, что понимал его — мне тоже не хотелось в родительский дом возвращаться, да и нет его уже, другие люди там живут. А оказалось, что Миша из-за войны уехал, дядя его тут у нас приютил, брат отца. А про своего отца он ничего не знал — знал, что нет его больше, конечно, но что и как — боялся узнать. И однажды говорит: ты же в интернете понимаешь все (а он сам такой старорежимный был, даже смартфон не покупал, кнопочным телефоном пользовался), посмотри там папу моего, братиков, племянников — что о них пишут, что стало с ними. Я стал искать — и нашел, почти сразу нашел, там кто-то дневники выложил с той их войны, где бывшие соседи делили воду, небо и землю. И там про папу Миши, про племянников такое было написано, что не хочу вспоминать — и не знал, как сказать «храброму сердцу», отнекивался долго, говорил, что в этом интернете всякая ерунда только. Но рассказать пришлось — как издевались над ними, как убивали и глумились...

Так мы с Мишей и не съездили в Абхазию, не смог он после всего этого, тут остался и прижился — валенками занимался, между прочим, на самой старой фабрике города валял пимы, а пенсионерам всего своего дома подарил такие укороченные валенки, «чушки» называются — чтобы по дому ходить, когда в старости ноги мерзнут. Отцу, говорит, очень бы понравилось, щиколотки у него мерзли вечно, говорит, возраст — Миша-то у них младший был.

В общем, прямо в труху столчи все орехи, не щади. Тут фишка в том, что, если орехи не столкнутся в порошок, они за оставшееся время не уварятся, будут кусочками хрустеть — это терпимо, но зачем тебе эта маета.

Вот теперь у тебя с момента начала варки риса прошло пятнадцать минут, самое то, потому клади истолченные орехи в бульон и слушай дальше.

Тклапи, необходимой в харчо, у тебя нет — это сушеная слива такая, вернее высушенное пюре из нее, очень правильная вещь для харчо, но не будем о грустном, а ткемали дороговата, она есть в универсаме на Ленина, например, или на рынке, но то и другое можно заменить обычной томатной пастой и четвертинкой лимона (косточки из него только выковыривай — попадутся еще в ложке, горькие, фу!). Пасты не желей — минимум двести граммов можно положить, но ее много тут не бывает, так что не надо бояться переборщить. Из пряностей в эту закладку сыпани зелень петрушки (вот в салатах ее не люблю, а в супах — за милую душу пользую), хмели-сунели, красный перец, корицу, имеретинский шафран, желтовато-солнечный такой. Последнего немного клади, он специфический привкус имеет.

Дальше варишь на том же медленном огне пять минут (итого, заметь, рис проварится двадцать минут, как и положено ему), потом проверяешь на солонатовость, добавляешь соли, если надо, кладешь в получившееся толченый в давешней миске чеснок, лучше местный, не китайский — мне тут друг привозил в конце осени из деревни, так я разницу ощутил сразу же: там и аромат другой, и вообще; штук пять крупных зубчиков, зелень кинзы. Кинза, правда, не всем по душе, но я считаю ее тут необходимой и однозначно незаменимой. Но если хочется — хорошо, выбрось... и навлеки на себя гнев кулинаров.

Еще добавить базилика и настаивай без огня хотя бы минут десять, если терпения хватит. С борщом или щами я всегда так делаю: заворачиваю плотно в газеты, в несколько слоев, потом в одеяло, и куль этот стоит — как в русской печи — часа полтора-два, а щи и того дольше. Это меня так бабушка научила, а потом мама напомнила, когда бабушку хоронили. Правда, сейчас с газетами проблема — нет их в доме, раньше-то обязательно брал поутру «Спорт-экспресс», «Коммерсант», «Ведомости». Когда денег не было (и такое случалось, что газеты были не по карману, зарплаты-то в госжурнале не аховые, да и те тогдашний глава департамента массовых, эти их, коммуникаций, бывший владелец заводов-пароходов-радиостанций, не выдавал в срок, да и сейчас вот, смотри-ка, на дворе девятнадцатое, а авансом нас так и не порадовали, хотя какой там аванс — девяносто, не поверишь, евро на руки, ну и в зарплату потом еще столько же иль чуть больше, вот и процветай расейская литература опосля года, в ейную

честь названного), киоскерша мне в долг газеты записывала — хорошая женщина, самой тяжело жилось, а других успевала понимать. Дочку вот недавно замуж выдала, за хорошего человека отдала — он где-то в Ярославле, что ли, делает на детские площадки разные горки и украшения — просто так, задарма, потому что человек такой. Киоскерша смеется — невеста, говорит, в веснушках вся, жених ее в веснушках, рыжий, так что и дочка у них — девочка, говорят, народится весной — тоже веснушчатая будет, там же какие-то гены или гомозиготы, не помню я эту биологию, у нас биолог был военруком, а химик пил вечно, так что ничего со школьного курса не помню из биологии и химии.

Про ингредиенты отдельно тебе скажу: все они — дело вкуса, переусердствовать ни с чем нельзя, кроме шафрана, пожалуй. Главное, чтобы в харчо была томатная паста, раз нет ткемали, мясо, рис и кинза — это основа. Остальное — как бог на душу положит, можешь заменять чем угодно.

В тарелку, когда накладывать будешь, можно положить сметану — тем, кто любит именно так. Ну и свежую зелень, конечно, как без нее.

Так что вот тебе рецепт, пользуйся: как рефлексия какая одолеет, как приспичит в омут головой или еще дурь какая придумается — займись готовкой, поверь, она отвлекает лучше всего, особенно супы и блины — на тех и вовсе не будет времени на переживания, только успевай смазывать, разливать, снимать, переворачивать, снова смазывать — и так по кругу, когда, как у меня, на двух или трех сковородах печется. Бабушка любила блины печь, чтобы горячими мы лопали, а мама — совсем нет, ей обидно было, когда все блины с пылу с жару сметаем из блюда втроем, не видно красивой стопки из напеченного. А я в бабушку — если пеку, то чтобы сразу едокам на тарелки. Раньше-то чаще пек — вот как раз потому, что дурные мысли за печением блинов уходят все до одной, верное средство, не сумлевайся. Сейчас и мысли посветлее, и вообще как-то наладилось...

Ну а если совсем уж неважно будет — клади перца побольше, пробуй — и плачь: если кто и увидит, то признаешься, что с острым переборщил. А если скажут, что, мол, мужчины не плачут — не слушай: еще как плачут — и под харчо, и под солянку, и даже под блины — хоть в двадцать, хоть в тридцать, хоть даже и в тридцать пять.

Я вот только в пятьдесят научился.

Заноза

Лесорубы, как опытные пехотинцы, по гусянке забрались на броню вездехода, закрепились по надёжнее и приготовились к броску на поле боя. От просеки до делянки трястись семь километров по бездорожью, по почти девственной и непроходимой тайге.

Вездеход зарычал, как настоящий танк, выпустил изрядный клуб чёрного дыма и резко рванул с места, наматывая на гусеницы тяжёлые километры, первые желтые листья, вперемешку с зелёной травой и грязь дождливого августа.

Володя Петров, новичок в бригаде лесорубов, с ошалелыми глазами вертел головой, впитывая пейзажи надвигающейся осени, и втягивал в себя чистый воздух, не замечая его промозглости. По своей натуре он считался, конечно, философом, а по мироощущению, - настоящим гринписовцем. Володя беззаветно любил природу: зверей, птиц, насекомых, в общем, боготворил всё живое. После окончания сельской школы он трижды поступал в Томский Государственный Университет на биолого-почвенный факультет, но ему каждый раз - то не хватало одного-двух баллов, то возникал какой-нибудь форс-мажор. Резонно решив, что университет никуда не денется, и чтобы из "ботаника", наконец, стать мужчиной, - Володя устроился в родной леспромхоз, в бригаду лесорубов, вальщиком леса второго разряда.

Из гипнотического состояния, в котором находился созерцающий природу будущий биолог Владимир Петров, его вывел грубый голос бригадира дяди Саши. Пытаясь перекричать рёв "танка", Александр Павлович Рублёв, он же дядя Саша, громко рявкнул:

- Слышь, Вовчик, давай щас без выи..нов, ху..шь лес, как все, а то мы из-за тебя, уё..ка, без ё..ной премии останемся. Ты врубился?

Больше всего на свете дядя Саша любил две вещи: беспощадно валить девственный лес и смачно материться по поводу и без. По своей безграмотности и дремучести души он, конечно, не знал, кто такой Рублёв, поэтому искренне считал, что его предназначение на этой земле

проистекает от фамилии; то есть - рубить деревья, чем больше, тем лучше.

Что касается второй его любимой вещи, то он считался матерщинником непревзойдённым, "Шнур", он же С. Шнуров, просто отдыхает и корчится в конвульсиях от зависти. Все помнят, как однажды на деревенской свадьбе, изрядно накушавшись самогонки, дядя Саша выдал спич во славу брачующихся, аж на десять минут, причём единственными приличными словами в его тосте оказались имена жениха и невесты.

...По лесной глухомани пробирались молча: кто-то дремал, не обращая внимания на кочки, кто-то курил, думая о своём, кто-то болел с похмелья, чертыхаясь на каждом ухабе. Когда вездеход, наконец, остановился на опушке, все "пехотинцы" дружно прыгнули на мокрую траву. Володя последовал за всеми. Очутившись на твёрдой земле, он огляделся и окаменел от увиденного. Перед его возбуждённым взором предстал сказочный сосновый бор: одинаковые стройные деревья, как огромные карандаши, ровной шеренгой выстроились в ряд; такой лес называют "корабельным".

Совершенно невозможно отвести глаза от этой величественной красоты, могущества, изящества, рождённого природой. Он сглотнул липкую слюну, глубоко вздохнул кислородного дурмана и обратился к бригадиру:

- Смотрите, дядя Саша, какая красота, а мы её сейчас - под корень.

Дядя Саша, мельком взглянув на чудесный бор, хмуро заметил:

- Вовчик, это не лес, это ё..ные кубометры деловой, ё..ной древесины, между прочим, твоя ё..ная квартальная премия и месячная зарплата тоже.

Володя нервно дёрнул головой и произнёс с грустью в голосе:

- Тёмный вы человек, товарищ Рублёв. А мысли у вас только о деньгах.

Бригадир сплюнул сквозь зубы, нахмурил брови и грубо ответил:

- А ты, Вовчик, за каким х..ем к нам припёрся, катился бы в ё..ные лесники и сторожил бы ё..ный лес от таких гадов, как мы.

На эти обидные слова Володя никак не отреагировал, резко выдернул бензопилу из брюха вездехода и молча поплёлся в сосновый бор.

Надо сказать, что деревья он пилил предельно осторожно и аккуратно, чтобы не поломать кустарник, не погубить молодняк, сохранить муравейники. Конечно, на такую ювелирную работу уходило гораздо больше времени, чем у других лесорубов; по этой причине, бригадир всегда ворчал и был недоволен. Однако в глубине души дядя Саша понимал, что такой сердобольный человек, как Вовчик, в бригаде нужен. Остальные лесорубы глядели на Володю и старались, по мере возможности, тоже беречь молодые деревья, считая себя при этом не последними сволочами.

Бригадир первым завёл свою "Дружбу" и громко крикнул:

- Ну, мужики, мать её за ногу, вперёд и с песней! Дадим стране больше дров и пиломатериала!

Через неделю к делянке, по дороге, проложенной вездеходом, пробились первые лесовозы и погрузчики. Двадцатиметровые сосны, распиленные на несколько частей, укладывали на лесовозы ровненько, как ручки и карандаши в школьный пенал. А бригада номер два под руководством матёрого матерщинника дяди Саши выдвинулась на новое поле битвы, в борьбе за новые кубометры.

Пока водители лесовозов стояли и курили в сторонке, погрузчики, как бы играючи, загружали брёвна, стропальщики укладывали их одно к одному и крепили толстыми цепями, чтобы не рассыпались по дороге. Короче, шла обычная, но спешная работа. В обязанности стропальщиков входила проверка всех звеньев крепёжных цепей, однако при таком аврале они, конечно, ничего не проверили, надеясь на русский авось. Как это часто бывает, русский авось не помог. Одно звено лопнуло и держалось буквально на соплях, до первой серьёзной тряски.

Водитель лесовоза для порядка обошёл вокруг машины, как обычно, попинал колёса, лихо прыгнул в кабину и не спеша двинулся по лесной хляби. Старенький «ЗИЛ», преодолевая непролазную грязь, покачиваясь из стороны в сторону, направился из пункта А в пункт Б. Пунктом Б в данной задаче значился лесоперерабатывающий комбинат на одной из окраин Томска.

...Конец августа. Мелкий, морозящий, гнилой дождь плачет с угрюмого неба, портя настроение, делая дорогу опасной и напрягая водителей.

Мы: я, моя жена Лариса и пятилетний сын Саня возвращаемся домой после почти двухмесячного отпуска,

проведённого на университетской базе отдыха. Междугородняя трасса перегружена: рейсовые автобусы доставляют непоседливых пассажиров из одного города в другой, огромные фуры везут разные товары для этих же людей, легковые автомобили мчатся по своим делам, лесовозы торопятся доставить древесину для будущих окон и дверей.

Дорога до города, как автобан, но сейчас мокрая и скользкая, коварная и непредсказуемая. Я веду нашу старенькую "тройку" быстро, но осторожно, не дёргаясь по трассе, особо не пытаюсь догнать, или обойти впереди идущий транспорт. Жена и сын на заднем сиденье, кажется, задремали под вкрадчивый голос Андрея Макаревича, льющийся из приёмника: "...Кто виноват, что ты один, и жизнь одна, и так длинна, и так скучна, а ты всё ждёшь, что ты когда-нибудь умрёшь..."

До Томска ещё километров тридцать, может, чуть больше. День повернул в сторону вечера, дождь усилился, на трассе - час пик. Передо мной мчится лесовоз, доверху набитый ровными брёвнами. Я вижу, как его заносит в стороны при каждом незначительном повороте руля, поэтому держусь от него на приличном расстоянии, чем невероятно раздражаю особо дерзких "шумахеров".

Подмигнув поворотником, лесовоз нагло пошёл на обгон впереди идущей машины. Конечно, это был необдуманный и крайне опасный манёвр; я весь внутренне напрягся.

В этот момент цепь, сдерживающая брёвна в пучке, рвётся, и они с бешеной скоростью летят на дорогу, как спички из короба, - в разные стороны. Ещё секунда - и на трассе полный хаос, неразбериха, паника: кто-то пытается свернуть на обочину, кто-то лавирует между падающими брёвнами, как слаломист, кто-то тормозит.

Не зная, что делать, я пытаюсь сбросить скорость, переключаясь на более низкую передачу. Вдруг какая-то невероятная тяжесть давит мне на правую ступню, и я сильно жму на тормоз. "Тройка" на такой скользкой дороге идёт юзом и останавливается поперёк трассы. А брёвна, как смертоносные торпеды, продолжают скатываться с лесовоза, болтающегося в разные стороны на высокой скорости.

Передние стёкла у "тройки" опущены, и я замечаю, как очередная "торпеда" летит в нашу сторону. "Всё! - мелькнуло в голове, - нам конец?!"

Но почему-то прожитая жизнь не мелькает у меня перед глазами, ангелы не торопятся забрать нас на небеса, похоронной команды даже не видно. Что-то тут не так?

Происходит невероятное: ровное, как стрела, бревно, диаметром примерно пятнадцать сантиметров, влетает в окно с моей стороны и вылетает со стороны пассажира.

Всё произошло настолько быстро, что я никак не отреагировал. Единственное: запомнил в ту секунду, что снова какая-то неведомая сила вдавила меня в водительское сиденье. Бревно пролетело мимо глаз, оставив ссадину на кончике носа и большую занозу, которая теперь торчала слева, чуть выше ноздри.

Макаревич, однако, ничего не заметил и продолжал дудеть в свою гнусавую дуду; сын даже не проснулся, а жена только вскрикнула: "Ах!". Я сидел за рулём, приклеенный к креслу, и чувствовал, как на кончике носа собирается большая капля крови.

На секунду закрываю глаза, открываю, поворачиваю голову и с удивлением обнаруживаю на пассажирском месте рядом с собой старую цыганку, протягивающую мне платок. Выдернув занозу, я приложил платок к носу, повернулся и спросил Ларису:

- Ты это видела?

- Что видела?

- Ну, вот тут, рядом со мной, сейчас цыганка сидела. Ещё платок мне дала.

- Опять ты, Серёжа, за своё. Ну какая цыганка в нашей машине?

- Наверное, у меня крыша едет? Или у тебя?

Если бы я остановился не поперёк дороги, то бревно, скорее всего, пробило бы лобовое стекло, и нам всем настал бы конец, но цыганка в нужный момент бросила мне на ногу камень, и я затормозил. Если бы она своей железной рукой (а это была именно она) не вдавила меня в водительское кресло, то мне снесло бы не кончик носа, а половину лица. Ну и, конечно, именно она уговорила Ларису сесть на заднее сиденье.

Тряхнув головой, окончательно освободившись от наваждения, открываю дверь и вылезая из машины. Удивительно, но на ней ни одной царапины. Бревно, пролетевшее сквозь нашу "тройку", лежало на дороге метрах в тридцати. Подойдя к нему, я заметил на торце надпись чёрным фломастером: "С. Прости меня. В. П."

Что бы это значило? Может быть, это какой-нибудь сердобольный лесоруб Вася Пупкин просит прощения у сосны, которую спилил? А может быть, это мой одноклассник Вова Петров просит прощения у Светы? Интерпретировать можно до бесконечности. Эти рассуждения могут далеко завести.

Кругом метались взволнованные люди в поисках пострадавших. Но их, как ни странно, не было, не считая меня с ободранным носом. Вот это да! Бывает же такое?!

Сейчас эта десятисантиметровая заноза хранится в моей коллекции удивительных вещей...

Предсказание

Воскресенье, 19-е мая 1965-го года. Мне восемь лет. Сегодня у нас настоящий праздник, мы с мамой едем на базар!

Несмотря на то, что мы жили в городе, точнее - на его окраине, тем не менее, любая поездка в центр всегда называлась: "Мы едем в город". До сих пор не знаю, почему все так говорили? Наверное, потому, что до центра Томска, точнее - до площади им. Ленина, добираться на автобусе больше часа. А может быть, оттого что строящиеся на окраине «Черёмушки» считались далёкой деревней по отношению к центру.

Поскольку утро выдалось довольно прохладным, мама надела на нас с братом вельветовые курточки, пошитые ею самой.

Каких-либо развлечений, аттракционов, парков на наших «Черёмушках», который как-то сразу все стали называть просто «Жилмассивом», ещё не открыли. Десяток пятиэтажных домов - одиноких коробок в чистом поле, трёхэтажная школа номер 53, гастронорм "Ласточка" и детский сад - вот и весь посёлок. Поэтому каждая поездка "в город" на базар считалась праздником, в некотором роде развлечением.

Базар в Томске, как и во всех старинных городах, располагался в центре, являясь его сердцем, где местные жители не только покупали необходимое по дешёвке, но и общались, развлекались (на базаре работал летний цирк), узнавали последние новости.

Территория базара была довольно обширна. Здесь, кроме торговых рядов, находился цирк, постоянный двор,

примерно такой же, как «Пассаж» в Питере, множество торговых лавок, небольших магазинчиков и различных мастерских. По базару можно было гулять целый день, с наслаждением поедая горячие пирожки за пять копеек, облизывать сладкие разноцветные леденцы - петушки и зайчики, запивая всё это холодной газировкой. Одним словом, приятный вкусный праздник для глаз и желудка, особенно для ребятни!

В настоящее время на этом месте находится «Губернаторский квартал»: Дума; администрация Томской области; областной театр драмы; какой-то старый дом, где открыт очередной коммерческий, никому не нужный банк. От старого уютного городского рынка осталось только одно строение, бывший постоялый двор. Теперь в этом здании факультет университета. Не пойму, кому мешал базар?

Я уже оделся и стоял, готовый к выходу, а брат Саня застрял с завязыванием непослушных шнурков.

- Саша, чего ты возишься? Давай быстрее; пока доберёмся, там уже народу будет тьма, - прикрикнула мама на брата.

- Мам, да у меня шнурок какой-то непослушный.

- Вот скажи мне, почему у Серёжи всегда всё завязывается, а у тебя нет? Почему, он всегда первый готов, а ты вечно копаешься?

Я стоял довольный, ведь меня в очередной раз поставили в пример.

- Саня, вечно ты, как девчонка, копуша, - поддел я брата.

Он обиделся, надул губы, покосился снизу вверх:

- У тебя, Серый, шнурки другие, послушные.

Наконец, мы собрались и вышли из дома.

Прямо у подъезда стоял деревянный стол с лавками, где мужики по выходным с утра пораньше забивали козла, а их жёны пристраивались рядом, грызли семечки, перемывая косточки ненавистным соседям.

- Куда это ты, Маша, с пацанами собралась? - спросила одна из них.

- В город надо, на рынок. Вон ботинки у мальчишек совсем сносились, может, куплю им какие-нибудь недорогие, - быстро ответила мама.

- Привет, братовья! - весело поздоровалась с нами соседка с первого этажа.

Сашка скорчил недовольную мину и отвернулся, а я вежливо ответил:

- Здравствуйте, тётя Зоя.

Мама глянула на дорогу и, заметив приближающийся автобус номер 9, схватила нас за руки и поспешила к остановке. Мы кое-как втиснулись в переполненный автобус. Маму со всех сторон зажали пассажиры, а нас с братом взяли на колени сердобольные бабульки.

Ехать в автобусе хоть и тесно, но весело. Люди общались между собой, радовались выходному дню и тёплой весне. Бабуля, взявшая меня на колени, вкрадчиво заглянула в глаза и нежно спросила:

- Мальчик, как тебя зовут?

- Меня зовут Серёжа, - ответил я.

- А брата твоего как зовут? - не унималась она. - Вы ведь близняшки?

- Мы не близняшки, а братья! А зовут моего брата Саша, - снова вежливо ответил я.

- А куда вы едете? - бабушке явно хотелось хоть с кем-то поговорить.

- А вам зачем знать, куда мы едем? - ответил я вопросом на вопрос.

Так мы ехали, а народу в автобусе не убавлялось. Наверное, все в это утро стремились на базар, истосковавшись по развлечениям и общению. Кроме нас с братом, в автобусе были ещё и другие дети: на базар, как на праздник, всегда ездили семьями.

Через час, заснувшая было кондукторша, гнусавым голосом объявила:

- Конечная! Базар! Граждане, выходим!

Девять часов утра, а народу уже столько, что яблоку негде упасть. Горожане входят и выходят через центральные ворота: заходят "пустые", а выходят с полными авоськами. Заходят задумчивые и грустные, а выходят весёлые и довольные! Вот так базар чудесным образом преображал людей.

Мы с ходу ринулись в это бурлящее, кричащее людское море. Около центральных ворот маму остановила пожилая цыганка:

- Дай, девушка, ручку, погадаю!

Пока мама в растерянности пыталась обойти возникшую преграду, я протянул цыганке свободную руку. Она взяла детскую ручонку, мельком взглянула на ладонь и тихо сказала:

- Жить будешь девяносто три года.

Эта магическая цифра так прочно врезалась в мою детскую память, что я до сих пор, - а мне уже 57, - верю в то, что именно столько и проживу, несмотря ни на что.

Пыль

(Из цикла «Перечитывая молчание»)

Она пробовала учить дочку моих родственников музыке, но потом, недели через две, – отказалась. Промолвила презрительно:

– Я не привыкла получать деньги даром, а здесь нет и намека на способности.

Все это не имеет теперь никакого значения. Девочка, которую мрачная сила родительского упрямства все же заставила выучиться играть на фортепьяно, давно стала взрослой и – Пантофель была права – выбрала другую профессию. Наконец, позади уже остались долгие, похожие друг на друга годы: они ломали, старили, они вроде бы незаметно, но всегда жестоко испытывали нас.

Мы жили в одном подъезде: наша семья – на пятом, она – на первом этаже. Почему однажды я напросился к ней в гости, а потом стал бывать у нее – не часто, но регулярно? По возрасту годился ей в сыновья. Общих интересов у нас не было. К тому же она встречала меня скорее неприветливо, чем радушно.

Сначала мне казалось: я прихожу к Пантофель из-за острого ее языка, не щадящего никого и ничего. Однако вернее другое: в самой интонации ее речи, в ее жестах, в воздухе ее маленькой квартирке я неосознанно, но очевидно различал тяжелое дыхание судьбы.

– Слушаю... Ах, это вы...

Пантофель недовольно бурчала в трубку и – неизменно приглашала в гости.

Только теперь начинаю понимать ту сумятицу чувств, что туманом окутывали ее. Она была рада мне, хотя и потом, при встрече, говорила с той же усмешкой, чуть цедя слова. Разумеется, рада: наконец-то могла прямо, безжалостно высказать свои утаенные мысли – те, делиться которыми с русскими знакомыми ей не позволяло достоинство.

– Евреи – это пыль, – с вызовом повторяла Пантофель.

Она ничуть не сомневалась, что ее утверждениям не нужны доказательства, но все же порой развивала свое сравнение:

– ...Вы не задумывались, почему их всюду ненавидят? А ведь все так просто! Народ, как и любой человек, имеет

срок жизни и должен умирать вовремя, а не путаться под ногами у молодых. Евреи же... Они давным-давно отжили свое и теперь мешают всем: хитрят, подлаживаются, втираются, куда только можно... Ну как же надоела их извечная скорбь, их претензия на всезнание, предвидение: все уже было, было, было... А человек до всего должен доходить собственным умом! Мы не зря не любим тех стариков, что только предостерегают, наставляют. Вы-то, разумеется, знаете: у японцев это старичье раньше просто отводили в горы, на кладбище – подошел срок, пусть умирают там. И правильно!

Она энергично прерывала свой монолог; бывало, лишь махнет рукой, - и так, мол, все ясно: «пыль, только пыль...»

Сидела передо мной прямо, как старая балерина, по привычке не позволяющая себе расслабиться в кресле. Поза Пантофель точно отражала суть ее странного существования. Иногда я думал: как и зачем она живет, если из всего, что когда-то беспокоило и терзало ее, осталась одна ненависть – чем-то еще согревающая ее ненависть к собственному народу.

Правда, помню, однажды Пантофель недоуменно спросила меня и – должно быть, в который раз – себя:

– Пыль... А что, собственно, такое пыль? Почему она возникает и, прежде всего, там, где живет человек? Не замечали: в комнате, из которой все выехали, пыли почти не бывает?

Об этих скрытых, а потому особенно сильных, будто сжатых пружиной молчания, чувствах Клары Пантофель никто не подозревал. Конечно, в музыкальной школе, где она до самой пенсии заведовала учебной частью, подметили: к ученикам и преподавателям-евреям Пантофель особенно строга: не выискивает специально недостатки, однако никогда их не прощает. Думали, это обычная у евреев болезненная предусмотрительность: вдруг упрекнул в солидарности со «своими»? Но я не сомневался: Клара Пантофель давно уже ничего не боялась.

Вспоминая о ней, вдруг замечаю, что невольно избегаю описаний. Например, описания ее однокомнатной квартиры, где все походило на районную поликлинику – было чисто, но безлико; или описания ее одежды, также лишенной индивидуальности; или того, как она неизменно угощала меня зеленым чаем: «Это полезно!»

Думаю сейчас о другом. Антисемитизм, встречающийся среди самих евреев, не так уж таинствен, непонятен, как порой кажется. Это противоестественная, но вполне объяснимая реакция загнанного судьбой человека. Однажды он начинает ненавидеть соплеменников, которые якобы виноваты в его неудачах и несчастьях, а иногда, странно абстрагируясь, не может уже выносить самого себя.

Конечно, в основе антисемитизма Клары Пантофель тоже было отчаяние – сгустившееся в душе одного человека отчаяние нескольких поколений.

Она никогда ни на что не жаловалась. Только из многих наших разговоров (в сущности, случайно) я узнал о судьбе ее родных. Деда до революции растоптали погромщики в Кишиневе. Отца и мать забрали в тридцать седьмом как врагов народа (Клара в это время уже работала после окончания консерватории в Сибири).

Почему она не вышла замуж? Разумеется, никогда ее об этом не спрашивал, хотя еще на моей памяти она была довольно хороша собой. Но невозможно было представить кого-то рядом с Пантофель: все ее существо излучало отталкивающую, испепеляющую любого нормального человека энергию.

Таким образом, ее вовсе не оригинальная теория вызревала медленно, в одиноких раздумьях. В мире все справедливо, рассуждала она; если уж сама жизнь выталкивает евреев, значит, они должны уйти.

Кто же у нее все-таки был?

Я знал, что иногда ее навещала бывшая ученица – всегда меланхоличная старая дева; та считала своим долгом «оказывать помощь», а Пантофель язвительно высмеивала ее печали.

Однажды летом я познакомился с сестрой Клары Михайловны, тоже уцелевшей в тридцать седьмом и в войну. Она вернулась из эвакуации в Минск, выучилась на инженера, имела сына и пьяницу-мужа, но радость жизни находила во всевозможных экскурсиях.

Клара Пантофель на всю жизнь осталась хрупким подростком. А сестра ее оказалась породистой шатенкой: она рассказывала мне о своих поездках, играя блестящими глазами, достав блокнот, где были аккуратно переписаны все ее маршруты. Так говорят о любви, не замечая банальности ситуации.

Через год любительница путешествий умерла от скоротечного рака. Сообщив об этом, Пантофель не плакала. Все ее мысли теперь занимал племянник. Тому исполнилось двадцать шесть; не помню, где он работал, но, помню, учился заочно в институте и собирался жениться.

– Только бы не взял в жены еврейку, – тоскливо заклинала Пантофель. – Наши внуки должны быть счастливы.

После смерти ее сестры мы встречались гораздо реже. Я подумал: наверное, эта смерть окончательно убедила Клару Михайловну в правоте ее жизненной философии.

– Простите, я занята, – и в телефонной трубке раздавался щелчок.

Как-то, придя к ней, сразу заметил перемену: она вся вдруг как бы подсохла, сморщилась. При этом судьба по-прежнему смеялась над Пантофель – теперь она походила на еврейку все больше и больше. Всегда сжатые тонкие губы обрамляли глубокие морщины – следы неизменной усмешки. Резко выделялись на лице глаза, форму которых принято сравнивать с миндалем.

Во время нашего разговора она – видимо, по привычке – страдальчески взглянула в зеркало. Я понял: она пугалась отражения. Она презирала собственное лицо. И, наверное, потому почти перестала выходить на улицу.

Пантофель похоронили торопливо, как хоронят всех одиноких людей.

Когда мы возвращались с кладбища, ее племянника уже ждали представители домоуправления: надо быстрее освободить квартиру, туда должна заселиться мать-одиночка с двумя детьми, а вещи... их ведь можно пока перенести в пустующий, через несколько кварталов, сарай? Вряд ли это была только забота о несчастной женщине, скорее – опасение: как бы приезжий еврей не начал химичить, не попытался сам занять жилплощадь.

Через день я случайно увидел, как дворник и некий дюжий парень (видимо, друг новой жилицы) перетаскивали скарб Пантофель. Они решили составить все у подъезда, чтобы потом, разом, погрузить вещи в машину.

Разворачиваясь, грузовик переехал кресло, в котором так любила сидеть покойная. Кресло разлетелось на несколько частей, пружины резко распрямились и вытолкнули из темного чрева охапки скатавшейся пыли.

Благодарственный рассказик

Посвящается И. Ш.

Пристрастие к литературе – как упорство во грехе. Жизнь ежедневная – такая яркая, насыщенная, полная. Никакой выдумкой её не ухватить. Жизнь повседневная – такая скучная, серая, однообразная, блёклая. А опишешь – вроде поярче стала. Расскажешь о ней – и на миг покажется, что была именно такой, как рассказано. А приглядеться если – нет, не такой.

Отсюда активность в социальных сетях как явление микролитературы. Записи в сети не требуют труда. Ни грамотности высокой, ни мастерства, ни черновиков. Как написалось, так и вышло. Сплошное авторское удовольствие – высказаться в глаза незнакомым читателям и знакомым «френдам». Единственное надёжное спасение – не участвовать.

Поэтому о моих проблемах мало кто знает. Разве что родной брат младший, но у него своя семья, дети уже взрослые, ссуды, квартира, налоги... Живущим в Израиле пояснений не требуется. Брат выручает, когда сможет, но жить ко мне не переселится.

Вообще-то я числюсь в суровых и взыскательных критиках. Числюсь – в том микрокосме, в котором вращаюсь. Видите, всё у нас здесь маленькое: микролитература, микрокосм, страна, аудитория, здоровье, мои заработки, страсти и пристрастия. Есть в российской глубинке небольшие города, новости из которых долгими годами не попадают ни в какие ленты, ни на какие страницы... Вот-вот. По литературной популярности сравнимо. По комфорту и питанию, конечно, Израиль обогнал на несколько корпусов. А проблемы у людей всегда есть. У кого суп жидок, у кого жид мелок...

Проблемы – это то, что я в жизни научился видеть в первую очередь. Возможно, здесь слова «видеть» и «создавать» могут показаться синонимами. Возможно... Но учтите: литература строит мир при помощи слов, и неточно употреблённое слово меняет описываемый мир, хотя никак

не изменяет действительности. В конце концов, все слова кажутся неточными, а самые главные проблемы в мире создал всё-таки не я.

Так вот, о проблемах. Для одинокого немолодого человека заболеть – серьёзная проблема. Вернее, заболеть-то не проблема; вот выздороветь – это посложнее. Трудно приготовить еду, трудно даже чай заварить. Одинокому и в аптеку некого послать. О работе и речи быть не может. А нет работы – нет денег. Пенсионный возраст ещё не наступил, а хвори – пожалуйста. Конечно, проблема в отодвинутом пенсионном возрасте. Но это проблема общая, так сказать, социальная. А тут вплотную подступили проблемы хоть мелкие, но личные. Живущим в одиночестве дальнейших пояснений не требуется.

И в этом состоянии я получаю по электронной почте рассказ. От давней своей подруги. Можно сказать, от бывшей жены. Мы прожили вместе двенадцать прекрасных лет, а потом она уехала обратно в страну исхода делать карьеру. Но карьеры не сделала и через два года вернулась в Израиль. Пишет, публикуется, участвует в «Фейсбуке». Единственное надёжное спасение – не читать. Но тут – рассказ. О вымышленных людях и неудачных судьбах. О людях, не способных добиться успеха, потому что они даже не задаются вопросом, в чём их успех состоит. О людях, воспринимающих секс, брак и любовь не тремя разнородными процессами, а единой неразрывной триадой; и они несчастны потому, что пытаются найти несуществующее. А о реальных наших ситуациях – ни слова. Короче, рассказ как рассказ. Таких рассказов, как её или мой, – десятки тысяч. Болеющему критику солью на душевные раны.

Вот на что автор рассчитывает? На похвалу, независимо от качества текста. Разумеется, каждый рассказ заслуживает похвалы уже хотя бы за то, что был написан. И в иной ситуации я бы, конечно, похвалил не читая. Тем более что содействовать публикации я никак не могу, особенно в нынешнем состоянии. Но как раз это состояние разбитости побудило собраться и ответить гневно, ответить резко. Пожалуй, это письмо оказалось тем литературным произведением, за которое получен один из самых крупных в моей жизни гонораров. Каким образом? А вот.

Я написал примерно следующее: не стыдно ли имеющему досуг автору вышибать дух из постороннего читателя текстом, не хватающим за живое? Каково мне,

больному и голодному, вдаваться в описания природы, увиденные сытыми и досужими. Какую правду несёт в себе и какую помощь оказывает присланный мне текст, если главное в нём – фамилия автора? Правда и польза остались за пределами текста, который всем остальным хорош – не отнял слишком много труда, не потребовал мучительных продуктивных размышлений, и в обозримом будущем придёт к незаинтересованным читателям через Интернет или местную прессу. Дальнейшие следы этого рассказа теряются во мгле...

Через шесть часов после того, как я отправил такое письмо, мы уже беседовали по телефону. На следующий день она спросила мой новый адрес и пришла.

Она пришла. В мою берлогу. Не погнушалась. Принесла с собой курицу и в моей кастрюле на одноконфорочной электроплитке сварила куриный бульон – настоящий. Недаром этот бульон называют «еврейский пенициллин». Полегчало.

Она сказала: «Я тебя не брошу». Эх, раньше бы!.. Но всё, что Господь посылает, происходит вовремя – тогда, когда происходит. И роптать – грешно. Через два дня она принесла блинчики. Здоровье пошло на поправку. Разумеется, в промежутках между едой и бытом мы говорили о литературе. Я похвалил её рассказ. Мог ли я поступить иначе? Тем более что для неё это важно, а мне не стоит никаких усилий. Я говорил почти искренно, но она всё же сказала: «Лицемерное ты существо! Разве мне похвалы нужны? Ты можешь хоть раз в жизни говорить честно и откровенно? Скажи мне правду: я хорошо пишу?»

Все эти вопросы несколько ошеломили меня. Попробуйте-ка не быть лицемерными, когда кормят. Говоря честно и откровенно, я не вполне понимаю, что значит «хорошо писать». В каждом случае эти слова приобретают другое значение. Иногда это синоним слова «популярный». Иногда – слова «увлекательный». А бывает, что и «каллиграфический». Если бы усилить в обществе важность литературы, то, может быть, и уважение неуверенного в себе автора к собственным публикациям возросло бы. Самоуверенные выиграли бы тоже: им добавилось бы уважения от посторонних, которое не пришлось бы оплачивать. При этом увлекательность написанного ничуть не изменилась. Но как повысить важность?

Однажды главный редактор попросил меня быстро изготовить заметку слов на четырёста для рекламной газеты, в которой какими-то немислимыми взаимозачётами он получил половину полосы. Я очень старался и изваял. А когда мне попалась эта газета, ахнул: заметка о журнале была помещена под статью о фирме, выводившей в домах тараканов. И на первый взгляд материалы выглядели одинаково солидно. Посмеет ли кто-то сказать, что хоть один из них был написан плохо? Или хорошо? Усиливает ли подписка на литературный журнал эффективность изгнания тараканов?

Дождёвая очередная блинчик с вареньем, я мог только хрюкнуть. Мы живём в окружении текстов, в плену слов. Словами и фразами я попытался передать жизнь – но, право же, блинчики с лососиной и тушёное мясо показались мне дороже, лучше и полезнее собрания сочинений. В школе научили – а я заканчивал её при советской власти – что литература есть то, что опубликовано, а классическая литература, достойная подражания, есть то, что включено в учебник. Таким образом, самостоятельно опубликованное в Интернете тоже есть истинная литература. Единственное спасение – не принимать её всерьёз.

В культуре, определяемой русским языком, критики заметили такое явление как литературоцентризм. Это, во-первых, приоритет литературы над остальными видами создающего мир творчества, а ещё, в тех же первых, построение жизни по литературным лекалам. А что во-вторых, то можно прочитать в Интернете. Например: «Литература становится некой моделью, определяющей жизненные ориентиры человека, душевные переживания, нормы поведения. Ю.М. Лотман подчеркивал, что такое переживание текста для западноевропейской культуры не характерно. Для русской же литературы «характерно стремление слить эти сферы и перестроить бытовую по нормам идеальной»». Благодаря этому, мечты многих и многих – участвовать в этой самой литературе, потому что только она способна уберечь имя и душу от безвестности и забвения. Кажется, что следует отделить мух от котлет – то есть описанное критиками явление не имеет прямого отношения к конкретному рассказу. Но передо мной сидела яркая представительница именно литературоцентризма, и благостно смотрела, как другой адепт литературоцентризма поедает салат.

Я решил перевести стрелки. И спросил: «Ну вот, ты меня кормишь. Лекарства из аптеки принесла. Буквально спасаешь. Могу ли я что-то полезное сделать для тебя?» Она немного подумала и резонно спросила: «А что ты можешь? Денег я у тебя не возьму... Да их у тебя и нет. А, сделаем вот что: напиши для меня что-нибудь. Такое, чтобы мне было приятно. Сумеешь?» Я струсил и ответил: «Попробую». Хотя, честно говоря, должен был ответить «нет». Не смогу. Написать-то не проблема, многие пишут больше в благодарность за меньшее. А вот понравится...

Причина очень проста: у меня короткое авторское дыхание. Я знаю, что она любит: пространные душещипательные истории, изложенные лёгким оживлённым слогом, желательно – переведённые на русский с других языков, на которых книга имела успех. У героев обязательно возникают проблемы, и обязательно же решаются прежде, чем книга закроется. Сентиментальность и любовные отношения добавлены строго дозированно. Короче: требуется как минимум повесть, а лучше – небольшой роман. Желательно из женской жизни, которая мне известна только понаслышке, и с хорошим концом, в который не верю. И вот пришлось бы выжимать из себя оживлённые лживые фразы, складывая их в заранее придуманные эпизоды. Месяц за месяцем кропотливо трудиться – а значит страдать. Потому что соиздание романа похоже на строительство дома: на пустыре в течение долгих месяцев возводится сооружение, которого пока нет в камне, но оно уже есть в подробном проекте. А я привык писать коротко. Статья пишется за день, два, максимум – за неделю. И такое сочинительство скорее напоминает сексуальный акт, чем стройку – дело должно быть окончено в близком времени от его начала, а проекта и плана не нужно вовсе. Спринтерский забег, спринтерское дыхание. А для крупного произведения нужен стайер, тренированный на большие расстояния. Как у Высоцкого: «Я на этой на дистанции помру, не охну, пробегу всего лишь только первый круг — и сдохну». Что, плохой бегун? Нет, хороший! Просто он тренирован на другие достижения. Методика написания — другая.

Я настолько взыскателен к текстам, что жду от них правды и пользы. Типичный литературоцентризм, не правда ли? Но, чтобы высказать правду, желательно для начала её знать. Хотя бы понимать, что именно то, что знаешь, и является правдой, которую непременно нужно

высказать. Например, информация о несправедливости. Нуждается ли она в обнародовании? Несправедливость всегда выгодна и удобна одним, несправедливым, и обидна-досадна другим, пострадавшим. Чтобы приобрести такое знание, приходится терпеливо переносить страдания. Я же с детства не люблю страдать. И потому произведения мои и мне подобных содержат идею: «Чего изволите, господин Читатель; а вернее: о чём бы я изволил смиренно просить автора рассказать, если бы был на читательском месте?» В результате получается не то, что продвигает искусство литературы, а то, о чём автор желает повествовать, а читатель готов выслушать. Фактически получается литература социальной сети. Единственный заметный мне выход – держаться от неё подальше.

Но я оказался в собственноручно изготовленной литературной ловушке! И выбираться из неё придётся, оставляя на её шипах клочья авторского мяса. Меня кормят? Кормят. Спасают? Спасают. Блинчики вкусны? Объеденье! В знак признательности следует воспеть то, чего я досконально не понимаю, и аккуратно потрафить чужому художественному вкусу, которого не ощущаю. Говоря научным языком: перестроить бытовую сферу по нормам идеальной. Хотя бы только на словах. И я не смею откеститься от этой задачи...

Огненными буквами на храмовой стене хочется написать: «Мир несправедлив ко мне» - с подробными претензиями к конкретным людям. Но имеются только типографские шрифты и местная бумага. Я, реальный, живой и уже подкормленный, но всё ещё страдающий, не вызываю у подавляющего большинства людей сопереживания. Почему же моя кормилица смеет думать, что сопереживание вызовут её или мои выдуманные бумажные персонажи? Шансов практически нет. Правда уступает место пользе; правды я не знаю, а пользу вижу. Но правда – общая, а польза - персональная.

Это касается и литературной работы. Написал, как смог. Послал литературной подруге это эссе по электронной почте. Обещала не обижаться. Завтра придёт, принесёт плов в кастрюльке. Ещё поговорим о писательском мастерстве. Поклонюсь тем, от кого зависит публикация, в ножки им паду, - и может быть, увижу свои слова оттиснутыми типографским шрифтом на местной бумаге. Конечно, это послужит не истинной благодарностью, а слабым утешением для благодарного.

Черный ластик

На улицах Будапешта царила весна. Сквозной ветерок шевелил молодую листву платанов вдоль проспекта Андраши. Свет и счастье бродили по площадям и паркам венгерской столицы. Но в квартире меламеда Берче Фогеля царила полутьма. Плотные шторы уже несколько месяцев прикрывали окна. Никто не должен был знать, что происходит в доме.

Ребе Аарон Рокеах из Белз, чудесным, необъяснимым образом сумел перебраться в Будапешт из Перемышлянского гетто. Он поселился у Берче-меламеда и восемь месяцев практически не выходил из дома. Но гестапо все-таки прознало, что Бельзский цадик скрывается в Будапеште. Венгерское правительство получило категорическое требование из Берлина выдать ребе.

Режим Хорти трещал по швам, однако адмирал отчаянно пытался изобразить независимость. Благодаря этому хасидам удалось за огромные деньги купить для ребе Аарона и его двоюродного брата Мордехая визу в Швейцарию.

Поезд отходил ночью, а утром ребе попросил Берче собрать всю его семью в одной комнате.

– Я хочу благословить твоих детей, жену и родителей, и поблагодарить за гостеприимство, – сказал ребе Аарон.

Они выстроились у стены, престарелые отец и мать, Берче с женой и шестеро детей. Цадик мерял шагами комнату и молчал. То и дело он останавливался, оглядывал семейство Фогель, отворачивался и снова принимался ходить от окна к двери. Невысокий, щуплый, порывистый в движениях, больше похожий на юношу, почти мальчика. Лишь седая борода и изборожденное морщинами лицо свидетельствовали о преклонном возрасте и перенесенных страданиях.

Сердце Берче замерло. Большая беда надвигалась на евреев Венгрии. Она висела в воздухе, как туман, не давая спать по ночам, расстраивая дневные мысли. Но выхода не существовало, любая возможность спастись была давно

перекрыта. Благословение ребе-чудотворца могло оказаться последней ниточкой, связывающей их с жизнью. И вот, ребе молчал, а это значило, что впереди только тьма.

Ребе Аарон опустил голову, набычился, словно преодолевая препятствие. Затем отодвинул штору и выглянул на улицу. Цветущий каштан перед домом выбросил желтые свечи; бабочки, похожие на ожившие цветы, порхали среди листвы. Цадик тяжело вздохнул и задвинул штору. Вместе с ним вздохнул и Берче-меламед.

Ребе подошел к семейству Фогель, еще раз тяжело вздохнул и вдруг произнес.

– Благословляю вас всех, да всех до одного, на скорое восхождение на Святую землю. Пусть Эрец Исраэль принесет вам радость и умиротворение.

В комнате воцарилась тишина. Слова ребе казались оторванными от реальности, лишенными малейшей практической основы. Но если цадик говорит, он знает, что говорит.

– Вот еще что, Берче, – добавил ребе Аарон. – Мои хасиды изрядно перепачкали твою мебель, обтерли стены, разбили немало посуды. Я хочу возместить убыток.

Берче от изумления даже руками замахал:

- Что вы, ребе?! Какой еще убыток?! Мы были счастливы жить вместе с вами под одной крышей. Это стоит любых денег.

Ребе Аарон не ответил. Он замер, будто прислушиваясь, а потом сказал.

– Ладно, тогда я останусь твоим должником. Вернемся к этому разговору на Святой Земле.

Прошло несколько недель. Проходя по улице мимо приземистого здания центрального юденрата, Берче заметил очередь. В ней стояли хорошо одетые люди, многие с сумками или с небольшими чемоданами в руках. Узнав в очереди знакомого дантиста, Берче подошел к нему.

– Что происходит?

– Чудо, – негромко произнес дантист. – Просто чудо и больше ничего. Кастнер, член правления юденрата, договорился с гестапо о выдаче виз в Швейцарию, а оттуда в Турцию и Палестину. Две с половиной тысячи долларов за визу. Платишь – и уезжаешь.

– А чемоданы для чего? – спросил Берче.

– Для денег, – ответил дантист. – Кто может, расплачивается золотом или драгоценностями. Кто не может – долларами или фунтами. Но только ими, венгерские пенге не принимают.

– Плохи, видно, дела у гестапо, если они нуждаются в еврейских долларах, – заметил Берче.

– Какая мне разница, – устало бросил дантист. – Лишь бы вырваться из этого ужаса.

Берче отошел в сторону. Месячное жалование меламеда не достигало десятой части стоимости одной визы. А двадцать пять тысяч долларов за десять виз были просто астрономической суммой.

И тут он вспомнил о благословении ребе Аарона. Может быть, вот так и сбудутся его слова о скором восхождении на Святую Землю? В конце концов, почему не попробовать, чем он рискует?

Берче занял очередь. Она продвигалась медленно, но ведь всему на свете приходит конец, и хорошему, и плохому, надо только набраться терпения. В гулком вестибюле, с полом из шахматно уложенных черных и белых плит, очередь распадалась на три рукава, в три коридора. Берче стал в ближайший рукав и принялся потихоньку продвигаться к высокой двери, за которую один за другим ныряли встревоженные, смятые тревогой евреи, а выходили спокойные люди, обладатели права на спасение.

Вдруг прямо напротив него с другой стороны коридора открылась запертая дверь и возникшая на пороге чиновница сказала:

– Кто за визами, можете сюда.

Берче сделал всего три шага и оказался рядом.

– Проходите, – чиновница повернулась и пошла внутрь комнаты, а Берчи, осторожно прикрыв дверь, последовал за ней.

Усевшись за стол, на котором двумя аккуратными стопками были сложены картонные папки, чиновница холодно произнесла:

– Предъявите документы.

В то лихое время выйти на улицу без документов означало пропасть при первой же облаве или проверке, поэтому Берче немедленно вытащил удостоверение личности и положил на стол перед чиновницей. Пока та внимательно изучала документ, Берчи успел хорошенько ее рассмотреть.

Было ей лет тридцать, миловидное лицо, осыпанное мелкими веснушками, рыжие волосы, еще по девичьи припухлые, свежие губы, короткая деловая стрижка и строгий костюм более подходящий учительнице, чем секретарше.

– Итак, господин Фогель, вы просите о выездной визе для себя?

– Да, – ответил Берче. И замер. Следующим должен был последовать вопрос о деньгах, но чиновница вместо этого спросила.

– Ваша семья останется в Будапеште?

– Нет, она поедет со мной.

– Заполните бланк, – она протянула ему лист бумаги. – Укажите точно имена и фамилии тех, для кого вы просите визу. Постарайтесь не ошибиться, в случае несовпадения данных визы и удостоверения личности, виза будет аннулирована при посадке в поезд.

Берче взял бланк, обмакнул перо в чернильницу и стал писать.

«Зачем, зачем ты все это делаешь? – стучала в висок назойливая мысль. – Сейчас она увидит список из десяти имен и попросит заплатить 25 тысяч долларов. И что ты ей скажешь, что забыл деньги дома?»

Закончив писать, Берчи взял стоявшее на столе массивное пресс-папье, тщательно промокнул чернила и передал бланк чиновнице. Та, не выказав ни малейших признаков удивления, достала из папки пустые визы и принялась заполнять. Одну за другой, одну за другой.

Берчи сидел ни жив, ни мертв. На его глазах совершалось чудо, настоящее, невообразимое чудо, а он все никак не мог поверить, все ждал, когда, выписав визы, чиновница потребует деньги.

А та писала и писала, от усердия, по-детски чуть высунув из уголка рта розовый кончик языка. Закончив работу, чиновница сложила визы стопкой и протянула Берчи.

– О времени отправления эшелона будет объявлено особо. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе. Как вы понимаете, в случае опоздания на поезд визы аннулируются.

Последнее слово она произнесла со вкусом, сочно выделив два «н». Берчи тут же вспомнил о первом ее предупреждении и, взяв визы, стал сверять имена. Все

было точно, кроме имени его матери, чиновница пропустила букву.

– Ошибка!

– Не может быть! – чиновница залилась алым румянцем, удивительно подходящим ее рыжим волосам. – Ой, точно!

Она подняла на Берчи глаза, и он невольно сжался от страха. Два колодца наполненных черной водой, два манящих омота, две бездны. Он потряс головой, сбрасывая наваждение, и когда снова поглядел на чиновницу, увидел только слегка растерянный взгляд.

– Это ерунда, – сказала чиновница. – Никто не заметит.

– Но вы же сами предупредили – визу могут аннулировать. Выпишите другую, пожалуйста.

– Говорю вам – ерунда. Я не стану портить из-за этого бланк. Они все пронумерованы и подсчитаны.

– Сделайте что-нибудь, – попросил Берчи. – Неужели из-за бланка мою мать высажат из поезда?

– Ладно, давайте я исправлю, – протянула руку чиновница. – Вытру имя, вы не против?

«Как можно вытереть надпись, сделанную чернилами?» – удивился про себя Берчи, но тут же согласился и подал визу матери:

– Конечно, конечно, не портить же бланк.

Чиновница вытащила откуда-то толстый черный ластик, жадно, словно перед едой, облизнула губы и несколькими движениями начисто стерла имя матери Берчи. Затем обмакнула перо в чернила, написала его заново, промокнула надпись пресс-папье и вернула визу Берчи.

– Вот, и волки сыты, и овцы почти все целы.

Берчи непонимающе посмотрел на чиновницу.

– Волков ведь тоже надо подкармливать, – объяснила она.

– Извините, я не понимаю. О каких волках идет речь? – недоуменно спросил Берчи.

– Неважно. Счастливого пути.

В день отправки эшелона с утра зарядил дождь. Пока загрузились в вагоны, основательно промокли, и, пытаясь согреться, сидели на скамейках, тесно прижавшись друг к другу. Берчи ждал подвоха до последней минуты, ему все казалось, что вот-вот в вагон ворвутся представители юденрата и вытащат обратно под холодный дождь всю его семью, обманом получившую визы. Но паровоз загудел, вагоны дернулись, и черный мокрый перрон, за стеклом,

исполосованным быстрыми струйками, медленно стал уплывать в сторону.

Спустя полгода мытарств и лишений семья Фогель прибыла в Тель-Авив и поселилась в маленькой квартирке на шумной улице Шенкин. На следующий день Берчи поехал в Бней-Брак, навестить ребе Аарона. Служка наотрез отказался пропустить к ребе незваного гостя.

– Цадик сегодня не принимает, – заученно повторял он, не глядя на Берчи. – Приезжайте в четверг после полудня.

– Передайте ребе Аарону, что его хочет видеть меламед Фогель из Будапешта.

– Цадик сегодня не принимает, – но тут дверь кабинета открылась, и на пороге возник ребе Аарон собственной персоной.

– Берчи! – воскликнул он. – Когда вы приехали?

Разговор получился длинным. Ребе расспрашивал о Будапеште, о том, как Берчи удалось получить визы, о длинном пути через Швейцарию и Турцию, и о том, чем собирается Берчи заняться на Святой Земле.

– В Бней-Браке не хватает хороших меламедов для еврейских детей, – сказал ребе в конце беседы. – Я напишу записку директору школы, он возьмет тебя на работу.

– Ребе, – наконец решился Берчи, – чиновница в юденрате – это пророк Элияу или ангел, которого вы послали?

– Какая тебе разница? – устало ответил ребе Аарон. – Главное, что вам удалось вырваться из этого ужаса.

Он помолчал немного и добавил.

– Надеюсь, я больше не твой должник, Берчи?

– Конечно! – вскричал меламед. – Это я ваш должник, ребе! Я, и мои родители, и моя жена, и мои дети. Все мы перед вами в неоплатном долгу до самого конца жизни.

– Не надо говорить об этом, – прервал его ребе протестующим движением руки. – Никто не знает, где он, этот конец, и когда может наступить.

Прошло около года. Мать Берче сильно заболела. Она и раньше не могла похвалиться отменным здоровьем, а события последних лет могли расшатать самый крепкий организм. Ее госпитализировали, но больничный уход не помог, матери становилось хуже с каждым днем. Берчи и его жена по очереди дежурили у постели больной.

В ту ночь была очередь Берчи. После приема лекарств мать заснула, а он еще долго читал псалмы, сидя в неудобном кресле, со спинкой и сиденьем, обитыми липким

от старости кожзаменителем. Постепенно глаза начали слипаться, Берчи закрыл книжку и поплыл, мягко закружился на волне сновидения.

Очнулся он от стука. Цокая каблучками, в палату вошла женщина в белом халате со шприцем в руках и направилась к постели больной. Берчи обомлел, это была она, та самая чиновница из юденрата.

– Простите, – еле выдавил он, – но как вы попали в больницу? Разве вы врач?

– Теперь я сестра милосердия, – произнесла чиновница хорошо знакомым Берчи холодным тоном. – Сейчас я сделаю укол вашей матери, и ей сразу полегчает.

Она склонилась над больной, умело воткнула иглу, быстро выдавила содержимое в вену, и вытащив шприц, двинулась к выходу.

– Простите, но простите же! – вскричал Берчи. – Я хочу с вами поговорить.

– Завтра, – ответила чиновница. – Поговорим завтра.

Берчи хотел встать, но его одолела дремота, голова сама собой опустилась на грудь, и он мгновенно заснул.

Его разбудил шум. Две сестры закрывали постель матери белой ширмой. Из-за их спин он увидел безжизненно свисавшую руку с посиневшей кожей и все понял.

– Кто ночью ставил матери укол? – спросил он у старшей медсестры, когда тело, накрытое простыней, увезли на каталке.

– Никто. Ночью уколы делают только по особому предписанию. А такого не было.

– Но я сам видел медсестру! – возразил Берче. – Я даже с ней разговаривал. Рыжая такая, лет тридцати, с короткой стрижкой.

– У нас нет таких сотрудниц, – отрицательно покачала головой старшая медсестра. – Вы устали, заснули в кресле, вот и привиделось. Я очень вам сочувствую, и понимаю ваше состояние. Давайте примем успокоительное.

Берчи наотрез отказался и вышел из отделения. Все формальности прошли на удивление просто, представитель «Хевра кадиша», похоронной конторы, сидел в кабинете на первом этаже больницы. Похороны назначили на вторую половину дня, ждать было некого – кроме Берчи и его семьи, все родственники матери остались в Венгрии.

На кладбище, перед началом церемонии, его пригласили опознать тело.

– Женщина из нашего похоронного братства провела процедуру очищения по всем законам, – объяснил похоронщик в черной шляпе и с белыми пятнами соли от высохшего пота на воротнике и лацканах черного пиджака.

– Сегодня, к сожалению, мы хороним не только вашу мать, поэтому будет правильно, если вы лично убедитесь...

– Да-да, разумеется, – Берче направился к входу в барак, на который указал ему похоронщик. Там было сумрачно и прохладно, каталка с телом, закрытым белой тканью, стояла на бетонном полу возле стены. Берчи подошел, откинул ткань, увидел лицо матери с открытым ртом, забитым ватой и с содроганием тут же опустил ткань.

Сзади послышался перестук каблучков и знакомый голос произнес:

– Она?

Берчи резко обернулся. Чиновница будапештского юденрата, на сей раз одетая в черный халат, стояла перед ним.

– Кто ты? – хриплым шепотом спросил Берчи. – Кто ты?

– Какая тебе разница, – устало ответила чиновница. – Это твоя мать или нет?

– Моя.

Чиновница жадно облизнула губы, повернулась, быстро пересекла барак, распахнула дверь в подсобку и скрылась. Берчи рванулся следом, но тут в барак вошел похоронщик.

– Что-нибудь не так? – спросил он. – Это не ваша мать?

– Да нет, моя,

– Тогда начнем.

Похоронщик ухватился за деревянные, отполированные множеством прикосновений ручки и потащил каталку из барака. Берчи ничего не оставалось, как идти за ним.

Сразу после кадиша над свежей могилой он поспешил в барак, хотя знал, что чиновницу там не застанет. Вместо нее на звук открываемой двери из подсобки вышла полная, неряшливо одетая женщина, с седыми волосами, выбивавшимися из-под криво повязанной косынки.

– А где ваша напарница? – спросил Берчи.

Женщина взглянула на него с плохо скрываемым испугом.

– Нет у меня напарницы. Я одна работаю.

– Ну, как же нет, – настаивал Берчи. – Я вместе с ней всего полчаса назад проводил опознание тела моей матери. Рыженькая такая, с веснушками.

– Нет тут никакой рыженькой, – отрезала женщина и ушла в подсобку.

Берчи вышел из барака и сразу наткнулся на похоронщика.

– Странная история, – схватил его за рукав Берчи. – Объясните мне, что происходит.

Похоронщик внимательно выслушал и вздохнул.

– Значит, вы ее видели?

– Так вы знаете, кто она? – воскликнул Берчи. Наконец-то нашелся человек, который может рассеять туман, воцарившийся в его голове.

– Мы не знаем, – ответил похоронщик. – И никто не знает. Иногда эта рыжая дама идет у всех на виду перед похоронной процессией, иногда держится сзади. Иногда, как у вас, встречает родственников умерших во время опознания. Никому не удается ни прикоснуться к ней, ни заговорить

– Но я разговаривал с ней уже в третий раз!

– В третий раз? – удивленно воскликнул похоронщик. – Ну, вам очень, очень повезло. Мы спрашивали больших раввинов, кто это может быть. Точного ответа не получили, но многие предполагают, что это ангел смерти.

Берчи стало тяжело дышать. Желтое, безумное солнце Средиземноморья ударило в глаза. Он вспомнил, как чиновница попросила его согласия стереть имя матери, и как он, легкомысленно передал ей визу, и с какой жадностью та облизала губы, прежде чем взяться за черный ластик. Берче охнул и, чтобы не упасть, привалился спиной к стене барака.

Публикации Архива русско-израильской литературы
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление и примечания Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. в №№ 14-19.

*

Россия прирастает «Южной Сибирью» (так Чехов называл Крым).

-

Сартр утверждал, что человек существует настолько, насколько он себя осуществляет. Мечты, желания, прожекты — тлен, ежели они живут лишь в уме.

-

«Что толку охать и тужить — Россию надо заслужить...» (И. Северянин в эмиграции).

-

Бейлис умер, но дело его живет.

-

Стругацкий — Гур-сочинитель.¹

-

В будущем отплевываются — Путин тебе на язык!

*

«Скушно, господа, всю инкарнацию томиться в одном и том же отчестве» (Саша Соколов).

-

Читая Губермана, я ежелец не вхожу во смешное, попадаю в кафкан абсурдного.

-

Как нынешние книги... Зиновий Гердт говаривал: «Халтура вместо пошлости».

¹Гур Сочинитель — персонаж романа братьев Стругацких «Трудно быть богом»

-

Долог путь до Миссалонги!.. (где Байрон от лихорадки умер).

Все эти елабуги и миссалонги...

*

Кафка, работая чиновником, не любил начальство, сослуживцев и посетителей. Гармонично! Вот триада!

-

Тарас Бульба «выжег восемнадцать местечек». Святое число!

*

Стихи (по Пушкину) — «союз волшебных звуков, чувств и дум». Тройственная упряжка.

-

Как 80 лет назад, на Первом съезде советских писателей призывали: «Лирический порох держать сухим!»

-

У Марка Твена о чувстве родины: «Устрица не меньше любит свою отмель».

-

Тут вечно в Израиле — кипоконечные и трупоконечные, право левых, сено шалома...

-

Веллеречивая проза (по Веллеру).

*

Истинная, «чистая» литература по Кортасару — «игра, условность, ирония».

-

Кортасар называл массового литпотребителя — «читатель-самка». А продвинутый, значит, самец, «читатель-соучастник».

-

Ведь все живем-то, как писал Солженицын, «против неба на земле».

-

По Булгакову, Берлиоз — зоил-реб, глава критического синедриона, Каифа Массолита. Естественно — на гильотину его, голова прочь!

-

А Маргарита таит в себе ивритское. Ивритское слово «тирага» — успокойся.

*

Когда Глеб Иванович Успенский маялся шизофренией, он распался на две личности — Глеб (добрый, хороший) и Иванович (злой).

Теперь понятно: Михаил (добро) и Исаакович (кошмар!). Русофобским духом пахнет!

-

Текст-стиль
суконный
неуклонно.
Парад драпа,
Пир дерюги.

*

Знакомая пришла на работу в отдел одного муниципалитета — и оказалось, (как и везде) идет вражда. «Ты наша, — сказали ей. — Ты сядешь справа от входа». Те, чьи столы были справа от входа, боролись с теми, кто сидел слева — то ли кондиционеры где-то сильнее дули, то ли вид из окон открывался получше. Вот и вся наша небольшая страна обетованная на два лагеря разбита — или справа от входа, или слева.

*

У Слепцова¹ кучер кричит на лошадь: «Облопаешься, жид ненасытная!»

«Что ты бельмы-то на меня тарацишь, лупоглазый жид?»

«Вот жид каторжный какой!»

«Жид его дери, непутный такой».

«Матри, коли што, так ты и тово, алибо што».

«Всю поселенную изойдешь, таких еще не найти».

(В. Слепцов, «Питомка»)

-

«Черезвый он у нас смирен, так смирен, настоящий андел, хошь паши на нем» (В. Слепцов, «Ночлег»).

-

«Всякому, брат, своя сопля солона», как писал Слепцов.

-

«Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знавал среди них людей

¹ Василий Алексеевич Слепцов (1836-1878) — прозаик, драматург и публицист, а также общественный деятель.

бескорыстных и героических» (В. Набоков, «Другие берега»).

*

Кухонный лед и пламень — холодильник с плитой.

-

Символы силы. Важнейшие в жизни вещи — это не вещи.

-

Ох, Европа, вечно сговаривающаяся! Отрывается коктейлем Молотова-Риббентропа!

*

«Россия граничит с Богом», — так говорил Рильке.

-

«Россия — не нация, а миссия» (В. Бибихин).

-

«Слово, в музыку вернись», — просил когда-то Мандельштам.

-

«Всякий, читая сию примечания достойную книгу, будет удивляться чудесному сплетению судьбы человеческой», — как выражался Карамзин.

-

Еще А. С. Пушкин советовал: «Правду блюсти: ведь оно ж и легче».

-

Как философ Г. Федотов формулировал: «Русская интеллигенция есть группа, объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Раве Саги

Миха

В супермаркете возле моего дома одна старушка наделала в штаны прямо возле главной кассы. Народ вокруг неё стал переглядываться, зажимать пальцами нос и бормотать сквозь зубы: «Какая мерзость...»

Я оставил свою тележку с покупками и подошёл к ней:

- Госпожа, давайте я отведу вас домой, где вы живёте?

Она мягко посмотрела на меня и произнесла:

- Миха?

Я оглянулся на людей, стоявших вокруг и смотревших на нас.

- Миха? Кто такой Миха? Где вы живёте?

Она не помнила... Стояла, крепко вцепившись в матерчатую торбочку, висевшую у неё на плече. Одна из кассирш возле нас принялась распылять из баллончика освежитель воздуха.

Поскольку я жил совсем рядом, то взял старушку под локоть и повёл к себе домой.

По ступенькам мы поднимались очень медленно – одна за другой; запаха я уже почти не чувствовал. На ногах у неё ортопедические сандалии, а из дырявых синтетических носков телесного цвета выглядывали большие пальцы с жёлтыми ногтями. На площадке между лестничными пролётами она остановилась и взглянула на меня, словно пыталась что-то вспомнить.

- Давайте, мы уже почти пришли, ещё один этаж, - пробормотал я.

Мы вошли в квартиру, и я сразу повёл её в ванную. Принёс с лоджии пластиковый стул, открыл кран.

Я снял у неё с плеча торбочку, затем стал медленно раздевать. Она помогла мне стянуть с неё свитер и снять рубашку. Кисти рук были тонкие и холодные, кожа на локтях сухая и морщинистая.

Я непроизвольно оглядел её усталое тело – высохшие дряблые груди, выступающие голубые вены. Я подумал о своём теле, о пятнах на лице, которые всегда замечаю, глядя на себя в зеркальце в автомобиле.

Внешней стороной кисти я проверил температуру воды в кране. Осторожно помог ей забраться в ванну. Затем направил на испачканные ягодички струю воды из душа, смывая остатки экскрементов; при этом меня непроизвольно передернуло от отвращения. Потихоньку намылил её душистым мылом, усадил на пластиковый стул и вымыл шампунем волосы. Затем ополоснул всю из душа.

- Как же это хорошо, Миха, - пробормотала она.

Помог ей выбраться из ванны и завернул в свой махровый банный халат. Её грязную одежду бросил в ванну, чтобы прополоскать перед тем, как засунуть в стиральную машину. Усадил её на диван перед телевизором в своей маленькой гостиной и пошел на кухню приготовить чай. Когда вернулся со стаканом чая в руке, она уже задремала.

Я пошел в ванную комнату прополоскать её одежду перед стиркой в машине. Матерчатую торбочку положил на крышку унитаза. Затем достал из шкафа в спальне одеяло, прошёл в гостиную и укрыл её. На лице у неё было такое умиротворение...

Я вышел на лоджию и позвонил маме.

- Миха?

- Да, мама. Бабушка у меня. Да... Опять, в супермаркете...

Думаю, ты не поймёшь...

Моя подруга звонит мне:

- Где ты?

- Еду к отцу, сегодня годовщина... - отвечаю я.

- Ладно, позвони потом, - попросила она.

Как раз в тот момент, когда я паркуюсь возле дома отца, замечаю, что он стоит на пороге и прощается с тем человеком, и все вдруг возвращается и охватывает меня...

В нашем детстве этот человек многие годы имел обыкновение приезжать к нам. Из своих странствий за границей он всегда привозил нам разные подарки. Шоколад «Сент Морис» для нас – детей, духи для мамы, бренди для

отца. Герман - так его звали, был торговым агентом международной фармацевтической компании и приятелем нашей мамы.

У людей это называется «роман вне брака», но у нас это было не «вне», а как раз совершенно внутри. Три-четыре раза в год он приезжал, раздавал подарки и на несколько дней увозил маму. Отец оставался дома с нами, детьми...

Папа приглашает меня войти, и мы усаживаемся на кухне. На столе, рядом с тарелочкой с пирожными, стоит кружка кофе предшествующего гостя. Папа идёт в туалет, возвращается, рубашка наполовину заправлена в брюки, наполовину выбилась. Он садится напротив меня.

- Я был у мамы утром... Положил цветы.

- Что *этот* делал здесь?

- Кто, Герман? Мы продолжаем общаться.

- Да-а... – произношу я. – Не могу понять тебя, папа; что происходит?

- Думаю, ты не поймешь... Твоя мать любила его многие годы, пока не встретила со мной. А он был такой закоренелый холостяк. Всё время в разъездах, и не хотел осесть. Детей не любил и не хотел. А я окружил её вниманием, мог дать ей дом и семью. Какое-то время мы как бы играли в это. Однако с самого начала мне было ясно, была как бы негласная договоренность, что его она любит больше, чем меня, и что продолжает оставаться в контакте с ним.

Папа машинально сгребает ладонью крошки от пирожных с пластиковой скатерти и отправляет их в рот.

- Но как ты мог терпеть это?

- Я любил её, получал, что мог получить... Это нельзя описать только черно-белым. Когда ты любишь кого-то, ты любишь вне зависимости от того, насколько любят тебя.

- Да, но сейчас-то что он делает здесь? Что это такое - «мы продолжаем общаться»?

- Мы иногда встречаемся. Я ничего не имею против него. Думаю, ты это не поймешь, но встретиться с ним иногда – это для меня словно стать ближе к ней.

Я вспоминаю, что иногда у нас не было выбора – каникулы или что-то ещё, и она с ним брали нас с собой – на выставку в музей или поесть мороженого. Она тогда на нас совсем не обращала внимания, а вот он как раз старался.

- И что – тебе иногда не хотелось убить его? – спрашиваю я совершенно серьезно.

Отец всплёскивает руками, у него даже расширяются глаза.

- Если так, то только за то, - отвечает он, - что он уезжал в свои командировки, и это огорчало её. Но можешь быть уверен, что вся эта ситуация была очень непростой и для неё.

Я киваю и вспоминаю, как она курила сигарету за сигаретой, стоя у окна, забывала про свой остывающий чай, в котором плавали маленькие разноцветные частички цветов.

- Думаю, ты не поймёшь, - бормочет отец уже скорее для себя.

...Когда я выхожу от него и усаживаюсь в автомобиль, у меня ощущение, что в горле застряла горсть гвоздей.

Я набираю телефон своей подруги, она говорит:

- Муж сегодня вернется поздно – приезжай...

(Из сборника «Дела семейные», Тель-Авив, 2015 г.)

Перевод с иврита Александра Крюкова

ПОЭЗИЯ

Татьяна Вольтская

Изменяю тебе с сентябрем

*...И не забудь про меня.
Б. Окуджава*

Мёртвые – похоронены.
Кто там живой? – Нема.
Отче, помилуй родину
Грешную – и меня.

Крыши под снежной толщею,
Изгородь, частокол.
Сколько убили? – То-то же.
Вот мы – глазами в пол:

Труссы, вруны кромешные,
Сорные семена.
Отче, помилуй грешную
Родину – и меня.

Ты же нас создал – зря, что ли,
Выдал нам имена.
Отче, помилуй страшную
Родину – и меня.

Не воскреснет Россия, пока не умрёт,
Докатившись до срама, до вора на троне,
Разбазарив богатство, и честь, и народ,
Пробиваясь сквозь щели травой на перроне.

Только поезд уже не идёт никуда –
Ни на юг, ни на север, ни в райские кущи,

Проплывают над ним облаков города,
Провода с воробьями и дождик секущий.

Нет, уже не воскреснет Россия, пока,
Как зерно, не зароется в хилый суглинок.
Прорастут ли ее городов облака
Посреди пустырей и культей тополиных,
Непонятно, но воздух, как порох, горюч,
И откуда-то звук долетает нечеткий:
Это прошлое, запертое на ключ,
Воет яростно и сотрясает решётку.

А жизнь – всегда не удалась.
Ночной состав идет порожним.
И в вечности гнилую пасть
Вплывает блюдечко с пирожным,

И залихватское авось,
И отзвуки глухого лая,
И мокрый снег, как тайный гость,
Идет, следов не оставляя.

Я изменяю тебе с сентябрём,
С каждым листом – золоченым, багровым,
С горестным запахом, что растворён
В воздухе, с синим просторным покровом,

Лёгшим на головы дальних осин,
Тёмное поле, сияющий тополь,
С шорохом, с дождиком быстрым косым,
Что прохуdivшийся вечер заштопал,

Я изменяю бездумно, взахлёб –
С облаком, с пёстрой лесною подстилкой:
Видно, врасплох меня осень застигла,
Лёгкими пальцами трогая лоб.

Вот я кладу, как на шею твою,
Руку на жёлтую ветку резную,
Вот я лицо погружаю в струю
Стынувших листьев – и слышу: “ревную”.

Весна

Грязь непролазная, наледи, лужи –
Схватки погоды,
Глянцевый ворон над крышами кружит,
Талые воды
С шумом отходят – нужна акушерка.
Синяя жилка
Бьётся на небе. То зябко, то жарко.
Муторно. Жалко

Тающей жизни, под ноги текущей
Тёпленькой струйки,
Клетчатой скатерти, яблочной гущи
В вазочке, в руки

Взятой ладони. Раскинуты ляжки
Снега. Макушка
Сморщенной суши, родившейся тяжко,
Жёлтая стружка

Мокрых волосок. Взлетает сорока.
Вот – уже видно
Землю, кровиночку. Вьётся дорога –
Нить, пуповина.

Тебя любили все женщины, и каждая говорила,
Встречая меня: я тоже его любила.
Расспрашивали дотошно.
А я любила – не тоже.
А я любила, зажмурившись, как будто на солнце глядя,
Как будто в воду входила – круги по холодной глади.
Не ведаю, кем была тебе –
Горошинами на платье,
Что, помню, копейки стоило,
Небесной тропой, землёю ли,
Травинкой, в ладони стиснутой,
Невнятную речью лиственной.

Как там тебе летается
Вечером в облаках?
Ангел похож на аиста?
Что у него в руках –

Кара или прощение,
Милость или закон?
Колокол в отдалении
Слышно – звонит по ком?

Мы из своей истерики
Редко теперь глядим
В облачную мистерию
Белого с голубым.

Что же вы так кричите-то?
Слышишь, ты там спроси
Всё же – когда мучительство
Кончится на Руси.

Вот же, ты видишь, они и за мной пришли.
Жёлтые листья сохнут, лежат в пыли.
Дни суетливы, ночи мои тихи,
Ходят за мною чёрные пастухи.
Ты-то слыхал осторожные их шаги,
Ты-то качал головою – беги, беги,
Я-то бегу – до красной своей строки,
Только они сужают свои круги.
Время разбить бы – бронзовый монолит,
Сесть бы на кухне, водочки бы налить,
Были бы сумерки – хрупкие, из стекла,
Плыли бы наши тающие тела
В небе, как будто их рисовал Шагал,
А по Неве бы, качаясь, плыла шуга.
Вот же, ты видишь, чёрные пастухи
Ходят за мною, горсти сырой трухи,
Глины в глаза кидают, пучки травы.
Знаю, ты прав, конечно, они мертвы –
Вот и стоят на пути, нагоняя жуть,
Воют по-волчьи – но я за тебя держусь.

Чёлочка

Чёлочку? Давайте коротко,
а судьбу - наоборот.
Девочка ошиблась городом,
прозевала поворот.
Так ли было предназначено -
что загадывать всерьёз!
Жёлтой лентой подхвачены
лохмы тель-авивской набережной,
а над ней притворно набожный
неба медный купорос.

Утомительный, упадочный
город шумный и босой -
липнет к сердцу, каждой складочке,
липнет к телу, как песок.
Научи меня неробкая
вся курортная братва
уходить, не слыша окриков,
спешно натянув на мокрое
и одёжки, и слова,

на ходу стареть и маяться,
слать воздушный поцелуй
в зеркалах щербатых маленькой,
на два кресла парикмахерской,
у Роберто, на углу.

В молитвах жадного рассудка
и сердца, сжатого в горсти,
всего важнее промежутки –
дыхание перевести,
прервать несмело разговоров
стремительный круговорот
пробелами, небесным сором
прозрачных пауз и пустот
под кожей, в клетках, в хромосомах,
в синкопах сбивчивых шагов,
в чередованьях невесомых
бегущих по воде кругов...

Среди долины смертной тени
лишь там отыщется ответ,
где слов неплотное плетенье
невольно пропускает свет.

Создатель на исходе дня, на
время отложив работу,
бездумно смотрит сквозь меня,
сидящую вполоборота,
там, за автобусным окном,
одетую не по погоде -
случайным солнечным пятном
щекотно по щеке проводит.

Ну что ж, спасибо и лучу.
Так старики идут к врачу -
вот ваш рецепт, приветы детям.
Они молчат,
и я молчу,
ведь мы приходим не за этим.

Очёчки круглые надень,
чтоб разглядеть, как неприметно,
безоблачно, почти безнебно
неяркий наступает день.
Не потому, что дождь прошёл
и злые отсырели спички,
а просто следуя привычке,
всё в этом мире хорошо.

Всё впереди и всё не к спеху,
поверь колодезному эху,
не нужно голос повышать,
не нужно скорость превышать –
того гляди, проскочишь мимо
той встречи, что невосполнима,
она вдали от лишних глаз
уже задумана для нас.

Наживую день нанизан -
праздных бусин череда.

Пара горлиц над карнизом
суетятся у гнезда.

Черновик случайных линий,
незаконченный эскиз -
пара крестиков-былинок,
пара ноликов-яиц.

Это свойство птичьей крови,
или просто невдомёк,
что висит на честном слове
их затейливый мирок,

что даны над зыбкой бездной
нам и пища, и постель,
и стекляшек бесполезных
драгоценных канитель,

что права одна лишь птичка
с эбонитовым глазком -
эта горлица-привычка
цвета кофе с молоком.

тебя, меня не станет -
мы сплетены навек
теньями над висками,
морщинками у век

на самый крайний случай,
на жгучий этот миг -
скрипучею, зыбучей
постелью на двоих

я - как всегда, у стенки,
ты - за окном листва,
артритные коленки,
запретные слова

наш лепет легковесный,
эльфийское письмо
скрепит смолы древесной
целебное клеймо

*"Во всём мне хочется дойти
До самой сути..."*

Небрежно вечер пролистал
дневную смуту,
а дождь пошёл и перестал
сию минуту,

и запотевшего стекла
сложились льдинки
в ту, что утеряна была,
деталь картинки,

единственной, которой нет
второго шанса -
но ты замешкался в ответ,
но ты смешался,

ты даже пригубил вино,
но не ответил,
когда чердачное окно
захлопнул ветер,

разъединив - судьба слепа -
простые звенья
не в тот момент острей шипа,
не в то мгновенье,

и снова день заполнен той
родной и горькой
необходимой маятой
или уборкой,

тряпье на полках проредишь,
проветришь ветошь -
ничем себя не убедишь
и не утетишь.

Забудутся живые лица
и те, глядящие со стен -
всё впереди и всё простится,
но что-то отдаёшь взамен,
простую плату, не дороже

последних спичек в рюкзаке,
солёной патины на коже,
следа от гальки на щеке.

Пока на плёнке кропотливо
все фотографии честны -
ненаказуемо счастливой
и виноватой без вины
очнёшься тем далёким летом,
ослепшей от дневного сна,
пока, взойдя над парашютом,
ещё не рухнула волна,
и ты, разлучница, каналья -
ещё эскиз, ещё вчерне -
невозмутимо-машинально
несёшь ребёнка на спине...

Ева

не печальней прочих,
что ж тебе ещё?
мягким станет ночью
твёрдое плечо

из ребра и воска, он
такой один -
терпковато-жесткий,
яблоко-кандиль

не твоя победа,
не твоя вина,
что до края света
ты ему дана

редкой и негордой
гостьей у двери,
маленьким и горьким
семечком внутри

Поздних строчек лён и хлопок,
рифмы стоптанный каблук...
старой быть не так уж плохо:

не бежать на каждый стук,
не частить, срывая голос
ломкий,
каждому в ответ -
нет, не гордость, просто годность,
там, где тонко - сносу нет.

Вот и стелется упрямо
небо, ноское вполне,
что всегда хранила мама
в нижнем ящике, на дне -
для кого-то повод веский,
для меня отрез льняной,
нет ни дочки, ни невестки,
чтоб донашивать за мной
те весенние задворки,
те забытые слова,
снега девичьи оборки,
мокрых веток кружева.

Абрикосы падают в траву

Все уляжется. И улеглось.
Все уляжется – вот и слежалось.
Там и острая юная злость,
и последняя нежная жалость.
Из безвременья, издалека –
отделяя порядок разгромом,
по оврагам считая века
и эпохи по горным разломам.
Угадай, ощути, улови
недоступную глазу границу.
Может, только строка о любви
в этих толщах могла сохраниться.
Стратиграфия новых времен -
легкой дымкой по краю вулкана.
«Ты сказала – и этот влюблен».
И опять раскололась Гондвана.
Из глубин, в обезумевшей мгле,
в восходящем бесчинстве азарта
потекли по горящей земле
раскаленные строки базальта.
Над неспешной, над тусклой Невой
угляди шутовским телескопом,
где схлестнутся пожар мировой
с регулярным вселенским потопом.
И уже не на нашем веку –
при глубинном турбинном буренье
вдруг сломается бур о строку
неизвестного стихотворенья...
Нежный гений, колдун, драматург
красной клюквой облитого войска,
все быстрее, все бешеной круг.
Все уляжется. Ты успокойся

Не первые мы, не вторые
Кто звал эту землю своей.
В курганных степях Киммерии

Могилы бессмертных царей.
Знакомая черная стая
Снижается над головой,
Тяжелые крылья пластая
Над крашеной красным травой.
И топот табунный, чугунный
И поле от пыли темно...
А готы идут или гунны –
Убитым не все ли равно?

Летний сон. Полночная прохлада.
Мягкий звук – во сне иль наяву?
Ты не бойся, – там, во мраке сада,
абрикосы падают в траву.
Тихий отдаленный ритм прибора
медленно качается вдали,
словно предназначен нам с тобою
краткий промельк жизни и любви.
Зыбкими мерцающими снами
мир и сад качаются в стекле.
Ты не бойся – это было с нами.
Может, только с нами на земле.
Ничего другого мне не надо,
пусть приснятся, если доживу, -
сонный сад, июль, во мраке сада
абрикосы падают в траву

Млечный Путь. И в поисках ночлега
век из века тащится телега.
Притяжение и отторжение –
лучший способ для передвиженья.
По обломкам рухнувших империй,
через гравий вер и суеверий
колеса дробящее движенье –
притяжение и отторжение.
Это было болью и любовью,
нашей стариной и нашей новью
на камнях Египта или Рима...
Все уже без нас. Отдельно. Мимо.
Ибо нам разрешено судьбою
только то, что можно взять с собою,
и от Вавилона до Гранады

виноватых нам искать не надо.
Граждане цыганские евреи,
мы играли в этой лотерее,
мы галдели в этом балагане,
граждане еврейские цыгане.
Странники, изгнанники, бродяги –
ямы, рвы, канавы и овраги...
И повсюду нам принадлежали
только те, кто в этих рвах лежали...
По золе Варшавы, сквозь руины,
через смрадный морок Украины,
только то, что можно взять с собою...
Что там – кроме памяти и боли,
что там – кроме нежности и муки –
в узелковых письменах разлуки?
Притяжение и отторжение –
мировая формула движенья.
Плыло болью, остывало былью,
звездной солью и подзвездной пылью.
Альтаир, Арктур, Капелла, Вега –
век из века в поисках ночлега.
Грозный гул, кибитка кочевая...
...Блеск костра меж звезд опознавая...

Ночь не спросит. Утро не ответит.
Ветер провожал нас – ветер встретит.
Жемчуг мелок. Да и супчик редок.
Улыбнись подруге напоследок.
Улыбнись подруге, ей досталась
кочевая поздняя усталость.
С моря тянет ветром незнакомым.
Ветер пахнет дымом, а не домом.
Словно от привала до привала
нам судьба колоду тасовала.
Там в колоде обещаний много,
а сбылась лишь дальняя дорога.
Поклонись дороге – ты свободен.
Нет на свете ни одной из родин.
А уж от чужбины до чужбины
что тебе все пальмы и рябины...

Спи, любимая, так хороша
долгожданная наша свобода,
неспроста на гудок теплохода
откликнулась печалью душа.
Спи, любимая, так коротка,
так спокойна заря над волнами,
и не ветер проходит над нами –
только нежность несет облака.
Открывается берег вдали,
а над ним высоко, как в мираже,
эти старые горы на страже
засыпающей бедной земли.
Спи, родная, за эти года
всё, что было и мной, и тобою
стало просто одною судьбою,
неразъемной уже навсегда.
Спи, родная, в полночную тьму
погружается берег прекрасный.
То, чему эти горы подвластны,
неподвластно уже ничему.

Каролина Собанская

Красавица, лошадка, волчья сыть,
перенесла, как Польша, три раздела,
и как сама при этом не згинела –
нет Лотмана, и некого спросить.
В те вольные крамольные года
собой дарила – как благодарила,
а что она действительно любила?
Стихи? О, нет. Поэтов. Иногда.
Гордячка, умница, и горе по уму,
она еще припомнит в день печали –
кому б они стихов ни посвящали,
ей – лучшие. Такие – никому.
Два гения ревнивых языков,
они шалели, а она шутила.
Но ею вдохновленных строк хватило
для двух народов и для двух веков.
Измученные нежностью моря
на опустелый берег строки сложат –
... я вас любил. Любовь еще, быть может... –
но - жизнь, но – страсть, но – гибель – все не зря.

Не доблесть и не лесть,
не честь и не заслуга –
мы просто жили здесь,
на самом юге юга.
Мы не придем из тьмы,
и тьмы с души не смоем,
но это были мы -
под небом и над морем.
И наше ремесло –
не придавать значенья,
а ждать, чтоб все ушло
в сиянье и свеченье,
чтоб наш недолгий след,
с двойным сливаясь светом,
исчез, как пена лет,
легко летящих с ветром.
чтоб помнилось в крови
незнаемое прежде -
все море – о любви,
все небо - о надежде.

Сквозь редкий снег

Спящей ночи трепетанье...

А. Пушкин

Вой ветра или чей-то плач?
Я подошёл к ограде –
в саду безмолвно стыла ночь,
и всё затихло вроде.
Сверкнул светильник из-за туч
и тоже стих бесследно.
О чём ты, стих, заводишь речь?
О ком ты? Здесь безлюдно.
В ночной квартире я один.
Один. Чего ты хочешь?
Угомонись. Среди этих стен
ведь только ты и хнычешь.
Как поводырь, меня провёл...
Провёл? Но я не слеп и
я не был там, где ветер выл,
и не слышал ни всхлипа.
И я не рад тебе, не рад,
как если б ты постылым
мотивом мне пророчил труд,
который не по силам.

Ты узор, нерукотворно вышитый,
жизни бережно осиль.
Видишь, как слетает с крыши той,
вьётся пыль

снежная, покуда не рассеется,
в чистокровном воздухе висит,
тянется, и светится, и веется,
как дымит

во дворе котельная и, стало быть,
как на белом – гаревый налёт,
как умеет косо ломом скалывать
вратник лёд?

Пристально во всё вживись:
в переключку огненную фар, в
бег служивого – как, съёжившись,
дышит в шарф.

Несказанное лови, бесшумное.
Я в разрыв проникну временной
и, пока не выдворен, вдышумоё
в то, что мной

станет после жизни, и с удвоенной
силой ты увидишь вдалеке
гаснущий мой вечер, упокоенный
здесь, в строке.

Времени подорожание.
Но ещё не истощились дни –
острое даёт переживание
мягкость приложения ступни.

Выдоха и вдоха откровение.
Поручень в трамвае тронь –
чувствует его ладонь
как последнее прикосновение.

Этот путь протоптанный
новонабранным стал днём:
вот он я стою как вкопанный,
лишний раз рождаясь в нём.

Снегом приголублена окраина.
Возле «Гастрономии», раскос,
с мордой лисьей пёс
ждёт богоявления хозяина.

На рождение Аполлона

Чуть я ступил в весенний сад,
где пели птички остроликие,

и мой по вертикали взгляд
отправился в поля великие,
как вмиг случайная строка
заискрилась звеном связующим,
и кирха стройная, строга,
перстом явилась указующим.
Но в облаках не Страшный суд
увидел я, не меч суждённого,
а неба нежного лоскут
как пятку бога нарождённого.

когда я жил её любя
и с нею слитно
я повторял внутри себя
свою молитву
не дай отчаяться строкой
и поразиться
что кто-то дольше чем другой
под небом длится
не дай ей смерти никогда
чтобы на свете
она осталась навсегда
не дай ей смерти

Минувший стихотворец

Старатель приисков золотиносных
в продольных гулах улиц, вахт
ночных сжимающий свой посох
(гусиное перо), подъёмных шахт
блюстителъ, чахнувший кашей-зачинщик
непререкаемых речей,
их сточенный на нет точильщик
и – кто ещё?.. Старик. Точней,
отслеживатель всяческих мерцаний –
не окон – ламп зашторенных скорей
и обречённый слушатель бряцаний
в небытие грядущих фонарей,
а по весне, где верховодил
апрельский день, лазоревый на срез,
я тайнозритель просветлённых вётел
и созерцадик царственных небес.

Не се ль Элизиум полнощный...

А. Пушкин

Сквозь редкий снег мы этот город весь
пойдём и удивимся с непривычки,
какие ходят худенькие здесь
колеблющие воздух электрички,
как, в сумерках впадая в забытьё,
Господень храм без пристальной опеки
разменивает золото своё
на нищий сад, всё сбывший до копейки,
как зимний день умеет озарить
в оконных переплётах те страницы,
в которых он приговорён прикрыть
в три пополудни серые ресницы.
Вот эти жизнь и смерть, не обессудь,
смотри, не оскверняя их проклятьем,
и если ты не римлянин, то будь
невозмутимо зорок, чтобы стать им.
Пойдём весь город вдоль и поперёк,
висящий на пунктирных нитях,
чтобы забыть роскошность этих строк,
не стоящих его, забыть, забыть их.

Последний поэт

*Исчезнули при свете просвещения
Поэзии ребяческие сны...
Баратынский*

К стене отвернувшись, последний поэт
стене набормочет торжественный бред:
мол, жил — да сражён наповал.
И с этим отправится в горний приют
из места, где походя рифмы куют,
с кем попадя пьют, без разбора дают.
И я там когда-то бывал —
на кухнях сидел и гудел допоздна,
в подъездах любил и гулял допьяна,
на ста панихидах стоял.

О, если последний гороховый шут
избавит себя от назойливых пут
чужих равнодушных забот
и в тапочках белых на сцену влетит,
где Божий прожектор его осветит,
и руки расправит в алмазный зенит
на вечный, на млечный полёт —
кто вместо него для созвучья *lyubov*
слизнёт окончанье со лбов и зубов,
кровавую рифму найдёт?

На диком, на варварском том языке
последний придурок с душой налегке
оставит охапку цитат.

Придёт листопад — отвратительный тать,
немытый, небритый, соседскую мать
вотще поминающий. Время считать
по осени голых цыплят.

А в это мгновенье святой идиот
назад к золотистому маю идёт —
безгрешный — в черешневый сад.

Мы что-то кропаем в своих мастерских,
крысята, бесята в пеленках сухих,
с пустышками в юных зубах.

Приставка и корень, значение и знак,
и красен, и чёрен, и эдак, и так,
но пусто, а было почти что верняк,
но швах — и опять на бобах.
И больше никто, никогда и нигде
не сможет гадать на хрустальной воде,
на прелом листе, на падучей звезде,
впотьмах, впопыхах, второпях.
И звонким агу со слюной пополам
толкаются в ребра и в бороды к нам
младенцы в уютных гробах.

Ну хорошо, допустим, что опять
придется отступить на ту же пядь,
которую когда-то
уже из малодушья оголял —
тогда по обмороженным полям
скакали кирасиры,
и в этой оглушительной мазне
досталось по углу и Вам, и мне,
а что до результата,
то пусть о нём заботится не тот,
кого чутьё блудливое ведёт
на запах керосина.

Мы это проходили и не раз —
чесать затылок, морщить третий глаз,
а то еще прилежней —
мусолить антикварный карандаш
и мучить исторический пейзаж
свинцом сухим и кислым.
В кампании минувшею зимой,
мадам, оставим проигрыш за мной,
а вам оставим прежний
свободы запах, трупное ура,
чьё эхо докатилось до вчера
с забытым напрочь смыслом.

Однако полистаем наш альбом.
Возможен вариант, когда вдвоём
останемся и пылко
любить друг друга будем: на дворе
бренчит клавир, шампанское в ведре

для кавалера Глюка.
Он к этому привык — пытливый взор
уоставив на узорчатый забор,
откупорить бутылку.
Ла дойче вита, лучшая из вит,
чью плесень сырной тенью изъязвит
развесистая клюква.

И я привык — войти себе в вагон,
как джентльмен, когда восходит он
на палубу фрегата,
чтобы покинуть родину свою —
и я в проходе жертвенно стою
и молча в Вену дую.
В моём купе просторно, там уют,
там к ужину салфетку подают,
а тут, стеклом измято,
знакомое лицо в чужую роль
вживается, преодолая боль,
уже почти вслепую.

Между пальцев скользящую, между
неизвестным значеньем и словом
общепринятым, можно надежду
для примера сравнить с крысоловом,
а себя — с соблазнённым малюткой.
Предположим, что это поможет
и, начавшись невинной погудкой,
на литавры тромбоны помножит —

что с того? Будешь, с рифмами рядом
копашась по давнишней привычке,
проводить независимым взглядом
убегающий хвост электрички,
ежедневно садиться за парту,
называть, что попало, любовью.
Пусть откликнется этому марту,
что аукнется средневековой,

пусть откликнется этому полдню,
что аукнется ночи всегдашней.
Я запомню и строчку заполню
нехватящей пашней и башней

duecento. У этой картины
есть особенность: город Орвьето
и Лапоне, именье Кристины,
и с орбиты слетевшее лето.

Всё сошлось — от конкретных деталей
до весьма отвлечённых понятий,
но мозаики краше не стали
после самых разумных изъятий.
Мизантроп Синьорелли в duomo
напугать никого не берётся,
а тому, кто отбился от дома,
надо верить, что всё обойдётся.

— Прощай, прощай, и помни обо мне, —
взывает привидение к галёрке.

— Остынь, остынь, но помни об огне,
не видь, но взгляд запомни дальнорский.

Мужчина сгинул, женщина ушла,
но почему-то выпукло и вещно
в тот морок, где сплетаются тела,
хотим, чтоб память возвращалась вечно.

Продлить существование вперёд.

— Ты не забудешь? Верно? Не забудешь?

Ты разглядишь, когда не разберёт
никто другой за тьмью и за бурей?

Продлить существование назад.

А там — пурга. Чужую дверь царапай
и в прошлое гляди во все глаза,
чтоб по спине — мороз шершавой лапой.

Наморщенная простыня
бутылочного стекла
уже к середине дня
густых небес голубее.
У края глаз пролегла
обманчивая западня,
серебряная игла,
сирены, Пантикапеи.

С обрыва видно насквозь,
что листья травы морской

стремятся не на авось,
но как магнитные стрелы —
как будто властной рукой
Господь на земную ось
навёл их поиск слепой,
несмелый и неумелый.

Кто б ни был ты — не спеши.
Пусть с этими заодно
побеги твоей души
направит Божья десница —
там тоже глухое дно
и тоже в сырой глуши
ни солнечно, ни темно,
но мрак золотой гнездится.

В коконе гладком таится душа,
тянется сладко.
Жизнь неизведанная хороша
вся без остатка.

Кровью зелёной сочатся хвоци
травы и листья.
Чашечку с пенным нектаром ищи
что подушистей.

Звонкие крылышки — как витражи
готики колкой.
Сухоньким тельцем навеки свяжи
рамку с иголкой.

По Аппиевой дороге уходя на юг,
что видишь — то поёшь. На цветном серебре
гусята, кандидаты фольклорных наук,
идут напиться *alla fonte del re*.
Вода в источнике хмельнее, чем алкоголь,
прозрачнее воздуха над Святым Петром.
О, щедрость хозяев, которым только позволь —
и на перекрёсток изольют её вчетвером!
Итальянская псина лениво изобразит гав-гав,
охраняя домик, столетьями пережёванный весь.
Философ, погребённый в окрестностях,
разумеется, прав,

но это можно понять только сейчас и только здесь.

Туристических картинок нащёлкав до тошноты,
мгновенно утратишь неприличный апломб
и протрезвеешь, вспомнив, откуда явился ты,
дойдя до еврейских катакомб.

Мы вышли из кино. Говно смотрели,
обычное враньё,
хотя всё было, как на самом деле –
герои ныли каждый про своё.

А мы брели московским переулком,
зачем–то обсуждая эту хрень.
В весеннем воздухе, пустом и гулком,
погас ещё один ненужный день.

Нам предстояла глупая разлука
с рыданием в телефон.
Любовь – она такая, знаешь, сука
(нет, этот фильм – не он,

не тот, другой). Пройти осталось малость –
а там расстаться. Бережно–близка
в моём кармане птичкой согревалась
твоя рука.

Разъехались колёса у телеги,
одно нацелилось в овраг,
другое до сих пор в бездумном беге
по-гоголевски катит просто так.

Вот без тебя уже который день я,
который год. Жужжит веретено
и парка пряжей тацит в сновиденья
то самое кино.

Один

«Никого не будет в доме...»¹
Эта песня мне знакома.
В сердце - вечная истома.
Ожидание чудес.
За окном сгустился вечер.
Антураж: вино и свечи.
Время ран, увы - не лечит.
Впору ныть: «Мне скучно, бес!»²

Никого в квартире сонной.
Прочерк в книжке телефонной.
Книжка - в цвет тоски зелёной.
В трубке - долгие гудки.
И становится понятно -
Чудеса - невероятны.
То, что было, невозможно
Кануло на дно реки.

Но ведь был он - вкус нектара!
Платье чёрного муара...
Я, как скрипку из футляра,
От него освобождал.
Был как мальчик - робок, нежен.
Океан любви безбрежен.
Словно ученик, прилежен -
Каждый вечер встречи ждал.

Снег - как пепел похоронный.
У окна - поэт влюблённый.
Я один в квартире сонной.
И себя - безумно жаль.
Полночь стынет на изломе.
Боже! Что ж так тяжело мне?
«Никого не будет в доме...»
Одиночество. Печаль.

¹ Б.Пастернак.

² А.С.Пушкин.

Мольба

Возьми меня с собой, мой капитан.
Сбегу я из прокуренной таверны.
Подальше от греха, стыда и скверны.
Возьми меня в одну из жарких стран.
 Возьми меня с собою, я молю!
 Ведь ночью брал меня и не стыдился.
 В слезах проснулась. Утром сон приснился -
 Я с берега махала кораблю.

Возьми меня с собою на Бали.
Служанкой или палубным матросом.
Я набивать умею папиросы
И поджигать у пушек фитили.
 Не стану я помехой кораблю.
 Я при живом отце была рыбачка.
 А нынче, как побитая собачка,
 У ног твоих отчаянно скулю.

Возьми меня с собой куда-нибудь.
Хоть к чёрту на рога, хоть на Бермуды.
Я перемою коку всю посуду.
И буду ублажать тебя весь путь.
 Возьми меня в одну из жарких стран.
 Возьми меня с собою, сделай милость!
 Но... с громким стуком дверь за ним закрылась.
 Я плачу. Он ушёл - мой капитан.

Приворот

По-над полем за кругом круг -
Крыльев тень да вороний грай.
Никому из твоих подруг
Не отдам тебя, так и знай!

Уведу тебя в тёмный лес
От людских, любопытных глаз.
Плотский грех - это мелкий бес.
Он один на двоих у нас.

По-над речкой туман густой,
Да русалок недобрый смех.
Нет спасенья - хоть волком вой.
Ты узнаешь - что значит грех.

И не то, чтобы мил да люб.
Ты мне - раб, слуга, крепостной.
Сладким стоном дрожащих губ
Заплачу тебе, пленник мой.

Это всё - не любовь, а блажь.
Просто так захотелось мне.
Я же знаю, что ты предашь.
Так увидела я во сне.

Но пока моя власть сильна -
Пусть ко мне тебя приведёт
Колдовская моя весна
И любовный мой приворот.

Я опоздал

На сотню лет я опоздал родиться.
Или - на двести, триста лет назад.
Я приручил бы дикую волчицу
Хлыстом, как нас учил маркиз де Сад.

Я опоздал - и измельчали страсти.
Но отчего - и сам я не пойму.
Там ты была моей покорна власти.
А нынче я - в твоём томлюсь плену.

Я опоздал... Где шпага и ботфорты?
Где замок мой и кубок золотой?
От прошлых дней остались лишь офорты.
Колдунья, что ты сделала со мной?

Я опоздал... Какою ворожбою
Меня ты в чуждый век перенесла?
Колдунья, что ты сделала со мною?
Ведь всё, что было - выжжено дотла.

Я опоздал. Ты - дикая волчица.
И мне тебя уже не усмирить.
Но отчего мне вновь ночами снится
Что ты страдать способна и любить?

Я опоздал. Рубцы на нежной коже -
Нет, не моей рукой нанесены.
Но с ними жить - нам суждено, похоже.

Хотя бы ты - не чти за мной вины!

Я опоздал. Вокруг иные лица.
Лишь ты - что снилась мне из года в год.
На сотню лет я опоздал родиться.
На двести, триста... или на пятьсот.

Детская любовь

Мы хохотали, дышали на стылые стёкла.
Снег новогодний... На ёлке гирлянды мерцали.
Память об этом с годами изрядно поблёкла.
Помнишь? Мы взрослыми стать поскорее мечтали.

Мы обнимались прилюдно, без тени стеснения.
Мальчик и девочка. Наши родители дружат.
Жалко, что всё в этом мире подвержено тленю.
Утро - для радуги. Вечеру - чёрные лужи.

Помнишь портфельчик, вручаемый мне как награда?
В спину дразнилки на тему "жених и невеста"
Ты улыбнёшься - а большего мне и не надо.
Губки надуешь - понятная форма протеста.

Славно-то как! Вспоминается с лёгкой печалью.
Пылкие речи, объятия и поцелуи...
Всё это в прошлом. Укрыто за тонкой вуалью.
Фея из сказки прошедшее не наколдует.
Помнишь, как в детстве глядели в глаза не моргая?
Память - крупинки, что собраны мною в лукошко.
Ты далеко... Но сейчас вспоминаешь, я знаю -
Эти гирлянды на ёлке и снег за окошком...

Бестужевка

Подле мраморной колонны
На паркете навощённом
С подпоручиком влюблённым
Танцевала ты кадрили.
И дарил поэт автограф.
Пыхал магнием фотограф.
Зазывал синефотограф
То ли в сказку, то ли в быль.

Над Невой орёл державный.
Быть бестужевкой забавно.
Нынче праздник православный.
Не печалься, ангел мой.
Спит промокшая столица.
А тебе ночами снится -
Ты летаешь словно птица
Над балтийскою волной.

Сны Цветаевой Марины И
Есенина рябины...
Колокольный звон малинов.
Романтичный свет луны.
Портсигары, вуалетки.
Экипажи и левретки.
Петербургские кокетки.
И предчувствие войны...

Стихи умрут

Допит гель для душа «Фиштан и кашташки»,
Закончился термос, кончается год.
Я просто родился в ехидной тельняшке,
Нервирую вас, я – подводный енот.

Но все же мы с вами глушили по банке,
Теперь без меня: я с тоской, да не тот.
И вам с легким паром, мне – путь самобранкой,
Кривлялся по-доброму хитрый енот.

Когда я уйду, я оставлю свой веник,
Попарьтесь без злобы, когда я уйду.
Я съем за вас дома тарелкупельменей,
Я – тот, кто остался последним в пруду.

У нас - уже десять, у них - еще восемь,
у них – впереди, а у нас – пора спать.
Какая тяжелая выдалась осень,
скорей бы зима, отправляйся в кровать.

Быстрее пережить увяданья эпоху,
укрыться в глуши, переест, переспать.
Осеннюю спячку жалкие кроши
пытаются страшную жизнь переждать.

*** Исчадие
сада, Работа - не
волк. Идет за
наградой
редеющий полк.

Но как ни нагнешься,
она ускользнет.
А как отвернешься,
сама приползет.

Что ты человеку —
гарнир или волк?
Иди в ту же реку,
седеющий полк.

Так невозможно нам
Не избежать потерь,
Тонет гиппопотам
И заменяют дверь.

Сколько б ни сожалел,
Будет мертв или жив,
Старый буфет сгорел,
Бродского пережив.

Вещи ценней людей И
долговечней их, Люди
смешней вещей,
Храм переходит в стих.

Строчку соорудил
«Нотр-Дам-де-Пари»,
Дерево посадил,
Позже его умри.

Сколько б ни сожалел,
Разницу не простив,
Старый буфет сгорел,
Строчку не пережив.

Мертвецы одинокой сосны
Из заброшенной шахты восстали,
Вы, ребята, нас зря потеряли,
Мы – стихи вот такой глубины.

Мы спешили поярче прожить,
Поклонялись неистовой силе,
Только рано вы нас схоронили,
Мы сумели себя потушить.

И обугленной плотью своей
Заполняем мы ваши пустоты,
Убегайте скорее, сексоты,
Корольки умолкающих дней.

Я видел много великих людей,
Но сам великим, увы, не стал.

Увы, в истории попадал,
Как алкоголик, прелюбодей.

Поскольку плохо словом владел,
«Увы» и «каки» везде втыкал,
Увы, в историю лишь попал,
Как добрый мастер паршивых дел.

За то, что каюсь в своих грехах,
Свое прощение заслужил.
За то, что каюсь в своих стихах,
Свое бессмертие получил.

Мои стихи умрут вместе со мной,
Они без меня не смогут, они слабы.
Сразу наступит крах неизбежный мой,
На свято место вмиг набегут рабы.

Цветы зачахнут, не протянув и дня,
Их не польет слезами неверный раб,
Они - частицы маленькие меня,
Но что поделать, сам я и мал, и слаб.

Что ж, предвкушайте, слуги, свой звездный час,
И примеряйте будущие блага,
Я не поставил раньше в известность вас,
Что я бессмертен, слава недорого.

Ты – подстилка вампирская,
Настоящая смерть.
Я устал быть неистовым
И уехал в Бисерть.

Здесь – сплошное убожество,
В ней– одна лепота,
Если жизнь моя сложится
На большие лета,

То тогда мемуарами
Я про все опишу,
Болевыми ударами
Я за все отомщу.

Я воздам всем по полочкам,
Где какой проживал,
И, обутый с иголки,
Досмотрю сериал.

Последний человек. Верлибр

1.

В последний раз мы обнялись 4 ноября
В 18 трамвае
Я вышел на остановке Бажова с дочкой
Он помахал нам
Двери закрылись и трамвай уехал
Потом он позвонил мне и сказал
Что благополучно добрался
Он звонил мне почти каждый день
Иногда 2-3 раза в день
Читал мне новые стихи слушал мои
Потом один по его выражению
«Он был моим другом» написал
Что он умер от тоски

2.

В пятницу мне позвонил Виктор Смирнов
Я прочитал ему 2 ноябрьских стихотворения
Он расхвалил их как обычно
Он рассказал мне что прочитал уже
Половину романа «Жизнь и судьба»
В субботу днем я посмотрел
Наконец фильм «Восход солнца»
В воскресенье вечером мы посмотрели
С женой половину «Последнего человека»
В понедельник утром мне позвонил
Дмитрий Рябоконт и сказал что умер Виктор Смирнов
Он так и не дочитал «Жизнь и судьбу»
Я больше никогда не буду смотреть Мурнау
Не досмотрю даже «Последнего человека»

Совсем не давние стихи

Пойти гулять, как ходят горожане,
на созерцание настроив глаз.
И позвонить Жюли, Жанетте, Жанне,
чтоб получить решительный отказ.

Подошвы волоча по тротуару,
насвистывать какой-нибудь мотив.
Послать привет распивочной и бару,
где горожане ждут аперитив.

Идти на свет без боли, без кручины,
минуя старый рынок вещевого,
где поедают следствия причины
по правилам цепочки пищевой.

И там, вдали, увидеть и очнуться.
И там, вдали, суметь предугадать,
как тротуары медленно качнутся
и снизойдет на город благодать.

Как медленные эти горожане
засветятся друг другу напоказ...
И позвонить жене, Жанетте, Жанне,
чтоб получить решительный отказ.

Пойти гулять. А дальше - будь что будет.
Пойти туда, подошвы волоча,
где виноват не тот, кого осудят,
а тот, кто судит, молотком стуча.

Притча

У живущих на горе
в бесконечном горе
нет дровишек на дворе,
нет свечи в притворе,
нет обычного руна
для зимы холодной,
нет обычного вина
для зимы голодной.
Даже нечем протопить

печку-невеличку.
Жить - как будто бы не жить
в их вошло привычку.

У живущих под горой
в бесконечном счастье
ежедневный пир горой,
разносолы, сласти.
Золотого несть руна
в складах многорядных,
золотого несть вина
в погребах прохладных.
Печи жаркие в домах
сшиты изразцами,
мысли жалкие в умах
свиты мудрецами.

Под горой нагорных жгут,
травят дымом черным.
На горе готовы жгут
наложить подгорным.
Если ж ты, дружок, не вник
в существо проклятья,
запиши себе в дневник:
"Люди - это братья!"

Это твоя страна.
Родина тьмы и света.
Осень, зима, весна,
многая лета...

Климат здесь, как закон.
Еще со времен Ноя
жарок и влажен он,
как параноя.

Климат диктует речь,
мысли и темперамент.
Климат диктует жечь -
тоже ведь твой параметр.

Сущее бьет ключом
в лоб, а кого и по лбу.

Твой народ заключен
в древнюю колбу.

Это твоя страна. Это твоя
реторта. Вселенная
замутнена, размыта, почти
что стерта.

Но народ твой живуч
в молитвах, в любви, в рутине.
Несмотря на сургуч
на горловине.

Не великий числом,
народ твой - праведник плена.
Он не готов на взлом
кода и гена.

Лишь бы не вышел весь
дух твоего народа,
когда истощится смесь
азота и кислорода.

Черный блюз

Ночь с одной стороны окна.
Я с другой стороны окна.
И с обеих сторон черно
это окно.

Ни просвета, ни фонаря
в этой точке календаря.
И с обеих сторон зима,
будто тюрьма.

На клеенке халва и мед.
Око видит, да зуб неймет.
И с обеих сторон стола
тьма, как смола.

Одиночество. Будни. Быт.
Самый близкий - и тот забыт.
И с обеих сторон души
нет ни души.

Ни у меда, ни у халвы
нет ни сердца, ни головы,
хоть с обеих сторон слова -
мед и халва.

Остается сказать "прощай",
пить холодный зеленый чай,
чтоб с обеих сторон стекла
ночь истекла...

Дождь с одной стороны окна.
Я с другой стороны окна.
И с обеих сторон окно
окроплено.

Как хорошо брести по холоду
среди медведей и людей!
Как хорошо очистить голову
от рифм, от ритмов, от идей!

Брести в бездумье по колено
в географический туман,
где Обь, и Енисей, и Лена
впадают в белый океан.
Как хорошо, когда на свете -
в пустыне, в городе, в тайге -
никто - ни люди, ни медведи -
уж не нуждаются в тебе!

По ветренному захоластью не
проходить, а просто течь. Вот
так река стремится к устью.
Вот так к устам стремится речь.

Брести и видеть, как искрится
твоя счастливая звезда...
И в бездну впасть. И раствориться.
Без сожаленья. Без следа.

Стены

Я проходил по разным сценам
лет сорок, сорок пять назад.

Теперь стихи читаю стенам,
и стены на меня глядят.

Они глядят не так, как зритель,
купившийся на бред и блеф,
а как воитель, небожитель,
мою последнюю обитель
своим скелетом подперев.

В них нет ни воли, ни измены,
ни человеческих примет.
Они внимают мне, как стены,
как арматура, как скелет.

Но в их молчаньи, будто в тленье
зари последнего огня,
мне чудится одушевленье,
давно предавшее меня.

А стены слушают и внемлют,
как другу или как врагу,
и лжи, представьте, не приемлют,
как будто я солгать могу!

И если б как-то я попытался
сменить серьез на моветон...
О, други, кто из вас остался! -
как молвил некогда Платон.

В них нет ни гордости, ни лоска,
ни репродукций, ни знамен.
На них потертая известка
доисторических времен.

Они стихам моим внимают,
совсем не грубы, не глухи,
и как-то тихо понимают,
что это важные стихи.

И если жизни перемены
развеют все мои года,
мои отзывчивые стены
меня запомнят навсегда.

**Пояснительная записка перед эпилогом,
которая мало что проясняет**

(Фрагмент из романа «Гой»)

Слово берет автор, и пусть читатель, насколько это возможно, не сомневается, что с ним говорит действительно тот, через кого текст романа «Гой», эпилог которого еще впереди, был явлен миру. Рене Декарт, разумеется, постарался бы усомниться и в этом, и я не стану с ним спорить, потому что в настоящий момент, когда роман близится к завершению, и сам уже со всей определенностью не скажу, я ли говорю на его страницах, когда полагаю, что это говорю я.

И все же, когда я начал сочинять роман, то понятия не имел, сколько времени это займет. Ясно было, что за день-другой вряд ли получится справиться с задачей, поставленной передо мной, кто бы ее ни поставил.

Но как быть со стихами, если во время сочинения прозы они будут приходить к автору?

Просить Музу подождать?

Это немыслимо.

Я решил, что если стихи все-таки будут приходить во время сочинения прозы, то я отдам их героям складывающегося романа. Но у героев оказалось свое мнение на этот счет. В одних случаях они соглашались принять на себя авторство, в других – нет.

И тогда я решил, что авторство всех стихов, которые придут ко мне во время сочинения романа, я оставляю за собой. Роман сочинялся с конца марта 2021 года до конца октября того же года.

Уверен, что подборка стихов, составленная из тех, что пришли ко мне в эти сроки, так или иначе будет возвращать читателя к перипетиям романа, ведь я, когда он сочинялся, жил, конечно же, переживаниями его героев. Но попробуй только поставь подборку стихов в качестве окончания романа. Ведь обязательно найдутся знатоки, которые не преминут указать тебе на то, что роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» заканчивается подборкой стихов Юрия Живаго.

Будьте уверены, что указали бы, хотя вряд ли сомневаются в том, что я и сам это знаю. Такова уж человеческая природа. И нужны иногда годы, чтобы приучить себя промолчать, когда

появляется повод показать себя в роли знатока, попутно со всей возможной невинностью выставив автора невежей, нуждающимся в просвещении с твоей стороны. Допустить, что ты сам чего-то не понял в замысле автора, действительно бывает выше человеческих сил. А то и разумения.

Поэтому подборка стихов Петра Межурицкого появляется перед читателем именно сейчас, когда герои романа еще не произнесли своих последних слов на его страницах.

Гроза

Испарится город Божий,
фимиамами дымя –
с Третьим Римом будет то же,
что и с первыми двумя.

Бог смеется или плачет,
заповедуя экстрим,
но не может быть иначе,
отчего и вечен Рим.

Но не вечен воздух спертый,
и грозой прорвется высь –
будет, люди, Рим четвертый:
по порядку стано-вись!

Спутник Земли

Вот комната диванная,
в ней старый одессит,
Луна обетованная
над городом висит.

Обзаведёшься паспортом
и заживешь на ней –
туда почтовым транспортом
отсюда девять дней.

Не хватит ли сутулиться
и чахнуть в тесноте —
там не такие улицы
и люди там не те.

Всегда найдётся лучшее,
чем прозябать в плену –
да я и сам при случае
слетаю на Луну.

По-моему, живя не только в глюках,
но и в реале этом или том,
когда-то я мечтал о белых брюках,
о белой шляпе я мечтал потом.

И вот, герой куплетов и картинок,
почти в любой стране желанный гость,
я в белом весь от шляпы до ботинок,
и время есть, чтоб всё ещё сбылось.

Я ангелов порою слышу пенье
и рад, конечно, каждому грошу –
не надо останавливать мгновенье,
о большем и о меньшем не прошу.

Исповедь

На статской службе маясь до упора,
ни разу не взлетев за облака,
служил я в чине максимум майора,
но капитаном был наверняка,
а значит, все мне было очевидно,
и до сих пор долги на мне висят,
но с пенсией почти что не постыдной
в отставку я свалил за шестьдесят,
что, в сущности, везение шальное,
хоть жертва предназначена ножу –
не спрашивай меня про остальное,
я правду всё равно не расскажу.

И двух не знаю языков,
в атаку не водил полков,
не зачислялся в фавориты,
а тайны мира мне открыты.

Не скажу я, что Делёз
трогает меня до слёз,
что хотя бы иногда
умиляет Деррида,
не ведусь я на понты,
к сожалению – а ты?

О физике элементарных частиц

Думал я много,
а был ли у Бога
ускоритель частиц на встречных пучках –
думал о том без очков и в очках
и догадался, причем без инсайдера:
не было вовсе у Бога коллайдера –
 как же, скажи, разгонял он частицы,
 что разлетались нуклоны, как птицы?
 Хочешь не хочешь подводим итог –
 сам по себе был коллайдером Бог,
строгим, но все же отходчивым в гневе,
с чем повезло и Адаму, и Еве.

От разных практик хирургии
в отпаде сразу все благие,
 и словно бы горит Рейхстаг,
 когда ты сам не так уж благ,
и балом правит Ностра Коза,
когда отходишь от наркоза,
 а там, Бог даст, не без суда
 или туда, или сюда.

Между евреями и Богом
и впрямь согласия нет во многом,
и если разобраться строго,
то не понять со стороны,
за что евреи любят Бога,
и отчего ему верны,
и чем других они так лучше,
что вновь и вновь над ними тучи?

В артистических уборных
проповедей нет нагорных,
отчего тогда народ
лицедею смотрит в рот
и внимает в оба уха,
заново родясь на свет –
у меня не хватит духа

на вопрос искать ответ.

Стихи об определенной роли в истории

Души и разума усладу,
которая поныне в силе –
как можно не любить Элладу?
Однако персы не любили.
Теперь Израиль им не мил:
Иран себе не изменил.

Стихи о вечном огне

Пусть я всего лишь рифмоплёт,
огонь не вечен, вечен лёд.

Человек, ослепленный собой,
то и дело пускается в бой,
не всегда обречен на успех,
за себя самого против всех.
Дело, может быть, только в числе
тех, кого пережил на земле
за свой век, не считая врагов,
на виду у бессмертных богов.

Рассказы о Ленине

Когда был Ленин старенький
с плешивой головой,
он тоже думал в панике
о жизни половой.

Душой и плотью русская,
деля с ним рай и ад,
ему напрасно Крупская
показывала зад.

Забуть не можем это мы,
такой был карнавал –
злорадствовали нэпманы,
и Сталин ликовал.

Опять про древних эллинов и евреев

*У чукчей нет Анакреона
А. С. Пушкин*

Продолжу, не сбавляя тона,
свой написав на тему пост:
у чукчей нет Анакреона,
у русских есть Иисус Христос.

Плоть ещё какая тленная,
но пусть даже доллар падает,
расширяется Вселенная,
что меня, ей-богу, радует.
Будут ставиться мистерии –
с них и так и эдак станется –
даже если от материи
ничего и не останется.

Эпилог

Поток не умолкает речевой,
зато следа в душе не оставляет –
как хорошо не делать ничего,
когда никто тебя не заставляет.
Ни что за груз тянули бечевой,
ни имени заветного причала –
как хорошо не помнить ничего
до сих минут от самого начала.

Стихи о трэфной пище

Некошерная во всем
Чудо-юдо рыба сом.

Венеция

Вы правы, Люба, Надя, Вера,
пою я лучше гондольера.

К вопросу о хазарском происхождении евреев

Скажу, евреев пристыдить лукавых дабы:
Христа распяли палестинские арабы
среди олив, дубов, смоковниц, сосен, пихт,
но что Он, право, делал среди них?

На склоне

Сказал бы, какая на каждом печать,
но я никого не хочу огорчать
ни мыслью, ни словом, ни, Господи, жестом,
и в этом не меньше, чем в прочем блаженства.

Современники

Всё хорошо, но только в меру,
хотя у каждого свой вкус –
кто сделал лучшую карьеру,
Тиберий или Иисус?

"Народ Российской Федерации
свободен от мирских вещей
и не лишен известной грации", -
сказал Кикиморе Кашей.

"Повсюду заморозки ранние
и голод, судя по всему,
а мы с тобой, конечно, крайние", -
ответила она ему.

Потом мужик какой-то рваный весь
спалил в два счета сельсовет -
три раза поднимали занавес
и не гасили в зале свет.

И вот на волю вышла публика,
в карету сел министр-старик,
не жаль ни доллара, ни рублика,
"Пади, пади", - раздался крик.

Пусть чернь готовила бульжники,
и город был во власти тьмы -
не фарисеи и не книжники,
а просто театралы мы.

Упругий знак воды

...а ещё у меня был брат, ну, понятно, "был" ...
старший брат, который меня учил
разбивать рукой кирпичи, стоять против трёх верзил,
не моргая при этом, сердился, что я сутулюсь.
на Соборную¹ площадь шахматы приносил,
ставил на партию столы и всех дурил,
так как был кандидат в мастера.
вот, опять же, "был" ...
четверть века назад он перешёл за Нил,
как сказали бы египтяне, в страну, коей правит Анубис.
это случилось так:
объявив жене,
что по делам уезжает на пару дней,
он с другой женой, сказав, что устал от рутины,
отправился в край пирамид, где с коня упал
возле гробницы Хуфу
и через минуту стал
ни с конём, ни с этой женщиной, ни со мною не
совместимым.
и она везла его, везла через это "не"
обратно, на север, к другой жене,
где они вдвоём предали его земле -
эта жена, и с нею жена другая. и земля пополнилась им.
я не бью кирпичи рукой. против верзил не стою...
представляю весь мир строкой,
и сутулюсь, как прежде.
и пробую - "не моргая".

вдоль тротуара, свитая в жгуты,
текла вода.
две птицы коротали
в кустах декабрь.
и эти же кусты
зонтами им служили.

¹ Площадь такая в Одессе.

Бог деталей
вытачивал озябшую листву,
сырую штукатурку зимней мессы,
прохладою легированный звук
паденья капель на асфальт.
как слесарь
рукастый, он,
прищурившись глядел
на все свои дела,
из этих дел,
соединив их острыми винтами
струй дождевых,
он мир сей собирал,
мир зимних птиц,
мир водяных зеркал,
людей и прочих словосочетаний.

...сядь, карандаш возьми, надень очки
и на крючках свяжи десяток строчек.
смотри, как изменяется твой почерк,
как на него слетаются сверчки
и прочие чешуйчатые буквы,
и начинают пенье дребезжать,
и вспоминать:
"...ты помнишь, как набухли,
в себя вобравши воду, облака.
как воздух съёжился,
как, словно из мешка,
твой злой и безымянный Санта-Клаус
достал грозу и бросил на Урал,
где ты в лесах коренья собирал,
печаль и подорожник,
и казалось,
что рвётся лес, что он трещит по швам,
что дождь идёт наперекор словам,
что ветвь осины плачет по Иуде,
единственном, кто от забвенья спас...
что из кустов выходит Китоврас
и спрашивает:"закурить не будет?"

строка моя,
иди, прижмись ко мне.

глаза твои под цвет болотной тины.
придвинься ближе,
вытянув, раскинув
себя, на белой в клетку простыне.
мы будем странствовать,
сбываться в гулком сне.
мы будем время Силурийской ночи.
мы будем состоять из многоточий,
из немоты, из выхода во вне...
не помня больше о своей вине,
как жители пустынь не помнят вьюгу,
мы будем переписывать друг друга
и удивляться нашей тишине.

а завтра утром, расчехлив весло,
я стану вновь движением и волей.
как с женщиной, соединившись с морем,
я позабуду назначенье слов,
произнесённых вслух,
вернее, вспомню,
звучанье их, несказанных,
и так,
рисуя на воде упругий знак,
самим собою жизнь свою восполню.
шипя, пойдёт на дно
написанное мной,
неслышное моё назойливое сердце.
укроется волной и станет тишиной
и ясностью того, что никуда не деться
от воздуха, что свеж,
от Господа, что густ,
как звук органа, от
его гудящей ноты,
от той судьбы, когда
горящий видя куст,
робеешь перед ним,
но спрашиваешь: "кто ты?"

я просто написал: "зелёный цвет".
и по губам метнулась горечь мяты,
и дерево, возникшее в ответ
на эту запись, веткою крылатой

стрягнуло дождевое вещество
на плечи мне.
и так я оказался
в листве, и так
я исходил листвой,
верней, не исходил, но оперялся.
в живительном лесу,
дыша водой,
я наблюдал, как "цвет зелёный" мой
слышной становится,
как, тишиной прикрывшись,
дождь каплет,
как читают деревья
написанные только что слова,
очками тайных сов вооружившись.

под голубиный клёкот площадей
мы танцевали с ней.
мы были - танец,
той теснотой мы были, что тесней..,
тесней, чем жизнь.
и нами любовались
Стрелец, Кассиопея, Орион
и прочие слова надлунной речи.
мы рифмовали собственные плечи
с губами нашими,
мы рифмовали стон
ключичных впадин
с запахом жасмина,
с преданием обугленных камней.
так мы на площади...
так танцевали с ней,
так высоко и так непоправимо.
так мы страшились изречения вслух
увечных звуков, колченогих букв,
и, кроме неба, не было нам меры.
так помнили себя издавека,
рождёнными для этого стиха,
для этой памяти,
для немоты и веры.

пока ты спишь, я расскажу тебе
о том, как страшно не бояться смерти,
разглядывать летящий мимо ветер,
молчать, гадать слова на тишине,
как на кофейной гуще.
жить в стране
трепангов и других придонных звуков,
хранить такую нежность,
что она,
когда б смогла ожить и всплыть со дна,
исчез бы Бог...
из-под оконных люков
свет льётся, означающий луну
и память о луне,
и ты спросонок
мне улыбаешься.
и рядом спит ребёнок,
родившийся по слову моему.

Слова удивились

Время пришло, решило разбрасывать камни
Камни послушно легли, да и что они сделать могли бы.
Выждали время, замшели всеми боками
Вросли в травы, вжались кто в пыль, кто в глины.
 Камни лежат, они собирают время
 Звонкое, как пустые бутылки
 Кудрявое, как мальчишьи затылки
 Их солнце целует в губы, дождик целует в темя.
Однажды Время придет собирать свои камни.
Тяжелое Время, не знающее покоя,
Усталое Время с натруженными руками
Скажет: «За мной! Вперед, мои Камни, по коням!»
 И камни протянут собранное веками:
 Время, звонкое, как пустые бутылки,
 Кудрявое, как мальчишьи затылки.
 Время, полное сил, они отдадут до капли.
Мир устоит, он не распадется в клочья.
И волк с ягненком возляжет, не то что б, но как бы.
Будут ясными дни, станут нежными ночи
И Время поймет, что время разбрасывать камни.

Ласточки в стаи, сельдь в косяки
Звери в стада и прайды
Я на другом берегу реки
Между ложью и правдой
 На смерть, как на свет летят мотыльки
 А ведь, казалось, могли бы...
 Я на другом берегу реки
 Средь немых и болтливых
Ходит печаль по кромке беды
Ест у меня с руки
Вижу, дрожат огни у воды
На другом берегу реки
 А по воде все круги, круги
 Камнем брошенных лет
 Я на другом берегу реки
 Здесь никого нет.

Искали дорогу.
А мысли метались
Меж «пусто» и «много».
Ну что вы, ей-Богу,
Такая ментальность.

Нарядная дама,
А руки в карманах
По имени Карма, По
сути начальник
Сверкнула очами,
Плеснула туманом.
Химеры скончались
И Нимфы умчались.
Слова ...замолчали.

Нэцке

Лошадь несёт с собой ветер перемен, силы, которые обновляют природу и устраняют холод и застой, а также приносят позитивные изменения в жизнь человека. Белая или Солнечная лошадь помогает поэтам достичь вершины духа и бессмертия. (Успенский М.В. Нэцкэ.)

Что поделать, если ушел март
Что поделать, если апрель смел
Я уже не успею сойти с ума
И придется мне жить в своем уме
 Уважать порядок и чтить закон
 Разгребать охапку опавших дней
 А в японском музее есть Белый Конь
 Только он никогда не придет ко мне
Да и что за прихоть, и где резон,
Что мне конь, коснувшийся мордой травы
Жизнь то спит, то кипит, каждый третий зол
Каждый пятый идет войной на вы
 Полон рот забот: хрен, полынь, ваниль
 Суета, рутина, томленье души
 Белый конь резной низко шею склонил
 Помогая поэтам достичь вершин
Ветер будит и бдит, и поет весну
Синь небес, апрельская заоконь
Не сойду с ума, не пойду ко дну
Будь со мной, пожалуйста, Белый Конь

Бесцветны будней пресные салаты,
Сочится уксус из ночей бессонных,
Но светлое вино сонат Скарлатти,
Но звон хрустальный вальсов Мендельсона...
Я позабуду дней и дел качели,
Я в долгий ящик отложу заботы,
Ты только утоли моя печали,
Ручьем рояля расплескавши ноты
Пусть жизнь как риф, скалиста и скуласта,
Сбивает шаг синкоп сплошное море,
Но музыка, но мистика, но счастье,
Но чистое дыхание гармоний
У музыки нездешняя прописка,
Она дитя неведомой планеты.
И на плечах усталого артиста
Аплодисментов блещут эполеты.

Ночи бессонные тлеют, бездымные
Мысли всё сорные, будто бездомные
Речи невнятные, время бездонное
Дни бесконечные, злые, бездумные
Жизнь дорогая, обиды бесплатные
Стынут слова, тишиной оторочены
Сверху туманы летают бесплотные
Снизу дороги ложатся бессрочные
Торные, стрёмные, разные, к Храму ли?
Что там за споры, кто знает, как правильно
Станем ли сильными, будем ли скромными
Самые умные выглядят странными
Стигмами старыми плотно охвачены,
Вечные страхи скрипят, как уключины
Не успевая свернуть на обочину,
Встречным движением все мы измучены
Легкое время, ты время прошедшее
А в настоящем труды да прошения
Только бы к Храму успеть на прощание
Пусть нам еще далеко до прощания.

НОН-ФИКШН

Нелли Воскобойник

О множественности миров

Я живу в скучном детерминированном мире. Законы физики в нем работают без сбоев, события, вероятность которых высокая, случаются каждый день, а маловероятные - крайне редко. Люди на улыбку отвечают улыбкой. Полицейские выписывают штрафы за превышение скорости и приезжают утихомирить соседские вечеринки, если они не дают спать за полночь. Учителя ставят отметки в соответствии с успехами учеников. От социальных работников одна польза. Дети любят своих родителей. Внуки навещают стариков. В этом мире иногда можно упасть и сломать ногу. Бывает, что текут трубы, или портится холодильник. А в конце жизни каждый умирает.

Но это в моем мире. Мне знакомы люди, с которыми происходят события совершенно немыслимые.

Одну мою знакомую с детского сада преследуют недоброжелатели, завистники и даже интриганы. Еще в пять лет воспитательница заставила детей сделать какое-то лакомство, а потом собрала все готовые сладкие шарики, унесла домой и съела сама. В моем мире взрослый ни под каким видом не возьмет в рот что-то слепленное грязными детскими ручками. А в той вселенной, где живет моя знакомая, воспитательницы вечно голодны и абсолютно не брезгливы. Там все завидуют красоте, уму и ловкости моей приятельницы. Коварство и вероломство там не в кино, а в повседневных маленьких жизненных проявлениях. И вот уже полвека эта вселенная со всеми ее обитателями живет по своим обычновениям. Я слушаю рассказы о событиях, которые в моем мире не случаются, и тихонько вздыхаю. По правде говоря, мне бывает досадно, что моему уму и красоте никогда никто не позавидовал, а ей уже шестьдесят и все еще...

А вот еще одна вселенная. Мне туда пути нет, но она мне ужасно нравится.

Подруга срочно продавала квартиру. Ей позарез важно было получить деньги за две недели. Многие смотрели, уходили, приходили, сбивали цену, требовали каких-то ремонтов и гарантов. Потом появился человек, которого она сразу отличила от всех остальных. Прямо в глаза бросалось! Он прошел по комнатам, вышел на балкон. Похвалил вид и запах цветущих деревьев, осведомился о цене и сказал, что берет. Часть суммы передал наличными – у него в машине был чемоданчик с пачками денег – сорок тысяч долларов.

- А в понедельник, - сказал он, — подпишем договор. И остальное я доплачу чеком.

Подруга с мужем утратили дар связной речи.

- Подождите, - пролепетал муж, - без документа, без подписи... А если мы вас обманем и скажем, что никаких денег не брали?!

- Я много лет занимаюсь бизнесом, и довольно успешно, - улыбнулся покупатель. - Со мной такого не бывает. Не беспокойтесь...

Существуют миры, с обитателями которых происходят редчайшие явления. Они болеют экзотическими, почти неизвестными науке болезнями, сталкиваются в автобусе со Стивом Джобсом, спасают из горной реки детеныша суматранского тигра, правильно отвечают на все до последнего задания телевикторины, за которую получили бы миллионы, если бы в это время не сидели на диване, а находились в телестудии. Будучи студентами, они на первом курсе своим вопросом ставят в тупик седовласого профессора. А если любят литературу, то звонят по телефону Диме Быкову и вынуждают его признать, что он не знает, что имел в виду Пушкин, когда писал «Мой дядя самых честных правил».

Вы можете подумать, что тут все в словах. Эти люди лгут, преувеличивают или вольно интерпретируют события своей жизни...

Хорошо! Вот вам история, в которой невозможно усомниться. Я даже не пишу фамилию – если кто случайно не помнит, найдет без труда.

Мальчик родился в кибуце. В двенадцать лет вступил в недетскую и совсем не шуточную освободительную организацию «Хагана». Вас и меня туда бы в пионерском возрасте не взяли. А он убедил и стал боевиком ПАЛЬМАХ. Во время второй мировой войны, сгоряча, не разглядев, что англичане наши союзники, он взорвал их радарную

станцию на горе Кармель. После войны за заслуги перед государством получил 900 дунамов земли и успешно выращивал там скот, сделав на этом свое первое состояние. Через год начальник ШАБАК связался с ним и попросил не валять дурака, а заняться настоящим делом. Так в 1955 году он стал начальником отдела новенькой организации «Моссад». Получив настоящие возможности, он занялся приятным: создал группу таких же молодцов, как он сам, вылетел с ней в Аргентину, где они обнаружили, выследили, выкрали и доставили живьем в Израиль Адольфа Эйхмана – ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса» в Европе. В длинной еврейской истории это было дело такого же уровня, как то, что мы празднуем на Пурим. Каждый выживший в Катастрофе мог слышать по радио суд над величайшим злодеем, против которого Аман просто второкласник с рогаткой. Увидеть своими глазами, как его повесили и осознать, что мы все-таки победили.

Через несколько лет, наскучив однообразием «Моссада», он ушел в отставку, занялся сельским хозяйством и сделал свое второе состояние.

Прошло еще немного времени, и стало очевидным, что такой талант нельзя зарывать в деньги. Его легко уговорили вернуться к настоящим делам и заняться борьбой с террором. Потом он занимался еще многими вещами, о которых широкая публика слышит только отголоски и сплетни. А потом состарился и вышел на пенсию. Тут от безделья он уже всерьез занялся бизнесом и стал по-настоящему богатым. Но преснятина преуспевания, конечно, не удовлетворила его, и он решил взглянуть на Кнессет. В восемьдесят лет создал политическую партию пенсионеров, которая собрала голосов больше, чем МЕРЕЦ. В результате чего наш герой стал не только членом парламента, но и министром.

Теперь попробуйте сказать, что Рафи Эйтан жил в мире, в котором действуют те же законы причинности и вероятности, что и в моем. Что друзья и враги его, любовь и ненависть, сомнения и надежды такие же, как у меня. И я с вами не соглашусь...

О шестом чувстве

Я знаю четыре алфавита. На самом деле пять, но греческие буквы, выученные в университетском курсе физики, так и остались разрозненными. Рыбка альфа α , домик дельты Δ , пружинка пси ξ и задница омеги ω хороши в уравнениях, а на вывесках в Афинах с большой неохотой складывались в прекрасно знакомые слова вивлиотека, эксодус, поликлинико...

По-грузински могу прочесть что угодно, но абсолютно ничего не пойму. Ну, разве что в метро названия станций и на шоссе населенные пункты. Да и то там, наверное, есть и по-английски.

На иврите пойму, конечно, если, не дай бог, не стихи. Или не архаичные тексты. Или не канцелярит высокого стиля — это мне тоже, как на арамейском. А так, что пишут в газетах — это пойму. Если хватит терпения дочитать. Глаз, вынужденный ползти справа налево, ленится, мнетяся, топчется на месте. Мозг неохотно озвучивает слова. У нас ведь нет гласных. Так что надо догадаться: "грд" - это город или гарда. Из контекста должно быть ясно. Носители языка не нуждаются в огласовках - смысл встает из текста сам по себе. Для начинающих, конечно, есть особые подсказки, детские книжки ими испещрены. Но в восемь-девять лет подсказки остаются только в иностранных именах и трудных словах, вроде "Хоггвартс", а обычный текст читается быстро, легко и безошибочно.

У меня не так. Большого умственного и волевого усилия требует каждая страница. Терпеливость определенно не моя добродетель... Другое дело - английский. Слева направо я читаю с обычной скоростью. Прочитываю абзац, другой... и в каждом есть словцо, о смысле которого я догадываюсь, но точно не знаю. То есть нужен словарь. Не Мюллер, конечно, а телефонный переводчик. Не надо листать, но выбрать одно из нескольких возможных значений слова придется. Опять не чтение, а наказание...

«И только ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Я могу читать быстро, скользя глазами мимо ненужного и прямо добираясь до зернышка, которое хочу вылущить. А могу - медленно, озвучивая мысленно каждое слово, пробуя его на вкус, различая, то, что автор хотел сказать, от того, что он сказал на самом деле. Могу разделить стиль

и слог. Ощущаю внутреннее напряжение строки и облегчение полнозвучной рифмы, юмор аллитераций и остроту парадокса. Лишняя частица, родительный падеж вместо винительного - и страница заговорила, как старушки моего детства, с еврейским акцентом. Стилистическая погрешность, неологизм, легкое изменение привычного порядка слов, заглавная буква вместо строчной - все работает на текст, глаза различают сквозь буквы тысячи оттенков настроения. Дуновение иронии, тяжеловесный сарказм, искренняя восторженность и нудная дотошность – все открыто человеку, умеющему читать на родном языке. А еще тысячи аллюзий, которые впитываются бессознательно и отбрасывают блик от любимого в детстве мультика, или культового стихотворения замученного поэта, или библейской притчи. И все это без упоминания имен и без кавычек – на уровне пяти других чувств. Вы можете читать глазами, ушами (если текст наговорен), или пальцами азбукой Брайля — это не имеет принципиального значения. У опытного читателя чувство чтения - шестое чувство. Горько думать, но так же, как зрение и слух, оно может притупиться к старости.

А пока старость не пришла – *gaudeamus igitur!* (Умеющий читать по-русски не нуждается в переводе)

О литературе

Рассказы писать легко - ничто не побуждает к дотошности. Можно остановиться на деталях, если они пришли в голову "Александрина выщипывала брови в тоненькие приподнятые дуги, что придавало ее румянному личику удивленное выражение", или наоборот: "Анна Викторовна была отличной хозяйкой и преданной матерью". И никто не спросит, ходила ли она легкой стремительной походкой, или переваливалась уточкой, была ли дородна и любила длинные просторные платья, или с возрастом исхудала и не вылезала из потрепанных джинсов, приспособив к ним пару старых мужниных подтяжек. Пишущий рассказы волен сосредоточиться на тех деталях, которые ему приятно описывать и игнорировать те, что трудны для описания или скучны для непоседливого автора. Стругацкие - великие знатоки литературных вольностей посмеивались над этим:

«То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зелёной шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в жёлтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде “дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и тёмных очках”».

Создание романа - дело совершенно другого уровня. Герой должен иметь и отчетливую фигуру, и внятное лицо. Гардероб, манеры, биографию, происхождение, склонности, увлечения и слабости. Друзей и семью. Художественные вкусы и моральные принципы. Ни одной щелочки не может позволить себе творец романа. Ни одного просвета. Жилище героя автор должен построить стенка за стенкой, озаботившись тем, будет ли каморка для прислуги выходить на черную лестницу или только в кухню. И фасад дома, и входная дверь, и молоточек в форме женской руки, расслабленно держащей земной шар. Всё! Всё подлежит описанию. Мебель, шторы, обои...

Да ведь это только начало! Дом находится на улице, у которой есть имя. По ней могут ездить автобусы или катиться ландо, или она может быть тиха и засажена липами по тротуарам, а то и посреди улицы (значит, герой живет на бульваре, что сильно повышает его репутацию в глазах читателей). А улица пролегает в центре или на окраине города, у которого тоже есть имя. Следует определиться, живет ли герой в Малоярославце или Гаюкиле. Нет, лучше в Страсбурге, или, по крайней мере в Мюлузе. Теперь следует описать государственное устройство той страны, к которой в момент действия принадлежит Эльзас, с легкой пробежкой в ее историю. Но и этого недостаточно. Автор обязан обустроить всю Вселенную. И если дальними галактиками можно пренебречь, то Сириус, например должен не только присутствовать, но и занимать определенное место на небосклоне. Иначе - как герой, прогуливаясь со своей нареченной по берегу Иль, сумеет указать на него девушке? А уж эволюции Солнца и Луны должны подвергаться самому детальному контролю, чтобы утренняя заря случайно не пришлась на глухую безлунную полночь.

Теперь, когда мир романа в общих чертах создан, его надо населить остальными героями с их собственными жилищами, семьями, врагами и друзьями, и уже можно начать подумывать о сюжете: кто получит ленточку Почетного Легиона, а кто сгинет в африканском болоте, шепча любимое имя усатого унтер-офицера, так и не ответившего на его любовь; и как пересекутся судьбы кухарки из Малоярославца и председателя комитета финансового надзора над госпиталями Гауякиля.

Напоследок не удержусь: если вам кажется, что написание романа доступно рассудку, то вы знаете о человеческой природе значительно больше, чем я.

О будущем

Неловко признаться, но я не люблю разговоров о будущем. Всяких предвидений, предсказаний, пророчеств, прогнозов и откровений. Причем смутную двусмысленность Книги Сивилл или страстную жуть Апокалипсиса, или даже обильные нужными и ненужными словами катрены Нострадамуса всегда предпочту прогнозам, сделанным на основе научного анализа и обработки статистических данных.

В 1837 году Баварский Королевский медицинский совет, опираясь на опыт и знания своих членов, вынес заключение: "Строительство железных дорог нанесет ущерб общественному здоровью, ибо движение со скоростью больше 40 км в час неминуемо вызовет сотрясение мозга и сумасшествие. А у публики, находящейся возле такой дороги - головокружение и тошноту."

В 1894 году на основе статистических данных о росте количества лошадей и возможном числе дворников, ученые подсчитали, что к середине двадцатого века каждая улица Лондона будет покрыта слоем конского навоза толщиной в 3 метра. Вообще-то они могли прикинуть, что, при слое навоза в полметра, улицы станут для лошадей непролазны, и прирост прекратится вместе с передвижением лондонцев по городу, но наука не может отвлекаться от графиков. И статистики любят припугнуть обывателей неизбежностью трагических последствий их необдуманной любви к комфорту.

В 1980 году советский министр радиопромышленности публично сказал: "Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!"

Вообще, при чем тут компьютеры? Мне было десять лет, когда человек вышел за пределы Земли и начал обживать космическое пространство. Освоение Луны и Марса было делом решенным, и никто не сомневался, что на Марсе будут яблони цвести, а мы - сегодняшние октябрята и пионеры, - сделаемся космонавтами и доберемся до звезд. Если не в прямом смысле (хотя каждый на всякий случай знал, что ближайшая звезда - Альфа созвездия Центавр), то уж на планетах солнечной системы будем чувствовать себя, как дома. И оттуда по радио азбукой Морзе (а может, даже и словами через микрофон) станем сообщать на Землю полученные нами научные данные. Таковы были ожидания общества и прогнозы ученых.

А через полгода после освоения космоса мы получили по-настоящему ошеломляющую информацию о будущем. И это было уже не предположение или прогноз, а истинная правда. Нам сообщили с самого верха, что наше поколение будет жить при коммунизме. Уж они-то знали о чем говорят, нет? Тем более, что каждый мог проверить - тут никак не соврешь.

А теперь оказывается, нас ждет гибель цивилизации от глобального потепления... *Would you excuse me...*

О смысле жизни

Интересно, в чем смысл жизни муравья? Сам он об этом не думает. У него и мозга-то нет - так, просто ганглии. Причем он поразительно ловко ими управляется - дышит, ест, бегаёт, занимается сексом, воспитывает детей, пасет свой маленький скот и сам же исполняет роль овчарки, защищая и охраняя его; воюет, чистит свой муравейник, разведывает новые источники вкусенького и таскает, таскает, таскает все годное в дом. Который он же и строит. Не поверите - он даже считать может. Не так, чтобы вычислять детерминант матрицы, а все же... до тридцати считает. И немножко умеет складывать и вычитать.

А у нас с вами огромный пышный развитый мозг. Два большущих полушария. И вдобавок мозжечок. И гипокампус, и гипоталамус и еще для особо деликатных и отвлеченных размышлений - кортекс. Поэтому мы можем прикинуть, что смысл жизни муравья в защите интересов муравейника. Сам он об этом не знает. Просто делает, что должно, и пусть будет, что будет.

В сущности, для того, что нам строго необходимо, достаточно совсем чуточки мозгов: привычка чистить зубы, рецепты двух десятков кушаний, правила дорожного движения, навык манипуляций со смартфоном, членораздельная речь, три алфавита, каждый на три десятка букв, совсем немножко памяти для идентификации знакомых и родственников - думаю, такой мозг поместился бы и в черепе суслика.

По правде говоря, есть еще и профессиональные знания. Врачу, юристу и литературному критику нужен еще наперсточек нейронов. Приходится где-то хранить анатомию с физиологией, свод законов, включая и римское право, и историю литературы вместе с ее анализом.

А все остальное для чего? О! Хорошо, что вы спросили! Остальное для поэтических ассоциаций, психических травм, духовных озарений, метафор, философии, сожалений, поисков Бога и размышлений о смысле жизни.

Поэтому - умоляю вас - пишите стихи, доказывайте теоремы, создавайте новые философские учения или хотя бы размышляйте о смысле жизни. А то перед муравьями прямо неудобно.

О толерантности

Давайте на минуту забудем о вирусах и прививках. Выведем их вообще из дискурса, к чертовой матери. На минутку. До конца этого эссе. Вот так! Уфффф!

А теперь поговорим о границах нашей толерантности.

Во времена моего раннего детства толерантность вообще была продажной девкой капитализма и плодом гнилых западных буржуазных демократий. Никакое разнообразие не поощрялось. Если все носят широкие брюки, то носитель узких оскорбляет хороший вкус и общественное спокойствие. И подозревается в неправильных взглядах по самому широкому спектру фундаментальных вопросов бытия.

Но что поминать СССР... В это же время в Америке считались, что негры хуже белых, брюнетки хуже блондинок. Мужчине полагалось любить женщину. И если он долгое время ее не любил, на него ложилась тень подозрения. Бывали должности, на которые неженатых и не брали... И даже, желательно, чтобы с детьми (а то мало ли как мимикрируют мужеложцы, чтобы проникнуть на государственную службу). Женщины считались глуповатыми и хрупкими. А если они такими не были, общественное мнение смотрело на них косо. Человеку полагалось быть республиканцем или демократом. По подозрению в симпатиях к коммунистам увольняли с работы. Выбросить окурок из окна машины считалось делом не зазорным, а курящая домохозяйка подозревалась в безнравственности - запросто могла изменить мужу. Патриотизм был обязательным, а пацифизм отвратительным. Человек должен был быть христианином или, на худой конец, евреем. К буддистам и всяким зороастрийцам относились с опаской. Атеисты стеснялись злого слова и называли себя агностиками.

Теперь совсем другое дело. Будь ты хоть негр преклонных годов, ты равен белому и даже гораздо равнее... во многих объявлениях на конкурсные должности открыто отдается предпочтение афроамериканкам, трансгендерам или хотя бы выходцам из Азии.

Я теперь искренне считаю равными себе не только негра, но и лесбиянку, вегана, ксенофоба, мормона и женщину, которая кормит младенцев грудью до семи лет. Ну, правда! Я не разделяю их взглядов и вкусов, но понимаю, что нет никаких причин считать, что мои взгляды и предпочтения заслуживают большего уважения. Знаю одного, который ходит на работу в министерство машиностроения босиком. Чудак! Но имеет право. Есть люди, живущие без телевизора. Понимаю! Есть почтенные граждане, которые отказываются от кредитных карточек. Платят деньгами. Странно, но вполне допустимо. Могут быть - хоть я их и не знаю лично - люди без телефонов.

Но и моей толерантности есть предел. Узнала вчера, что в Тель-Авиве живет семья - работающие отец и мать, и трое детей-школьников. Отказники. Отказались от холодильника. Объясняют, что каждый день покупают продукты, какие надо, и в тот же день съедают.

Убила бы!

О различиях

Мне было пять, когда я научилась читать. Всего десять лет прошло после Большой войны, которая и теперь считается важнейшим событием Российской истории. А тогда ни о чем другом и не писали. В семь-восемь лет я читала о партизанах, героях-танкистах, подпольщиках, схваченных гестапо, летчиках, идущих на таран, военнопленных, которые даже под страхом казни после первой не закусывают, Матросовых, бросающихся на вражеский дзот, и молодогвардейцах. Мучения ужасали меня, и я думала, что не выдержала бы даже самого первого, самого легкого из них.

А вот смерть представлялась прекрасным желанным выходом. По некоторым косвенным признакам, герои не хотели умирать. И это было странно. Мгновенная смерть казалась мне тогда (и сейчас кажется) – лучшим, что может случиться в жизни – ведь умирать все равно придется, и неизвестно как...

Я это к чему пишу? Просто хочу еще раз показать, насколько мне (и вам) не дано понять другого человека.

Я много лет работала с пациентами. Проводила с каждым час-полтора, да и потом встречала их в течение месяца. А с некоторыми подружилась и вижу до сих пор. Среди этих людей встречались удивительно совершенные божьи творения. Их души были сотканы из самоотверженности, доброты и твердости. В другой ситуации их бы канонизировали, как святых, и на их могилах бесплодные женщины молились бы о младенце.

Видела и других – спесивых скандалистов, которым ничего невозможно объяснить, бесстыжих эгоистов, мелочных врунишек и манипуляторов. Один хасид в черной шляпе и пейсах привел четырехлетнего ребенка на симуляцию. Если отвлечься от деталей, мальчика нужно было уговорить одному лежать в закрытой комнате неподвижно, и сделать с десятков рентгеновских снимков. Взрослых просто предупреждали, что они не должны шевелиться. А к малышам внутрь заходили родители, одетые в специальные просвинцованные фартуки. Они успокаивали, заговаривали зубы, обещали подарки, рассказывали сказки, иногда пели любимые песенки и добивались, чтобы ребенок не сдвинулся на протяжении

двадцати-тридцати минут. В противном случае приходилось давать наркоз. Это и не слишком полезно, и организационно очень сложно, потому что анестезиологов мало, а отделений, которые в них нуждаются, много.

Ну, вот. Пришел хасид с ребенком. Обычно они очень чадолюбивы, но этот отказался заходить во внутреннюю комнату. Сказал, что будет вредно его здоровью. Разумеется, я надела фартук и пошла успокаивать малыша. Кстати говоря, никакого героизма в этом нет. Доза микроскопическая. Каждый из нас это делал в разных обстоятельствах. То мама беременная, то бабка сильно бестолковая. В общем, случалось, ...но в этот раз я не удержалась, чтобы не сказать здоровому тридцатилетнему отцу: «Что же это – твоему здоровью вредно, а моему полезно?»

А теперь, через двадцать лет, смотрю на это иначе. Мне невозможно представить, каким животным, непреодолимым страхом он боится этой радиации. Мне – ничего не стоит туда зайти, даже приятно почувствовать себя великодушной и профессиональной. А он рискует здоровьем и самой жизнью. Ему для этого надо совершить подвиг – как мне броситься в горящий дом, чтобы спасти кого-то.

Я знаю теперь, что ДРУГОЙ - это не я. То, что для меня терпимая боль, для него, может быть, непереносимое страдание. Я и представить себе не могу, как чувствует себя клаустрофоб, которого вынуждают сидеть взаперти или носить маску. Сварливость, спесь, манипуляции – все это противно мне. Я не собираюсь дружить с этими людьми – к чему бы? Но что толку обвинять? Они так устроены. Мир нападает на них - они только защищаются. Хорошо мне, на которую никто не нападает. Я знаю человека, который не замечает, как проходит время. Можно сердиться, что он всегда опаздывает, но лучше просто принять во внимание. Это не назло мне...

Есть множество вещей, которые доступны всем вокруг, а я не могу этого: прочесть скучный роман, нарисовать кошку, организовать пикник, высидеть до конца совещания, послушать сонату, испечь хлеб, поиграть с детьми, выучить грузинский язык, да мало ли что еще.

Простите мне мои несовершенства! А я прощу ваши.

Апология неправды

Множество занимательнейших сюжетов базируется на страшных семейных тайнах. Например, «Царь Эдип» или «Железная маска». Понятно, наследование трона - дело нешуточное. Тут подтасовка может привести к политическим потрясениям. Но, к моему удивлению, и сегодня эта поросшая мхом тема не потеряла актуальности.

Случайно видела кусочек фильма, в котором человек погубил свою жизнь, безнадежно травмированный тем, что у него был брат, умерший в возрасте трех лет. А ему не сказали. Он прожил все свои двадцать лет во лжи, от отчаянья стал пожарным и погиб под рухнувшей стеной. А может, и не погиб - я не досмотрела. Может быть, его спасли члены команды, которым родители никогда не лгали. И от этого они выросли людьми высокоморальными, цельными и преданными.

Не могу вам передать, как меня раздражают эти глупости.

Она узнала, что ее удочерили при рождении, и в ярости от того, что ей не рассказали, отреклась от родителей. Бомжует...

Он выяснил, что дед жены изменил ее бабке, и спился от фрустрации - почему его не поставили в известность.

Нет, вы скажите мне, кто мой биологический отец! Скажите правду! Тогда я брошу учебу, перестану бриться, куплю полную торбу гашиша и пойду пешком по пустыне Аризоны искать родную кровь.

А я совершенно не могу вообразить, что за тайну могла бы узнать о своем происхождении, чтобы она меня искренне расшевелила. Ну, например: мой биологический дед - Папа Римский св. Иоанн XXIII.

Ну и что?? Мой дед Наум и дед Яков - важнее и любимее, чем вся цепочка из 266 понтификов, включая самого апостола Петра.

Или: во мне течет цыганская кровь.

Наплевать - все равно я еврейка на все сто процентов. При чем тут кровь, моча и слюни?

Мой муж изменял мне с негритяжкой, и мои дети от нее. Ничего не изменится — это никак не скажется на моих отношениях с этими негритятами.

Родители постоянно обманывают детей - мир слишком сложен, чтобы можно было взваливать на малышей его неприглядные подробности. Не верьте телевизору и не рассказывайте шестилетним детали репродуктивной функции человека. И происхождение мяса на его тарелке. И прогнозы футурологов на ближайшие пятьдесят лет. Пожалейте детей - ваш родительский инстинкт легко придумает подходящий ответ. А если, достигнув совершеннолетия и узнав о скотобойнях, ваш сын возмутится, что ему не сказали правды, тут уж ничего не поделаешь. Вам придется примириться с тем, что ваш сын дурак.

Молчи!

О. Э. Мандельштам

SILENTIUM

*Она еще не родилась,
Она и музыка, и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.*

*Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревои сосуде.*

*Да обретут мои уста
Первоначальную немому,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!*

*Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!*

1910

Самый первый вопрос: кто это «она», та, что «и музыка и слово», и «связь всего живого»? Мир будто ожидает ее в безмятежности, и так хороша эта безмятежность, что «лирический герой» жаждет ее обрести, называя первоначальным безмолвием, кристаллической нотой, что от рождения чиста. Но эта жажда блаженного безмолвия только мечта, мольба: герой уже знает, что «она», разрушительница блаженной первоначальности, явилась миру. Быть может – Афродита? Ведь именно ее герой умоляет в четвертой, итоговой строфе не приходить, не рождаться, а уж коль родилась, то пусть, во имя всего святого, вернется туда, откуда пришла, в стихию морскую, пусть останется пеной! Но чем Афродита может нарушить

изначальную гармонию мира? Наоборот, она мифическое «воплощение» этой гармонии, лежащей в первооснове всего! Нет, «она» не Афродита.

Всегда непонятной была для меня и предпоследняя строка: «И, сердце, сердца устыдись...» Чье сердце, какого сердца, почему «устыдись»? Самое время обратиться за подсказкой к другу, вспомним, что у Тютчева есть стихотворение под таким же названием. А «разговор с Тютчевым, - как пишет Е. А. Тоддес, - Мандельштам продолжал в течение всей своей жизни», и «вопрос о связях с Тютчевым — один из важнейших при изучении генезиса и структуры поэзии Мандельштама»¹.

Ф. И. Тютчев

SILENTIUM!

*Молчи, скрывайся и таи И
чувства и мечты свои - Пускай
в душевной глубине Встают и
заходят оне Безмолвно, как
звезды в ночи, - Любишься ими -
и молчи.*

*Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь -
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими - и молчи...*

*Лишь жить в себе самом умей -
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум -
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи -
Внимай их пенью - и молчи!..*

1830

¹ Е. Тоддес «Манделъштам и Тютчев»

Стихотворение сие о священном безмолвии. «Как словом выразить Благо, которое выше слова?»¹ «Хочу лучше сказать пять слов умом моим в церкви, нежели тьму слов на языке» (1Кор. 14:19). Григорий Палама, учитель восхождения духа и отец исихазма написал «Триады в защиту священно-безмолвствующих». Молчальники через погружение в тишину и самосозерцание приобщались к Божественной Сущности. Речь считалась мирской суетой, сором бытия, тишина очищала как богослужение, перед ее святостью речения постыдны. Начало стихотворения повелительно, как приказ: «Молчи!» Таи и чувства и мечты свои. Проговорившись, ты оскорбишь чистоту святого безмолвия глубины душевной. Поскольку «мысль изреченная есть ложь». Иными словами – стыдись речи. Ложь в самой ее сути. Возникнув, она разрушает девственную гармонию природы.

И Тютчев тоже говорит о сердце: «Как сердцу высказать себя?» Стыд пустых речений цветет в сердце праведного. Полнота божественного непознаваема, подлинное знание дается озарением чистой души. Молчи!

Вот и разгадка: «она» в стихотворении Мандельштама, та, что и музыка, и слово, и всего живого ненарушаемая связь, это – речь!

В этом раннем стихотворении Мандельштам следует за мыслью Тютчева, он тоже боится, что речь явится разрушительницей, а потому жаждет обрести первоначальную немоту, эту ноту священной тишины, чистую как кристалл (не забудем, что Господь по еврейской традиции «голос тонкой тишины», козь дмама дака²). И сердце, слившееся с первоосновой жизни, с ее чистотой, да устыдится сердца, что тратит свой жар на слова! У поэта как бы два сердца, и он живет в двух мирах, в мире

¹ Св. Дионисий Ареопагит. О божественных именах.

² «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня голос тонкой тишины, и там Господь» (3 Цар. 19, 11-12).

безмолвия первоначального единства и в мире своей речи. Иначе говоря: в мире природы и в мире культуры¹.

Об этом диалоге сердец и стихотворение Владимира Соловьева (на что указал К. Тарановский в книге «О поэзии и поэтике»):

*Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?*

*Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескущий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?*

*Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце сердцу
Говорит в немом приветие?*

1892

Но все-таки Мандельштам в своем стихотворении расставляет другие, нежели Тютчев, акценты. У него исконно другое отношение к слову: не «ложь», а «всего живого ненарушаемая связь», цемент бытия, его строительный материал! Речь – стержень и смысл жизни Мандельштама, не даром его главное обращение к Сталину за долгие годы их со-существования в русской истории, сосуществования как двух опор жизни: поэзии и физической силы, это стихотворение «Сохрани мою речь навсегда». И разговор именно о русской речи. А для Мандельштама, в отличие от Тютчева, это не само собой разумеется (хотя и для Тютчева не все было так уж однозначно). Русская речь была для Мандельштама избранием жизненного пути. Он ощущал себя чужим изначально, и изначально же стремился стать «своим»

¹ У Мандельштама, как и у других поэтов, «Я» раздваивается: «Иногда со мной бывает нежен/И меня преследует двойник:/Как и я – он также неизбежен/И ко мне внимательно приник».

среди чужих¹. И это могло осуществиться только через культуру, прежде всего словесную. Тело принадлежало другому миру, и это нельзя было изменить («Дано мне тело – что мне делать с ним, /Таким единым и таким моим?»²). Поэтому не родившаяся еще речь в «Silentium» имеет еще и оттенок смысла – русская речь. Поэт как бы внутренне сопротивляется рождению в нем самой русской речи как речи чужой (отец его только к концу жизни стал сносно говорить по-русски), ощущая при этом «внутреннюю ложь» («Я в темноте, как змей лукавый, /Влачусь к подножию креста»³; «В себе самом, как змей, таясь,/ Вокруг себя, как плющ, вивясь»⁴), стыд, даже страх измены («И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб,/Получишь укусную губку ты для изменнических губ»⁵).

Но судьба была решена, и со временем (в начале 20-х годов), он как бы покинул окончательно мир «природы» и ушел в мир культуры, пути с Тютчевым разошлись. Возможно, в силу того, что Тютчев – сын русской культуры, черпающей свои силы из земли, из природы-стихии, и мечтающий в ее лоно «вернуться»: «О ночь, ночь, где твои покровы,/ Твой тихий сумрак и роса!..⁶»; «О! страшных песен сих не пой/ Про древний хаос, про родимый!/Как жадно мир души ночной/ Внимает повести любимой!/Из смертной рвется он груди,/ Он с беспредельным жаждет слиться!..». А Мандельштам, осознает он это или нет, дитя и наследник еврейской культуры текста, и «возвращаться» ему некуда⁷, и он не видит в слове врага («мысль

¹ Вопрос подробно рассмотрен в моей книге «Преображение Мандельштама», Алетейя, 2020.

² Одно из самых ранних стихотворений, 1909

³ Когда мозаик никнут травы...», 1910

⁴ «В самом себе, как змей, таясь...», 1910

⁵ «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...», 1933

⁶ Тютчев, «Хоть свежесть утрення вее...», 1835

⁷ Хотя попытки «в стиле Тютчева» были и раньше “Silentium”:

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым. (1909, Гейдельберг)

изреченная есть ложь»). Наоборот, «Слово – плоть и хлеб. ... Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник евхаристию, – будет вторым Иисусом Навином.

Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков»¹. Слово спасает «принцип единства в вихре перемен»² («всего живого ненарушаемая связь»). И критерием исторического единства народа «может быть признан только язык народа. ... Отлучение от языка равносильно отлучению от истории. ... это цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения»³.

Конечно, и Тютчев «живет в культуре», но как в чуждом мире, тоскуя о «родине», о праматери-природе. В его стихах постоянна связка: море – хаос – ночь – музыка. Хаос-ночь у него энергетическое средоточие мира, его исток, хаос для него «родимый». А слово излишне в этом мире, более того, оно даже враждует с музыкой хаоса: если музыка – язык единства и цельности мира, то слово расчленяет, дробит мир на осколки. Лирический герой Тютчева будто только что родился из хаоса, он чувствует себя на грани двух враждебных миров: природы и своего одинокого, только что покинувшего материнское лоно единоличного бытия, освященного разумом и оскверненного речью («О, вещая душа моя,/О сердце, полное тревоги – /О, как ты бьешься на пороге/Как бы двойного бытия!..»⁴). И он всеми силами стремится вернуться в родное лоно, вновь слиться с природой («с беспредельным жаждет слиться»), даже ценой самоуничтожения⁵.

*Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья*

¹ Статья «Слово и культура», 1921

² Статья «О природе слова», (1920-22)

³ Там же.

⁴ Тютчев, «О, вещая душа моя!..», 1855

⁵ См. мой текст «Язык – инструмент спасения, заметка о книге Михаила Аркадьева «Лингвистическая катастрофа»»
<https://snob.ru/profile/30159/blog/1001389>

*Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
1930*

Человек для него

*...как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастью темной.¹*

Он трагически ощущает непоправимый разлад с миром природы:

*Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, –
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?*

1865

Тютчев предтеча ницшеанского разделения мира на дионисийский: «темный», чувственный, дикий, и аполлонический: «светлый», разумный, упорядоченный. Русская символистская культура Серебряного века была во многом ницшеанской, и Тютчева символисты не зря называли своим предтечей. А Мандельштам – «смысловик», по его собственному определению, и при всей пресловутой «загадочности» предельно рационален.

Еще Господь иудейский отделил свет от тьмы-хаоса (тоу ва воу) и дал человеку язык – орудие разума-знания-власти, инструмент преобразования хаоса в порядок. Но с первых же шагов разум, с его любовью к порядку, столкнулся в человеке с любовью к хаосу-родине. И даже Сократ, как рассказывают, перед смертью пожалел, что в жизни своей мало внимания уделял музыке (музыка в данном случае метафора хаоса, как слово – метафора порядка).

¹ Тютчев, «Святая ночь», 1848

Мандельштам в «Silentium» еще во многом следует за миропониманием Тютчева. Он рисует безмятежный мир до появления речи («Спокойно дышат моря груди...») и мечтает обрести «первоначальную немоту». Пусть исчезнет все: даже мифы о красоте («останься пеной, Афродита»), поскольку мифы – цветы речи, пусть слово вернется в музыку мира, музыку моря, как у Тютчева, а сердце, слившись с первоосновой жизни, да устыдится сердца, простившегося с чистотой этой первоосновы, оставшееся один на один со словом. Но у Мандельштама на страх овладения речью, как отделения от безмолвной матери-природы, накладывается еще и страх овладения чужой, русской, речью («В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет»¹). И в стихотворении «Раковина» (1911), тоже на первый взгляд «тютчевском» (лирический герой извергнут из лона природы-ночи-моря), мотив чуждости усиливается и становится темой. Отторжение от рода-природы рождает у Мандельштама вариации этого мотива: «ненужность», внутренняя пустота («нежилого сердца дом»), бесплодность («без жемчужин»). Здесь, кажется, впервые в его творчестве, общее отторжение от природы переплетается с травмой родовой еврейской отверженности, с которой он родился и вырос. Сверхзадача, которую он ставил перед собой, – стать русским поэтом, столкнулась как с «сопротивлением материала» (Россия его отторгала), так и с собственным изначальным неприятием России («Россия, ты – на камне и крови»), так что оставалась одна надежда: создать некий синтез из противоборствующих культур, и увлечь Россию-стихию своими звуками. «Раковина», по сути, рассказывает сюжет этого соединения двух несовместимых начал. Не забудем, что Мандельштам в тот период, обдумывая свой «логотип», выбирал между двумя метафорами: раковина и камень, и первый свой сборник хотел назвать «Раковина» (но выбрал «Камень»).

Раковина

*Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой
Как раковина без жемчужин,*

¹ «Не искушай чужих наречий», 1933

*Я выброшен на берег твой.
Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.*

*Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;*

*И хрупкой раковины стены, -
Как нежилого сердца дом, -
Наполнишь шопотами пены,
Туманом, ветром и дождем.*

1911

Стоит только представить себе, что ночь-пучина – это Россия, как Тютчевский сюжет становится Мандельштамовым. Поэт – «раковина без жемчужин», то есть бесплоден, а именно тема «иудейского бесплодия» – одна из навязчивых в творчестве Мандельштама, полагавшего, что еврейская история завершилась и уже не может дать плодов («Для вас потомства нет – увы!»¹; «От семиуродных уродов/ Он (мир – Н.В.) не получит ясных всходов»²; «Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов»³). Он «выброшен» на чужой берег, он не нужен. Стихия скорее несговорчива, чем равнодушна, но он с вызовом обещает ей: «но ты полюбишь, ты оценишь». Так оно и вышло: «Моя страна со мною говорила,/ Мирволила, журила, не прочла,/ Но возмужавшего меня, как очевидца,/ Заметила и вдруг, как чечевица,/ Адмиралтейским лучиком зажгла»⁴; «Да, я лежу в земле, губами шевеля,/ Но то, что я скажу, заучит каждый школьник» (кстати, края раковины похожи на губы). Тут появляется и «ложь» как отголосок Тютчева, но в другом контексте, более интересном: поэт как бы признается, что его русские стихи «ложны»... В советский период

¹ «Где ночь бросает якоря...», 1920

² «Мир должно в черном теле брать...», 1935

³ «Как растет хлебов опара...», 1922

⁴ «Стансы», 1935

неискренность в некоторых стихах станет просто демонстративной, превращая стихи в языковую игру, в шифровки. И вновь является приказ «Молчи!», хотя бы, чтоб не завратся: «Ну как метро? Молчи, в себе таи, / Не спрашивай, как набухают почки, / И вы, часов кремлевские бои, — / Язык пространства, сжатого до точки...»¹

Вторая строка третьей строфы «Раковины», «оденешь ризою своей», явно указывает на Россию: «риза» древнерусский, православный термин, означающий священное облачение. Россия войдет в него, в стены хрупкой раковины, как в нежилой дом, и наполнит своей музыкой: «шепотами пены, туманом, ветром и дождем»...

И у Тютчева, когда он пишет о России, ее образ тоже связан с туманом, мраком и морем.

*Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?*

.....
*Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда...*

Так или иначе, но в зрелости заветы Тютчева отвергнуты: будь что будет, но он, Мандельштам, остается со словом, и «стыд», с ним связанный уже звучит как вызов, исполненный упрямой гордости:

*Снова ночь. Рыданье Аонид.
Пустого хора черное зиянье.
Где ты слово: щит и упованье.
Твой высокий лоб, твой гордый стыд?»²*

За десять лет с эпохи юности изменился поэт, изменился и мир: он рухнул в хаос, в «мерзость запустения» и стал гонителем, врагом блаженного поэтического слова, и теперь оно молкнет не от стремления к тиши божественной цельности, а оттого, что настала ночь, черное зияние пустого хора, и музы рыдают. Здесь уже мольба о возвращении слова из бездны: «Где ты, щит и упованье?»;

¹ «Наушники, наушнички мои!...», 1935

² Вариант стихотворения «Ласточка» (1920)

«Какая боль искать потерянное слово». И даже готовность молить диктатора-выродка «Сохрани мою речь навсегда». Это уже в 30-е, в эпоху отчаяния. «Волчий цикл» – вой о потерянном слове.

*Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует, поет, говорит...*

Этот вой у нас песней зовется. У поэта не только два сердца, но и два голоса. И он слышит собственный, властный внутренний голос:

*Лишь один кто-то властный поет:
За гремящую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов
И веселья, и чести своей.*

*Замолчи! Я не верю уже никому
Я такой же как ты пешеход.
Но меня возвращает к стыду моему
Твой грозный искривленный рот.*

.....
*Но заслышав тот голос, пойду в топоры,
Да и сам за него доскажу.*

Это возвращение к стыду из «Silentium», стыду произнесенного лживого слова. Но на этот раз ложь не «метафизическая», а вполне конкретная, ложь его земной жизни, где он лишился всего, и снова молит о ночи, о девственности природы, вспомнив, быть может, Тютчева: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей,/И звезда до звезды достает...» И действительно, получается, что единственная возможность «не соврать», не сфальшивить – замолчать.

*Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь...*

*Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь,*

*Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал,
Или чернику в лесу,
Что никогда не собирал.*

В очерке «Старухина птица» Мандельштам вспоминает свое житьё-бытьё в Феодосии: «В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. ...Старушка жильца держала как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик». Как пишет Кирилл Тарановский («О поэзии и поэтике»), «Контрастное сопоставление птицы и тюрьмы продолжает традицию тюремной темы в русской поэзии».

Но вместе с унижением страхом, раздавленностью просыпается и ярость («пойду в топоры», «Четвертая проза»), увы, бессильная, запоздалая... Она проснется после Армении, где он побывал как на родине предков, и «читай: насильно/был возвращен в буддийскую Москву», где «черемухи, да телефоны, \ И казнями там имениты дни». А тогда, в двадцатом, – только ужас потери слова-ласточки, его отпевание и похороны¹:

Ласточка

*Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных с прозрачными играть.
В беспмятстве ночная песнь поется.
А на губах, как черный лед, горит
И мучит память: не хватает слова. Не
выдумать его: оно само гудит, Качает
колокол беспмятства ночного.
И медленно растет, как бы шатер иль храм.
То вдруг прикинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью
и страстью зачумленной.*

¹ Не могу не отметить в данном контексте, что ласточка на иврите «дрор», т.е. свобода, вольность, и это придает особую «объемность» образу свободного слова, погибающего в этом стихотворении.

*О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется.
Но он забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Но не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.*

Ноябрь 1920

И вот только сейчас я понял, на марше мысли, почему слово-ласточка – Антигона! В этом стихотворении слово, блаженное, бессмысленное слово поэта уходит в мир иной («слепая ласточка в чертог теней вернется»). И поэт хоронит его и отпевает. И за эти недозволенные действия его сурово накажут. Так же, под угрозой смерти, Антигона хоронила своего брата с безумной преданностью...

*В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное бессмысленное слово
В первый раз произнесем.*

.....
*За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.*

После отпевания слова приходит тема вынужденного молчания, она почти повторяет тючевский призыв: «Молчи!» Но причина совсем другая: страх («губы оловом зальют») произнести уже отпетое и похороненное, блаженное-бессмысленное, свободное, и строго-настрога запрещенное слово:

*Замолчи! Ни о чем, никогда, никому –
Там в пожарище время поет...*

Он и молчал пять лет. Но когда прорвало, то это был уже не страх смерти, заставлявший молчать, а вызов-приказ могиле, – молчи!

*Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи! Я
говорю за всех с такою силой, Чтоб
нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.¹*

«Стыд» речи разворачивается в противоположную сторону: не могу молчать. «Я губами несусь в темноте»².

*Лишив меня морей, разбега и разлета,
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
1935*

¹ «Отрывки из уничтоженных стихов», 1931

² «Стихи о неизвестном солдате», 1937

Записки пресс-секретаря Сохнута

Из книги воспоминаний

Как Бен-Даган американцев срезал

В начале ноября 2013 года в Иерусалиме состоялось очередное заседание Попечительского Совета Сохнута. Проходило оно уже не с таким размахом, как предыдущие. Я еще застал время, когда Сохнут снимал половину гостиницы "Инбаль" (бывшая "Ла Ромм"). Сто двадцать членов Совета заказывали себе номера на все три дня его работы, а в добавление к этому на четвертом этаже в номерах оборудовали канцелярии руководства Сохнута и ВСО. Стоило это бешеных денег, которые теперь в Сохнуте начали экономить. Еще бы, в связи с мировым финансовым кризисом и пирамидой Мэдофа, укравшего 50 миллиардов долларов исключительно у своих одноплеменников, в еврейском мире стало меньше денег. Точнее - их стало меньше у тех, кто жертвовал средства на еврейские организации, в первую очередь на Сохнут. Но даже и на тот момент бюджет Сохнута составлял 360 миллионов долларов, то есть около полутора миллиардов шекелей.

В феврале 2013 года впервые провели заседание Совета в новом иерусалимском «Хилтоне», называвшемся «Мецудат Давид». Понятно, члены Совета сняли себе номера. Но вот больше никаких канцелярий для руководства не оборудовали. Была только одна комната на этаже, где проходили заседания Совета. В комнате вплотную друг к другу за одним столом сидели те, кто организовывал работу Совета. Я тоже внаглую вклинился туда, хотя мне там вовсе не было предназначено место.

На этом этаже был большой зал, который, благодаря сдвигающимся перегородкам, постоянно переоборудовали под конкретные нужды. Во время открытия и закрытия Попечительского Совета он функционировал как большой зал с президиумом и креслами вокруг. А во время пленарных заседаний зал разделяли на множество небольших зальчиков.

В одном таком зальчике и состоялось заседание религиозной комиссии Попечительского Совета, на котором выступил заместитель министра по делам религии Эли Бен-Даган. Де факто Бен-Даган был практически министром, это звание отобрал у него Яир Лапид, поставивший условие, чтобы в правительстве с участием его партии «Еш Атид» было не более 21 министра. (Спустя восемь лет, когда Лапид сформирует собственное правительство, в нем будет министров намного-намного больше.)

Но Даган, представлявший партию религиозных сионистов «Еврейский дом», хоть и назывался заместителем министра, был полновластным хозяином своего министерства. Реформистские и консервативные раввины, составлявшие большинство комиссии, жаждали не просто послушать Дагана, а и задать ему трудные вопросы об отношении религиозного истеблишмента Израиля к их течениям. Тем более, что официальной темой заседания были гиоры.

Поначалу все шло тихо и благостно. Председатель Сохнута Натан Щаранский, обнявшись с Даганом, представил его как человека, который был членом комиссии Незмана, то есть занимался решением вопроса о гиорах. Даган рассказал о том, какие реформы он проводит в своем министерстве. Главные идеи его были такими: мы хотим сделать раввинат более современным, более открытым к пожеланиям граждан. Они хотят, чтобы их слушали, и мы их слушаем. Мы отменили две должности главных раввинов в городах, мы собираемся изменить и систему выборов главного раввина, поскольку последние выборы были просто позорными. «Мы готовы на любые изменения, которые будут в рамках Галахи», - подчеркнул Бен-Даган.

Его внимательно слушали. И до поры до времени сдерживались. Я сидел на дальнем конце овального стола и слышал, как за моей спиной шипели от злости какие-то американцы. Чуть ли не каждую фразу Бен-Дагана они сопровождали едкими комментариями. Едкими, но тихими, так что слышать их могли только ближайšie соседи.

Наконец, пришло время вопросов. Собственно, вопрос был один - почему реформистов и консерваторов в Израиле зажимают? Даган спокойно отвечал, что никто никого не зажимает, просто в Израиле народ не заинтересован в этих двух течениях, и поэтому их

представители получают ровно столько, сколько у них есть последователей. То есть - минимум. Что же касается вопросов о проведении гиуров и свадебных церемоний, которые особо волновали спрашивавших, то Бен-Даган объяснил: Государство Израиль решило, что на его территории гиуры и свадьбы делают только ортодоксальные раввины. Гиуры и браки, совершенные за границей представителями консерваторов и реформистов, в Израиле признаются.

Но на него наускаивали и наускаивали, требуя уравнивания в правах с ортодоксами. И тогда Бен-Даган не выдержал.

- У нас не Америка, - сказал он, возвысив голос и оглядев атаковавших. - Здесь религия - это неотъемлемая часть государства. И общий знаменатель для всего народа — это ортодоксальный иудаизм. Израиль - единственное место мире, где еврейское население постоянно не сокращается, а увеличивается. Вы в своем либерализме зашли слишком далеко. Вы женитесь на гоях и теряете своих детей. Вы хотите, чтобы с нами произошло то же самое? Не выйдет!

Его оппоненты в изумлении замолчали, Даган же закончил свое выступление и ушел. Пожалуй, впервые (во всяком случае, на заседаниях Сохнута) реформистам и консерваторам было сказано нечто подобное прямо в лицо и без соблюдения так называемой политкорректности. И они растерялись. Бен-Даган их, что называется, срезал.

Как я спас театр «Гешер»

Осенью 2016 года меня направили от Сохнута на очередное заседание комиссии по алие и абсорбции Кнессета. Я называл эти направления: «Чуть что, так Косой». И действительно, на все темы, которые касались русскоязычных израильтян – связанные с Сохнутом или нет - глава канцелярии председателя Сохнута Натана Щаранского всегда отправляла меня. Началось это, понятное дело, с указания Натана. Один раз я сопровождал его на ежегодную церемонию памяти жертв Бабьего Яра, которую организовывал бывший активист «Израэль ба-алия» и председатель всеизраильского объединения выходцев из Украины Давид Левин. А на следующий год Натан решил отправить меня вместо себя. Я мог бы

послать своего заместителя, «но кто его знает на русской улице? А вас знают все», — сказал мне Натан.

Я поехал и выступил с речью на русском и на иврите. Она оказалась настолько удачной, что с тех пор все время, пока Натан находился в Сохнута, меня отправляли на эту церемонию памяти. После четвёртого раза я уже не знал, что сказать, и приходилось выкручиваться.

Натану понравилось посылать меня, и я стал неизменным участником еще одной церемонии в музее Яд Ва-Шем, которая проходит 9 мая. На ней присутствуют министр абсорбции, мэр Иерусалима, послы союзных держав. Говорят речи, поют песни – кстати, всегда одни и те же, исполняемые одними и теми же певцом и певицей. Завершается церемония возложением венков – от правительства Израиля, а потом от Сохнута. Щаранский наладился и туда посылать меня, и я много раз участвовал в этом мероприятии. Когда я был на нем в последний раз, то чуть не стал жертвой Второй мировой войны. Церемония проходит на открытом воздухе, у Стелы памяти. Стоял тяжелый хамсин, а я не мог, возлагая венок от имени Сохнута, быть не одетым официально. То есть – в пиджаке. При температуре 38 градусов это было совсем-совсем непросто.

Я также неоднократно присутствовал на заседаниях комиссии по алие и абсорбции Кнессета, посвященных разным темам – радио РЭКА, чествования ветеранов и других. Осенью 2016 года я оказался на заседании, посвященном проблемам театра «Гешер».

Этот театр – особый в израильском искусстве. Создали его, при помощи Щаранского, в начале 90-х годов новые репатрианты из СССР, и сперва в нем ставили спектакли только на русском языке. Но довольно быстро начались и спектакли на иврите, причем актеры заучивали свои роли наизусть, не понимая буквально ни слова. Покойный Гриша Лямпе (незабвенный профессор Рунге в «Семнадцати мгновениях весны») рассказывал мне, какой ужас он испытывал каждый раз, выходя на сцену.

- Понимаешь, когда я на русском забываю текст, то я всегда могу симпровизировать, сказать что-то свое, но в нужном для развития действия направлении. Его-то я забыть не могу. А на иврите? Что я могу сказать? Поэтому я должен был абсолютно точно знать, что именно я говорю в каждую конкретную секунду. Забуду – хана, пропал...

Со временем актеры освоили иврит, спектаклей на нем стало все больше и больше, и в театр пришли уже сабры, не знающие русского. Что создавало проблемы для бессменного главного режиссера театра Арье, который так и не выучил иврит и объяснялся на английском. Но по большому счету «Гешер» очень быстро начал оправдывать свое название – «Мост». Он стал настоящим мостом не только для труппы, которая вошла с его помощью в израильское искусство, но и соединительным звеном между культурой московского театра и израильской действительностью.

«Гешер» очень быстро стал заметным явлением в театральной жизни Израиля и, на мой взгляд, одним из лучших театров. Поэтому я был очень удивлен, когда на заседании комиссии по алии и абсорбции Кнессета Арье и гендиректор театра Лена Крейндлине заговорили о том, что «Гешер» находится на грани закрытия. У театра скопились долги в размере 5 миллионов шекелей, погасить которые он не в состоянии. Хотя «Гешер» давно получает финансовую помощь от государства, и на все его спектакли билеты всегда распроданы, театр сам себя не окупает.

Проблема одна – маленькая страна. Чтобы быть рентабельным, надо резко повысить цены на билеты. Но тогда публика, посещающая театр, может отказаться от столь дорогого удовольствия, которое, кстати, и без такого повышения цен совсем-совсем не дешевое. Это проблема всех израильских театров, не только «Гешера». В отличие от России, где по бесконечным просторам провинциальной глубинки можно возить один и тот же спектакль несколько лет кряду, в Израиле надо выпускать новый спектакль каждые полгода. А то и чаще. Иначе публику не привлечёшь. И, тем не менее, финансовые проблемы остаются.

В ответ на выступление руководства «Гешера», депутат Кнессета от партии «Куляну», вице-спикер Кнессета Тали Плоскова сразу же ответила, что деньги она из министра финансов Моше Кахлона выбьет и переведёт их для «Гешера» в министерство культуры. Русскоговорящая Плоскова отвечала в «Куляну» за работу с русской публикой, а главой ее партии был Кахлон, занимавший пост министра финансов. Казалось, проблему решили прямо на месте. Но не тут-то было. Слово взяла заведующая отделом театров в министерстве культуры.

- У меня тридцать три театра, - сказала она, - и есть четкие государственные критерии. Если я получу дополнительные средства, то я обязана буду в соответствии с этими критериями поделить их между всеми театрами. Проблемы финансовые у всех, почему «Гешеру» полагается то, чего не полагается всем остальным?

На этом заседании и закончилось. Создалась парадоксальная ситуация – деньги есть, но взять их невозможно. И тут меня осенило. Я подошел к Тали и сказал:

- А почему бы вам не перевести деньги на Сохнут? Мы ведь не государственное учреждение, обязанное руководствоваться строгой уравниловкой. Сохнут – частная еврейская организация и поддерживает тех, кого считает нужным. В глазах Сохнута, отвечающего за репатриацию, театр «Гешер» – замечательный пример успешной интеграции репатриантов. И не просто репатриантов, а тех, для кого язык является орудием производства. Поэтому успех «Гешера» – это пример для всех репатриантов, что и они смогут успешно найти себя в израильском обществе. Я не сомневаюсь, что Натан Щаранский, один из создателей «Гешера», не откажется помочь театру.

Тали загорелась.

- Начинай действовать, - сказала она, - и держи меня в курсе.

После этого я подошёл к Наташе Манор, с которой был знаком по совместной деятельности в амуте Центра наследия евреев СССР, и рассказал ей о своей идее. Она тут же подвела меня к Лене Крейндлиной. Выйдя из Кнессета, я позвонил Щаранскому, описал ситуацию и изложил свою идею.

- Молодец, Давид, - воскликнул Натан. - Отличное предложение. Конечно, поможем.

Но, как всегда, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Мне пришлось несколько раз напоминать замотанному Щаранскому о том, чтобы он вызвал к себе заместителя гендиректора Сохнута по финансам. Наконец встреча состоялась, замгендиректора получил четкое указание помочь театру. И тут начались совещания, заседания и переговоры между Сохнутом и министерством финансов. Ведь просто так взять деньги от министерства и перевести их «Гешеру» было нельзя. В конце концов, пришли к какому-то решению. Я пишу «к какому-то», потому

что глубоко в него не вникал. Да и не интересовали меня эти бухгалтерские подробности. Самое главное, что в результате «Гешер» получил пять миллионов. Причем Сохнут перечислил их, даже еще не получив деньги от министерства финансов – столь плачевной была ситуация у театра. Оформили перевод как ссуду, и Лена Крейндлинка даже передала мне отложенные чеки «Гешера» на эту сумму. Но спустя несколько недель эту ссуду мы переоформили как подарок. Крейндлинка с Арье пришли на встречу с Натаном и рассыпались в благодарностях. Пригласили его приходить, когда захочет в театр, где его всегда ожидает контрамарка. Которую, как подчеркнула Лена, он честно заработал. Когда стало окончательно известно, что ссуда превратилась в подарок, Лена и Арье прислали - через меня – два благодарственных письма Натану. Привожу текст одного из них, на русском.

1 июня 2017 г.

Уважаемый г-н Щаранский!

Дорогой Натан!

Четверть века тому назад ты был одним из немногих, первым, поддержавшим казавшуюся тогда безумной идею создания русского, двуязычного театра в Израиле. Мы еще не стали тем Мостом, который превратился в «Гешер».

Ты не просто помогал нам, но был инициатором и генератором воплощения этой мечты в жизнь. Ты, как всегда, был на «передовой». Вместе с нами.

Много воды утекло с тех пор. Наша совместная " авантюра" превратилась в одно из мощнейших достижений алии 90-х.

Сегодня «Гешер» – лицо театрального, культурного Израиля в мире. И ты с нами. На передовой, как всегда, Мы благодарны тебе. Ты был и остался другом.

Мы, как никто, умеем ценить друзей. Гордимся ими. Надеемся, что это взаимно.

Спасибо!

С уважением,

Художественный руководитель Евгений Арье

Генеральный директор Лена Крейндлинка

Главный редактор в диалоге с коллегой

Важнейшая информация, которую пока ещё знают не все:

Журнал «Артикль» - фактически международный, хотя территориально располагается в Израиле. Ознакомиться с журналом и оформить подписку на него можно в Интернете по адресу:

<https://sunround.com/article>

Журнал «Новая Литература» - фактически международный, хотя территориально располагается в России, в городе Владимире. Ознакомиться с журналом и оформить подписку на него можно в Интернете по адресу:

<https://newlit.ru>

На вопросы критика **Андрея Зоилова** любезно согласились ответить главный редактор журнала «Артикль» **Яков Шехтер** и главный редактор журнала «Новая Литература» **Игорь Якушко**.

Известен афоризм американского журналиста XX века Ирвина Кобба: «Если бы писатели были хорошими бизнесменами, у них было бы слишком много здравого смысла, чтобы быть писателями». Согласны ли вы с этим? Вы руководите журналом, который регулярно выходит в течение многих лет. Успешный ли это бизнес? Чем, по вашему мнению, достигается успех литературного журнала?

Яков Шехтер:

«Писатель не может говорить за писателя, особенно — поэт за поэта», — сказал в своей нобелевской речи Иосиф Бродский.

У самого Ирвина Кобба, автора упомянутого выше высказывания, хватило здравого смысла стать самым высокооплачиваемым штатным репортером в США. Тем не менее, это не помешало ему написать более шестидесяти книг и 300 рассказов. Поэтому пусть Кобб говорит только за

себя и за собственный здравый смысл. Не нужно делать из его фразы правило и подгонять под него других писателей.

Литературный журнал сегодня не бизнес, а подвижничество. Вообще само слово «бизнес» меня раздражает, так же, как и «эксклюзивные аппойнтменты для презентативных дистрибьюторов». Разговор о литературном журнале на русском языке надо вести на литературном русском языке. А слово «бизнес» давайте оставим плебсу.

Много лет назад, до появления радио и телевидения, не говоря уже об Интернете, когда единственным средством массовой информации были печатные издания, литературный журнал мог стать окупаемым предприятием. Сегодня это – увы – невозможно. Появились новые каналы связи, и печатному слову пришлось сначала потесниться, а затем отойти в тень.

Количество людей, готовых платить за журнал на бумаге, сократилось до минимума и уже приближается к количеству пишущих. Литература из владелицы дум стремительно превращается в клуб по интересам. Разумеется, этот клуб - при численности русскоговорящих в полтора миллиона - будет довольно широким, но и конкуренция велика, поэтому разговор о финансовой прибыльности нужно закрыть. Навсегда.

Но есть прибыль не только финансовая. Если хорошая литература чему-то учит – хотя многие считают, что ничему, а только развлекает – то главным из приучаемого будет хороший вкус. Хороший вкус – это прежде всего умение распознавать фальшь.

Человека с хорошим вкусом и тренированным ухом не проведут за нос ходульные речи политиков, он сразу услышит фальшь в человеческих отношениях, ложь в навязываемой идеологии, подтасовку в предлагаемых общественных платформах. Мне хочется верить, что, создавая хорошего читателя, - то есть читателя хорошей литературы, - мы тем самым, воспитываем и хорошего человека, и хорошего гражданина. Может ли существовать прибыль больше, чем эта, и не заслуживает ли такая цель подвижничества?

Игорь Якушко:

В конце 2021 года журналу «Новая Литература» исполнилось 20 лет. Мне, как основателю журнала, конечно, важно периодически осмысливать пройденный

путь и делать выводы, чтобы прокладывать дальнейшую дорогу.

Если вдуматься в процитированные слова, то под «хорошими бизнесменами» следует понимать не социальную группу, объединённую общими качествами, а финансовую отдачу от писательского труда, ведь речь тут именно об этом. Тогда перефразируем этот вопрос для ясности: можно ли писательством обеспечить себе финансовое благополучие, стоит ли рассчитывать на это, выбирая профессию? Если коротко, моё мнение: да. Посмотрите хотя бы на автора этого высказывания – сам он прекрасно справился с такой задачей.

Другое дело, что достижение этого результата не является мерилom успеха в писательской профессии, и по плечу оно не всем. Успех писателя складывается из его популярности, удовлетворённости собой, творческого удовольствия, востребованности, ну и финансовых результатов тоже. Но ведь это не всё. Как вам такая составляющая писательского успеха, как посмертная слава? Много ли других профессий наделены таким критерием успеха? И не вступает ли он в противоречие с критерием финансового благополучия? А ведь многие писатели движимы именно этим мотивом – не просто вкусить славы и почёта, но, прежде всего, запечатлеть своё имя в искусстве. «Меня уже не будет, но я останусь жить в сердцах своих читателей», – рассуждают они, проникаются этой мыслью и вступают на стезю литературного подвижничества.

Я вовсе не ставлю знак равенства между шансами на литературное бессмертие и бедностью. Если исследовать финансовые достижения литературных небожителей, то выяснится, что связи тут нет: среди них довольно и обеспеченных, и неимущих. Поэтому, если писатель намерен разбогатеть на своём творчестве, он добьётся этого при условии, что способен разбогатеть и другими способами.

Стивен Кови в своей замечательной книге «7 навыков высокоэффективных людей» сказал, что финансовая независимость проявляется не в наличии богатства, а в способности создавать его. Применительно к писателям эту мысль можно облечь в такую форму. Заниматься писательством ради денег просто глупо. В мире полно профессий, гораздо лучше подходящих для этого. Но если вопрос о деньгах возникает у писателя наряду с вопросами

обо всех остальных составляющих писательского успеха, тогда он прозвучит иначе: смогу ли я писательским трудом обеспечить себя материально тем, что мне необходимо для достижения профессионального успеха? Вот на этот вопрос я и отвечаю утвердительно.

Только уверенность моя строится не на свойствах писательского труда как такового (в этом смысле вообще ни одна профессия не даёт гарантии), а на качествах характера писателя. Если ему достанет мужества, настойчивости, гибкости, воли, целеустремлённости, рассудительности, энергии, веры в себя, эффективности в саморазвитии и мудрости двигаться по этому пути, то, уверяю вас, при наличии таких качеств обеспечить себя и свою семью на уровне среднего человека ему будет по силам. Писательским ли трудом он это будет делать или дополнительными усилиями – уже не важно, потому что такой человек не свернёт с дороги.

Но если вопросом о финансовых результатах писательской деятельности задаётся человек слабый, то что его ждёт? «Сказали мне, что эта дорога меня приведёт к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы». Это стихотворение японской поэтессы Акико Ёсано называется «Трусость». Оно цитируется в повести Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света». Там молодой учёный просел под давлением обстоятельств на пути к великому открытию. Я воспринимаю его как писателя на пути к успеху. Да, увы. Большинство из нас проседают. И потому видят перед собой лишь кривые глухие окольные тропы.

Поэтому, когда писатель воспринимает свой выбор как миссию и принял решение двигаться по пути величия духа, вопрос о финансовом благополучии покажется ему неуместным. Деньги придут, раз он этого достоин. Но путь этот труден. Если вы пришли в этот мир за деньгами, то есть и более эффективные пути для их получения. Если с миссией – идите вперёд и ничего не бойтесь. Всё, что вам необходимо, у вас будет.

В этом смысле и мой ответ на вопрос о том, успешен ли такой бизнес, как литературный журнал, уже не покажется странным. В недавнем прошлом толстые литературные журналы были светочем культуры и в представлении своих читателей находились вне материальных сфер, а точнее, над ними. Их названия горят неоновыми вывесками в

истории советской литературы и до сих пор являются ориентиром для интересующихся. Но если вы зададитесь вопросом, как они сейчас поживают, и откроете официальный сайт, например, литературного журнала «Нева», то прочитаете там следующее: «Целями деятельности Закрытого акционерного общества «Журнал Нева» является извлечение прибыли и содействие развитию культуры, литературы и живописи».

На первый взгляд, звучит казённо и цинично, не правда ли? Но в этой фразе отражена вся суть противоречивого положения литературного журнала в современном мире. Как говорят в народе, «кто девушку ужинает, тот её и танцует»: редакционную политику журнала определяет тот, кто его финансирует, причём неважно, напрямую или через гранты. Всё равно – определяет. Поэтому, если хочешь иметь возможность говорить то, что считаешь нужным, будь финансово независимым. Так что если журнал издаётся другой организацией или выигрывает гранты, то это уже не бизнес, а рупор плательщика. А если журнал независим, значит, как бизнес он состоялся. Вот вам и весь критерий.

По такому критерию журнал «Новая Литература» – успешный бизнес. Вот уж 20 лет как мы публикуем всё, что считаем нужным, и не публикуем того, чего публиковать не хотим. А важной мы считаем только литературную значимость произведения, без учёта регалий автора. Согласитесь, подход если не безумный, то, с житейской точки зрения, нерациональный. Но он же работает.

А если поставить вопрос наоборот, и поинтересоваться, стоит ли рассматривать издание литературного журнала как вариант бизнеса, я отвечу: нет, не стоит. В мире полно других интересных дел, которые как бизнес в разы эффективнее, и, если вас интересуют деньги, займитесь тем, что придумано для получения денег. А для журнала деньги – лишь сопутствующей его деятельности атрибут, пусть необходимый, но побочный.

Успех литературного журнала измеряется, конечно же, не только деньгами. Если журнал движется по пути реализации своей миссии – он успешен. А если он превратился в рупор посторонних – то это равносильно его исчезновению. Впрочем, литературные журналы исчезают почти с такой же интенсивностью, как и появляются. Поэтому если журнал издаётся, и он независим, то это и есть успех.

А вот чем этот успех достигается... Для меня это сложный вопрос, и все 20 лет издания «Новой Литературы» я не перестаю задаваться им. Ответы на него меняются, как и всё вокруг. Причём, иногда кардинально. Так, например, до недавнего времени я полагал, что деньги и литературное издание – две вещи несовместные... Да, лишь пару лет назад я так думал. Теперь я пришёл к выводу, что это не так: либо я ошибался, либо что-то изменилось.

Я был полностью сосредоточен на литературном процессе и занимался финансами лишь по остаточному принципу. Действовал, исходя из установки, что главное качества текстов ничего быть не может, и когда удастся добиться высоких показателей по этому критерию, внимание читателей и рекламодателей подтянется само. Отчасти так и происходило, но лишь в пределах нулевой рентабельности.

Задумавшись о причинах такого положения, я осознал, что дело, прежде всего, в изначальной установке: сначала литература, а потом деньги. Выяснилось, что такая установка годится лишь для того, чтобы только не закрыться. Но нужен ли читателям такой журнал, который едва сводит концы с концами? Нужен ли писателям такой журнал, от которого читатели не в восторге? Нужен, но немногим. А что необходимо для того, чтобы быть интересным многим? Необходимо добиться продуктивного развития, финансового процветания, а для этого изменить установку: сначала миссия.

Миссия «Новой Литературы» – защита и развитие русского языка через развитие русской литературы. Исполнима ли она, когда голос журнала слаб и едва слышен? Нет. Миссия исполнима, только когда журнал весом, солиден, громогласен и задаёт тренды, а не следует им. А для этого нужны деньги. После смены установки стали очевидны и ошибки в расстановке акцентов, распределении усилий. В этом смысле «Новая литература» сейчас в начале своего пути.

Я хочу многократно увеличить нашу аудиторию и усилить роль журнала в современной культуре. Считаю, что эта цель достижима, потому что я знаю, что нужно делать, и готов отвечать за результаты.

Во всё время выпуска вашего издания вы держите руку на пульсе литературной жизни. Изменилась ли она за прошедшие годы? Какие изменения вам особенно заметны?

Яков Шехтер:

Компьютер и его графика создают у начинающих авторов впечатление, будто набранный ими текст – книга. Да, на экране рассказ Васи Пупкина выглядит точно так же, как рассказ Башевиса Зингера. Вася ещё раз перечитывает свое творение, удовлетворенно сохраняет его и начинает рассылать по редакциям. А в редакциях уже нет средств для отдела писем, в которых кто-то мог бы объяснить Васе, в чем его проблемы. Поэтому в практике современной литературной жизни вместо отрицательного отзыва автору просто не отвечают. Да и у кого есть силы и время разбираться с графоманами?

Паустовский призывал авторов писать не авторучкой, а карандашом, а ещё лучше - гусиным пером. Когда нужно выводить каждую букву, невольно начинаешь задумываться перед тем, как это сделать. Безумная легкость создания «литературы», привнесенная в нашу жизнь компьютером, резко увеличила количество дурно написанных текстов.

Графическая легкость создания сайтов и полное отсутствие контроля привело к тому, что Вася Пупкин, получивший отлуп в серьезных изданиях, вместе сотоварищи стали создавать свои «литературные журналы». В Сети появилось множество такого рода сетевых изданий, которые Васи Пупкины наполняют всяческой дребеденью. Это существенно снизило престиж литературы, потому что на экране пупкинская лабуда и серьезный журнал выглядят весьма похоже. Читатель, нахлебавшись до тошноты в такого рода «журналах», перестает читать журналы вообще.

И это, на мой взгляд, главная особенность нынешней литературной жизни.

Если говорить о настоящих произведениях талантливых авторов, то в них я могу отметить ярко проявляющуюся тенденцию к описанию индивидуальности человеческого существования. Реалии сегодняшней жизни поощряют в авторах ощущение собственной уникальности, стимулируя осознание себя не как части стада, а в качестве отдельной личности.

Игорь Якушко:

В течение всех 20 лет издания «Новой Литературы» я сталкиваюсь с противоположными оценками состояния литературной жизни, как среди ближайших соратников, так и в среде авторов и даже далёких от литературы лиц. Половина из них убеждена, что литература умерла, и дальше ждать от неё нечего. Другая половина живёт надеждами на возрождение литературы как общественно значимого явления или даже определяющего социального ориентира. Любопытно, что исповедование любой из этих концепций не влияет на практические отношения с литературой: среди редакторов «Новой Литературы» есть люди, считающие, что литература умерла, а среди убеждённых сторонников возрождения литературы я встречал людей, в принципе не заглядывающих в книги.

Так вот, противостояние этих позиций за время существования «Новой Литературы» не изменилось. Литературная жизнь продолжается на разрыве мнений, и это хорошо. Просто потому, что если бы тут не о чем было спорить, то не было бы уже никаких писателей и читателей, литературных журналов, книг, конкурсов.

Но изменилась сама жизнь, да так, что дух захватывает, если задуматься. Доступность информации – не только культурной, но и литературного наследия в том числе – достигла такой беспредельности, о которой не смел помыслить ни один фантаст. Цивилизация сгенерировала столько сведений, что человечество вдруг оказалось погребено под этой лавиной. Надо признать, что мы оказались не готовы к этому. Нас раздавило, ребята. И положение наше серьёзно. Люди по-настоящему дезориентированы в этой бескрайности, у которой нет берегов. Мы оказались в океане информации, и он так огромен, что сам вопрос о правильном направлении движения в нём теряет смысл. Устой, на которых до сих пор строилась цивилизация, пошатнулись и начали размываться. И литература – вместе с образованием, социальными связями, профессиональной деятельностью, историей, наукой, государствами – тоже. Но она не исчезнет. Знаете, почему? Потому что литература – это наш культурный код, наша парадигма в философском смысле, квинтэссенция нашей сущности, система ценностей и житейский контекст. Человек стал человеком не тогда, когда привязал камень к палке, и не тогда, когда

нарисовал мамонта на стене пещеры, и даже не тогда, когда станцевал и покричал у костра. Человек стал человеком тогда, когда рассказал первую историю другому человеку. Историю сначала про себя, а потом и про других людей. Литература – это навык рассказывания историй. Вы верите, что мы способны утратить это навык? О да, но только вместе с утратой звания «человек», не более и не менее.

Вот почему я спокойно смотрю на передрыги, в которые попала наша цивилизация. Да, книжный рынок, что называется, «колбасит». Дети от рук отбились. Взрослые бьются головой о стену, не понимая, куда всё катится, и страдая от страха перед неизвестностью. Мир обезумел, ценности пошатнулись, куда податься бедному крестьянину? Но мы-то с вами друг у друга по-прежнему есть. Нам по-прежнему интересно рассказывать друг другу истории и слушать их, в какой бы форме это ни происходило. И пусть то, что я делаю, называется «литературный журнал» отчасти по традиции, хотя, по сути, это в некотором роде коммуникатор для рассказывания и восприятия историй, это есть литературная жизнь: место встречи авторов и читателей в гостях у редакторов. То есть – литература. В этом смысле суть не изменилась. Меняется форма, меняется жизнь. Литература остаётся если не социальным ориентиром, то контекстным маркером, по которому мы всё равно отличаем добро от зла, ложь от фальши, друга от врага. И никуда нам от этого не деться, потому что, как сказал Владимир Высоцкий, «нужные книги ты в детстве читал»!

Литературный журнал принципиально отличается от разового сборника. Как вы полагаете, что необходимо журналу, чтобы стать ценным и цельным фактом литературы? Что выделяет хороший литературный журнал из ряда конкурентов? Бывают ли плохие литературные журналы? Если да, то что вам в них не нравится?

Яков Шехтер:

Литературный журнал отличается от разового сборника тем же, чем стайер отличается от спринтера, то есть глубиной дыхания и постоянством. Это два противоречащих друг другу режима, две разные стратегии достижения цели. Философия спринтера – одноразовость.

Всё происходит быстро и поэтому должно произойти сейчас или никогда.

У стайерского издания мотивация работает по-другому. Журнал создаёт свой мир, погружаясь в который, читатель не хочет выныривать. Для этого журнал должен иметь своё лицо, свой голос, свой неповторимый почерк. Это создаётся путем подбора авторов и произведений. И тут огромное значение приобретает состав редакционной коллегии и личность главного редактора. Они могут сделать издание хорошим или плохим.

Журнал не может стать фактом литературы. Фактом литературы является художественное произведение, а журнал - только средство его донесения публике.

Игорь Якушко:

Хороший литературный журнал – это тот журнал, который читают. Я убеждён, что все литературные журналы, у которых есть своя аудитория, хороши. Поэтому не считаю другие литературные журналы конкурентами. Мы всегда шли навстречу предложениям о сотрудничестве со стороны других журналов, всегда старались и сами проявлять инициативу, считая, что если их читатели узнают о нас, а наши – о них, то выиграют все. Я и теперь так считаю. Знаете, мне кажется, не стоит воспринимать мир как пирог, от которого может кому-то не достаться куска. При таком подходе легко подавиться. Мир велик и многообразен настолько, что никто не может даже в воображении охватить его мысленным взором. Здесь всего много, и этого хватит на всех. Ключ к процветанию – не в конкуренции, а во взаимодействии. И если где-либо мы упёрлись в ограничения – это не значит, что мы достигли объективного предела. Это лишь означает, что пора взглянуть на мир шире и увидеть новые возможности, прежде скрытые от нас нашим собственным горизонтом мышления.

Есть ли что-то, чем вы пока не удовлетворены в выпускаемом вами издании. Что вы собираетесь улучшить в нём?

Яков Шехтер:

В моих глазах издание литературного журнала не является утехой его редактора. Журнал – это средство взволновать как можно большее число людей, показав им

возвышенный образ повседневных страданий и радостей. Для этого необходимо осознавать свое тождество с читателями. Позиция настоящего журнала - понимать, а не осуждать. И если ему приходится принимать чью-то сторону в этом мире, он обязан быть только на стороне общества, где царить дано не судьбе, но Творцу.

Журнал не может сегодня быть слугою тех, кто делает историю; напротив, он должен быть с теми, кто её претерпевает.

У этих высоких принципов есть совершенно конкретные отражения в редакционной политике и, к сожалению, мне далеко не всегда удается их воплотить должным образом.

Игорь Якушко:

Я мечтаю о том, чтобы выплачивать гонорары нашим авторам и зарплаты нашим сотрудникам. Большие гонорары и большие зарплаты. Но это не цель, а средство к достижению цели. Впрочем, это же и следствие, так всё связано. В день, когда я подведу черту под количеством проданных экземпляров журнала, равном десяти тысячам за один месяц, я скажу, что цель достигнута. Журнал с таким тиражом по определению не может быть малозначимым и незаметным. У журнала с таким тиражом не может быть слабой команды. Уже сейчас опубликоваться в «Новой Литературе» не просто, потому что нужно пройти редакторский отбор, и потому это престижно. С тиражом в 10000 экземпляров в месяц это будет ещё и выгодно.

Что для этого делается? Всё просто и в то же время сложно. Составлен план, разработаны стратегии, намечены цели и сроки. Мы следуем плану и делаем всё, что находится в зоне нашего контроля, для того чтобы намеченное последовательно исполнялось.

Я верю в победу и постоянно нахожусь в поиске людей, готовых разделить со мной трудности движения к ней и радость от её достижения.

Существует ли для вас проблема поиска новых талантливых авторов и стимулирования творчества уже сотрудничающих с вами? Как вы подбираете авторов для своего издания? Какие послания вы хотели бы видеть в авторской почте журнала?

Яков Шехтер:

Талантов хватает, талантливых произведений куда меньше, произведений, попадающих в наш редакционный портфель - значительно меньше, а тех, которые к тому же совпадают с нашей редакционной политикой, совсем мало. Стимулировать авторов мы можем только ощущением хорошей компании. То есть уровень публикаций необходимо удерживать на столь высоком уровне, чтобы по-настоящему талантливым авторам было приятно прочитать фамилии соседей по оглавлению.

Отбор авторов, то есть, кого считать способным, кого удачным, а кого талантливым, есть сплошной произвол людей, собирающих номер. Нет тут никаких объективных критериев. Искусство вообще вещь экспертная, то есть планка устанавливается теми, кого принято считать экспертами в данной области. Как в них попадают – тайна великая есть.

В нашей редколлегии два профессора литературы, в совсем недавнем прошлом заведующие кафедрами Бар-Иланского и Хайфского университетов, бывший ведущий сотрудник одесского литературного музея, преподаватель поэтического и прозаического мастерства в MIT и Cambridge Center Education, крупные прозаики и поэты. Они и вершат редакционный произвол.

Игорь Якушко:

Я искренне рад каждому новому автору, чье произведение успешно прошло редакторский отбор в нашем журнале. Талантлив ли он? Это громкое слово. Мне достаточно того, что его произведение одобрено к публикации, это уже говорит о том, что мы имеем дело либо с автором, достигшим определённого писательского мастерства, либо с тем, в ком явно виден потенциал к прорыву. К каждому произведению, опубликованному в «Новой Литературе», мы стараемся привлечь внимание читателей всеми возможными способами. Ведь чем больше понравится отдельный текст читателю, тем благосклоннее будет он в целом к нашему изданию. И наоборот: чем больше доверия к литературному уровню журнала, тем теплее воспринимается читателем каждый новый автор. Согласитесь, что такая ситуация взаимного обогащения вдохновляет.

Что же касается поиска новых авторов, то, отвечая на предыдущие вопросы, я уже косвенно коснулся этой

ситуации. В парадигме, когда в развитии журнала на первое место ставится качество текста, авторы приходят в журнал только самотёком, простимулированные самим качеством издания. Так было 18 лет. Теперь мы изменили парадигму и на первое место выдвинули миссию. В этом ракурсе я осознал, что никакой значимой работы с авторами прежде почти не велось! Для меня это было настоящее открытие, много объясняющее о проблемах, возникавших у журнала на пути его развития. Теперь этот опыт учтён и переосмыслен. Мы сами будем искать интересных нам авторов, и больше не будем довольствоваться «самотёком». Тут, как и везде в жизни, должна быть активная позиция, нацеленная на результат.

Стимулирование творчества – вопрос тонкий. Проще всего он решается деньгами, не так ли? Но, как говорят в народе, решить вопрос за деньги и дурак сможет, а ты попробуй без денег! Шутки шутками, но доля истины в этом есть. Вопрос стимулирования творчества связан с мотивами, это творчество породившими. Если некто берётся за сочинительство из желания заработать, то это либо профессионал, работающий по заказу, либо хитрец, который хочет себя обмануть. Довольно сложно представить себе Петрарку или Гомера, раздумывающих, как бы пооборотистее инвестировать свои стихи. С другой стороны, немало талантливых текстов родилось по издательскому заказу. Как разрешить это противоречие?

Если честно, сам я пока на распутье. Ведь до сих пор я исповедовал мысль, что истинная литературная удача сопутствует лишь текстам, написанным по велению сердца, без оглядки на материальное, когда автор писал, потому что нельзя было не писать. Но наработанная практика позволяет мне усомниться в этом. Ведь ничто не мешает любому графоману мотивировать себя именно этим. Выходит, что это не критерий? Но ведь и гонорар не гарантирует высокого результата. Иной раз и за деньги пишут такую белиберду, что волосы дыбом. Как быть?

Наверное, в конце концов, и этот вопрос для журнала решится через миссию: чем больше стимулов для авторов опубликоваться в «Новой Литературе», тем больше конкурс, чем больше конкурс – тем шире выбор, тем выше качество текстов на выходе. Пожалуй, это и есть ответ на не заданный, но подразумеваемый вопрос о том, почему литературному журналу не нужно стесняться ставить своей целью получение прибыли. Если хочешь быть услышанным

– будь сильным. А сила, энергия, мощь, широта возможностей обеспечиваются деньгами. И пусть у тех, кто движим высокими целями, будет много денег. В том числе и в мире литературы.

Писателей много, редакторов мало. В чём основная сложность вашей редакторской работы? И чем она привлекает вас? Можете ли вы вспомнить примечательные события, связанные с этой вашей почётной обязанностью?

Яков Шехтер:

Всех мало. Талантливых и достойных людей всегда не хватает. Это неправда, что плохой человек не может быть хорошим поэтом, а гений и злодейство несовместны. Ещё как может, и о-го-го, как совместны. Сложность редакторской работы состоит в том, чтобы публиковать талантливых и порядочных людей. Любой автор стремится к признанию. Я не хочу помогать в этом людям талантливым, но бесчестным.

Эта работа меня привлекает возможностью сделать мир чуть-чуть лучше.

Примечательных событий хоть отбавляй, но это уже совсем другая история, вернее, иная тема и отдельный разговор.

Игорь Якушко:

На самом деле писателей тоже мало. Много тех, кто хочет быть писателем, и тех, кто писателем себя считает. В действительности писатель – не тот, кто пишет, а тот, в чей жизни писательство, по крайней мере, основное занятие. Писатель пишет, а не пописывает. Это, так сказать, в широком смысле. Ну, а если уж совсем строго подходить к этому определению, то есть ещё такое понятие, как «профессиональный писатель». Это тот, кто обеспечивает себя писательством материально. Вот они, эти редкие мастера – уж точно писатели. Так что мало их, мало. Их имена большинству читателей, даже не очень активных, известны.

Сложность редакторской работы в её объёме. Представьте себе, что вам нужно в течение стандартного рабочего дня решить большое количество задач, которые трудно дифференцировать по приоритетности. А перепоручить некому. Потому что нанимать хороших

помощников дорого, плохих – неэффективно, а бесплатных трудно выучить. Вот и приходится лавировать между этими противоречиями и учиться быть эффективным самому, а главное, вдохновлять к этому коллег. С другой стороны, как можно считать недостатком то, что заставляет развиваться, совершенствоваться? Так что одновременно это и достоинство. В общем, вопрос отношения, а не объективной оценки.

Чем привлекает? Да просто я люблю эту работу больше, чем любую другую. Мне доставляет неизъяснимое удовольствие копаться в тексте, выуживая оттуда то тараканов, то алмазы смыслов. Бесконечный диалог с бесчисленными авторами – это ведь целая жизнь. Поэтому об отдельных событиях говорить нет смысла, каждый мой день наполнен таким событиями, и они сменяют друг друга бесконечной чередой. Такое «заочное» общение с безграничным числом достойных собеседников делает жизнь наполненной и осмысленной. Недаром Борхес считал Вселенную библиотекой. Я с ним почти согласен: только Вселенная – это литературный журнал.

Через психотип – к миру в доме

(О книге Бориса Борохова «Вы и ваши близкие», Иерусалим, издательство «Клик», 2021 г., 294 страницы)

Человеческая личность – явление многогранное и сложное. Причём настолько, что растеряться можно. Хорошо специалистам-психологам; они за общение с так называемыми "сложными личностями" зарплату получают. А обычному человеку каково? Взаимное недопонимание – сплошь и рядом. Разочарования, конфликты и ссоры – нередкие гости при общении. Неспровоцированная агрессия тоже случается. И не только в политике или экономике, но и при обыкновенном, бытовом, семейном общении с близкими. И ни один министр, ни один артист, и никакой генерал не застрахованы от семейных проблем. Что уж говорить о простых людях...

Как же быть? Неожиданное и конструктивное решение важнейшей психологической проблемы предложил израильский автор Борис Борохов в своей книге «Вы и ваши близкие», вышедшей в свет в Иерусалиме. Вот что он пишет:

«"Близкие" – это люди, которые начинаются сразу же после границы нашего Я. Расстояние между нами столь мало, что каждое слово, каждый поступок наполняет нашу жизнь радостью или делает нас несчастными. Мы – близкие, но очень разные. Мы любим своих близких, но далеко не всегда их понимаем, и это "привычное недопонимание" становится основой для "привычных конфликтов". Эта книга о психотипах – рассказ о том, как научиться понимать близкого нам человека – перестать ранить его и раниться об него самому».

Мечта! Неужели она способна сбыться?! Не ранить близких... Для некоторых это возможно только одним способом: близких не иметь. Как в известной песне: «Если у вас нету тёти, вам её не потерять...» Но тем нормальным, здоровым людям, которые живут повседневной жизнью в окружении семьи, и сами являются чьим-то окружением, - о! им книга Бориса Борохова будет необходима и полезна. И

полезна вдвойне, если они сумеют в ней объективно разобраться.

Для начала следует освоить предлагаемую автором психологическую классификацию. История изучения типологии личности помнит множество различных способов оценки: например, популярная астрология предлагает двенадцать типов личности – по дате рождения и знаку зодиака; соционика насчитывает таких типов шестнадцать – по способу личностно-информационного обмена; физиология в учении академика И. П. Павлова учитывает четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Борис Борохов предлагает ещё меньше – только три типа, но обоснование его теории весьма прочное; эти типы связаны с тремя основными поведенческими инстинктами человека.

«Мы все без исключения реагируем на стрессогенную реакцию тремя врожденными способами: "Беги", "Замри", "Сражайся", каждый из которых является доминирующим для своего психотипа более, чем в 70 % случаев...

В моём понимании человек — это "Домик", в котором "Фундамент" — комплекс врожденных качеств, то, что можно укрепить, но нельзя "перестроить". "Стены" — это те воспитательные установки, которые человек получает в свой семье, в своем городе, в своей стране. Они могут быть "перестроены", но чем старше "Домик", тем сложнее дается эта перестройка. "Крыша" — это те мировоззренческие позиции, к которым человек приходит сам, на основании своего собственного опыта, осознанного критического отношения к своему «биологическому багажу» и привитым ему «культурным ценностям». Формирование "Крыши" происходит всю жизнь. Надо сразу оговориться, что этот "Домик", только появившись на свет со своим "Фундаментом", тут же начинает обрастать "Стенами" и возводить свою собственную, ни на кого не похожую, "Крышу"».

Книга в целом написана легким, доступным языком, для определения психотипа автор предлагает в своей книге необычные на первый взгляд методы: от проективных тестов с картинками до самостоятельного измерения угла схождения рёберных дуг с грудиной. Такой подход приближает авторскую теорию к насущным потребностям читателей, но одновременно и отдаляет её от формализованных и воспроизводимых научных схем. Да и названы психоконституциональные типы неравноценно,

хотя и в высшей степени образно: астеник "Цветок", гиперстеник "Горшок" и нормостеник "Садовник". То есть растение, предмет и человек. Это не означает, будто один психотип лучше другого; автор далёк от всякой ксенофобии и имеет в виду единственную цель – пользу для читателей. Вместе с тем, обилие произвольных образов, переполняющих серьёзную психологическую книгу, может вызвать отторжение у неподготовленной аудитории.

Когда же психотип определён, возникают варианты взаимодействия как с одноименным, так и с прочими характерами. И правильный выбор техники взаимодействия обеспечивает, по мнению автора, оптимальный результат. Разобравшись в собственном психотипе и в инстинктивных порывах близкого человека, внимательный читатель, освоивший методику, получает возможность управлять психологической ситуацией, разрешая её ко всеобщему удовлетворению.

Казалось бы, эпоха гениальных одиночек прошла. Открытия в наши дни – продукт кропотливой и упорной работы больших научных коллективов, институтов и лабораторий. То, что представлялось возможным в начале XX века – самостоятельные продуктивные исследования с заметным практическим результатом, - в начале века XXI кажутся уже невозможными. Борис Борохов личным примером пытается опровергнуть это расхожее мнение. Его книга – самостоятельное исследование, основанное на личных наблюдениях и выводах. Исследуя человеческую личность, он опирается на собственную интуицию, богатый персональный опыт и мастерство общения.

Перечисленные в конце книги авторские статьи показывают научную признанность теории о психоконституциональных типах в таком серьезном издании, как «Медицинская психология в России». Как и любая хорошая книга, она, несомненно, найдет будущих читателей. Но при следующих изданиях этой книге потребуются дополнительная литературная и научная редакция, а также корректорская правка и улучшение дизайна.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ведёт рубрику Ирина Морозовская

ПРОВИДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Невозможно было за столько лет жизни в пространстве авторской песни не встречаться то и дело с песнями Нателлы Болтянской. Сначала - на кассетах у друзей в плэйерах, потом появились диски. А потом интернет - благодаря ему стойкое ощущение, что вы знакомы давно и лично, хотя в реале это пока не случилось. Трудно рассказывать что-то о человеке, который так легко, щедро и открыто рассказывает о себе сам.

Низкий, очень узнаваемый голос Нателлы Болтянской равно хорош и в пении, и в диалогах, и в ответах на вопросы слушателей. Для меня её песни - продолжение удивительного журналистского дара рассказчика. Не репортёра по горячим следам из горячих точек, а после небольшой паузы для осмысления и упаковки этого смысла в форму баллады. Как менестрели и трубадуры древности были и разносчиками новостей, и законодателями вкусов самых разных слоёв людских. А выступать им доводилось всюду и для всех.

Конечно, для этой колонки переслушивала записи Нателлы. И оказалось, что ощущение знакомства с её песнями - чистой воды моя иллюзия. Что многое слушаю впервые, замороженная голосом и ритмом - и убеждаюсь, насколько точным и провидческим был её взгляд на события. Многие, даже слишком многие обернулись именно тем, от чего она и предостерегала, когда песни появлялись на свет, на слух.

Песни Нателлы для меня - репортажи из прошлого, иногда очень давнего - библейского, средневекового, вечного. А чаще - современные, даже более того. Из них можно составить песенную энциклопедию нашего времени. А о жизни автора, биографическое всякое, рассказывать здесь не буду - всё равно я знаю то, что она сама о себе рассказывает в передачах, проще ссылку на передачу дать, ловите-держите-слушайте.

Мне кажется, Нателла Болтянская сейчас в середине пути - жизненного, творческого, всякого иного. И мне будет интересно следить и слушать, что там у неё дальше случится. Ведь она пишет и поёт обо всех нас, и обо мне, и о моём тоже. И если у неё всё будет хорошо - в мире будет больше надежды. А уж сделать, чтоб мир её слышал и отзывался - она умеет давно и на всю катушку.

Передачи с песнями тут, ну для начала.

<https://www.youtube.com/watch?v=IWEc6NOjh5M>

https://www.youtube.com/watch?v=u-wv5U_tLpg

https://www.youtube.com/watch?v=MfwktP_r5dc

А ответы на вопросы с рассказом о себе - здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=U8CEbQICr_c

БОНУС ТРЕК

Михаил Фельдман

От «А» до «Я»

От пункта «А» до пункта «Я» я продвигался, не тая
Своих желаний, устремлений и амбиций.
Без алкоголя и лавэ проехал «Б», проехал «В»,
И только в «Г» я оттянулся, как патриций!

От возлияний в пункте «Г» я похудел на два кг,
И, если честно, то беспутство утомило.
Но если в норме ЭКГ – довольно мило в этом «Г»,
И только чисто лингвистически не мило.

А по дороге к пункту «Д» Альфонса встретил я Доде,
Отметить встречу предложил, заметьте, он сам.
Но после травки и т.д. мне стало вдруг не до Доде,
Да и вообще, не благосклонен я к альфонсам.

Побыл я в «Е», побыл я в «Ё», и понял – это не моё,
Хотя по жизни возвращался регулярно,
Но вот подъехал к пункту «Ж»... а там всё занято уже,
Поскольку место это очень популярно.

Я методично жал на газ и напевал какой-то джаз,
Не попадая ни в тональность и ни в ритм,
И, приближаясь к пункту «З», я стал похож на шимпанзе
Бу-бу-бу-бу своим и обликом небритым.

От пункта «З» до пункта «И» всегда свирепствует ГАИ, -
Я ехал медленно, практически украдкой,
И, озираясь на ГАИ, я не заметил пункта «И»,
И оказался неожиданно в «И» краткой!

Чтоб сократить размер стиха, я от «И» краткого до «Х»
Не освещаю многочисленные пункты.
Но если трезво посмотреть на эту прожитую треть -
Зайдёшься в крике, даже если и не Мунк ты!

От пункта «Х» до пункта «Я» - ох, непростая колея,
Полно шипящих и каких-то странных знаков.
Там объездные есть пути, но как баранку ни крути,
А только занавес до боли одинаков!

И вот однажды в пункте «Я», в конце земного бытия,
Увижу я пустой тоннель или аллею,
И на истории на той поставлю точку. С запятой....
И обернусь, и ни о чём не пожалею.

«Едет Грека»

Едет Грека через реку, едет бодро, налегке,
Почему бы человеку не херачить по реке?
Едет, едет Грека, значит, руку в реку не суёт,
Вдруг он слышит – Таня плачет, не по-детски так ревёт.

Там, где некогда Катюша заводила про орла -
Вышла на берег Танюша – современная герла.
У неё смартфон андроид, и, в руке его вертя,
То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.

Взад-вперёд Танюша ходит, низко голову склоня,-
Сразу видно – происходит с ней какая-то фигня!
У Танюши испод века низвергается поток
Сунул руки в брюки Грека, носовой достал платок.

- Тише, Танечка, не вой! На платочек носовой, -
Вытри нос и сделай тише месседж свой голосовой!

Отвечает Греке Таня: педофилище, отстань, а?
Тоже мне, семейный врач! Ты х-рачишь? И х-рачы!
И широкий жест рукой потянулся над рекой.
И ТАКОЕ вслед за жестом Таня выдала на раз,
Что, поверьте, самым лестным было слово «пид-рас».

Уязвлённый грубой соской едет Грека по реке,
И отборный Матусовский тает где-то вдалеке.
Едет Грека как-то косо, невесёлых полон дум,
И решение вопроса не идёт ему на ум:
Как напомнить им, бл-динам, рождены они зачем?
Не вайфаем же единым, а еще ведь кое- чем
Надо мыслить человеку человеком чтобы стал...
Ехал Грека через реку, ехал, ехал, и устал....
И предел его мечтаний - передышку дать уму:
Мяч найти, назвать мяч Таней, и х-рачить по нему!

АВТОРЫ НОМЕРА

Светлана Кузнецова – прозаик, живёт в Московской области.

Нина Воронель – писатель, переводчик, драматург, живёт в Тель-Авиве.

Юлия Винер – прозаик, поэт, живёт в Иерусалиме.

Софья Рон-Мория – прозаик, журналист, адвокат, общественный деятель, живёт в Иерусалиме.

Александра Ходорковская – филолог, прозаик, журналист, живёт в Атланте.

Шула Примак – дипломат, муниципальный работник, живёт в Ашкелоне.

Рада Полищук – писатель, журналист, редактор, живёт в Москве.

Карина Муляр – прозаик, преподаватель изобразительного искусства, живёт в Кармиэле.

Любовь Тучина – переводчик, автор-составитель технической документации, живёт в Бней-Браке.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ор-Иегуда.

Виталий Сероклинов – писатель, колумнист, блогер, редактор, живёт в Новосибирске.

Сергей Баев – прозаик, живёт в Тель-Авиве.

Евсей Цейтлин – прозаик, эссеист, культуролог, редактор, живёт в Чикаго.

Александр Карабчиевский – прозаик, редактор, критик, живёт в Тель-Авиве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.

Роман Кацман – профессор кафедры литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле. **Раве**

Саги – прозаик, живёт в Рамат а-Шарон. **Александр Крюков** – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Татьяна Вольтская – поэт, журналист, литературный критик, живёт в Санкт-Петербурге.

Дина Березовская – филолог, живёт в Беэр-Шеве.

Юрий Михайлик – поэт, прозаик, живёт в Сиднее.

Владимир Гандельсман – поэт, переводчик живёт в Нью-Йорке.

В. Брайнин-Пассек – поэт, музыкант, педагог, композитор, живёт в Ганновере.

Андрей Торопов – поэт, историк, архивист, живёт в Екатеринбурге.

Евгений Сельц – поэт, прозаик, журналист, живёт в Тель-Авиве.

Петр Межурицкий – поэт, прозаик, живёт в Ор-Акива.

Семён Крайтман – поэт, живёт в Герцлии.

Дина Меерсон – поэт, блогер, живёт в Беэр-Шеве.

Нелли Воскобойник – медицинский физик, прозаик, живёт в Маале Адумим.

Наум Вайман – поэт, прозаик, литературный критик, педагог, живёт в Холоне.

Давид Шехтер – публицист, журналист, общественный деятель, живёт в Ришон ле-Ционе.

Игорь Якушко – главный редактор, издатель и основатель журнала «Новая Литература», живёт во Владимире.

Анатолий Кошкер – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве,

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

Михаил Фельдман – поэт, композитор, исполнитель своих песен, живёт в Беэр-Шеве.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)

(972)-50-9080348 (для заграницы).

